

1998

5

Октябрь

Октябрь

5 1998

ОКтябрь

НЕЗАВИСИМЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ РОССИИ

ИЗДАЕТСЯ С МАЯ 1924 ГОДА

5

1998

МАЙ

Общественный совет: Л. БАТКИН, Ю. БУРТИН, В. БЫКОВ,
А. ВАРЛАМОВ, Б. ВАСИЛЬЕВ, А. ВОЗНЕСЕНСКИЙ, И. ВОЛ-
ГИН, А. ГЕЛЬМАН, Д. ГРАНИН, Ю. КАРЯКИН, Д. КУГУЛЬТИ-
НОВ, А. КУРЧАТКИН, Ю. МОРИЦ, А. НАЙМАН, О. ПАВЛОВ,
Л. САРАСКИНА, Л. ФИЛАТОВ, Ю. ЧЕРНИЧЕНКО, Р. ЩЕДРИН.

В Н О М Е Р Е

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Юнна МОРИЦ. Рассказы о чудесном	3
Александр ЛЕОНТЬЕВ. Попутна любая дорога... Стихи	35
Нина ГОРЛАНОВА, Вячеслав БУКУР. Тургенев — сын Ахматовой. Повесть	37
Вадим КРЕЙД. Три стихотворения	76
Константин ВАНШЕНКИН. Простительные преступления. Повествование, состо- ящее из нескольких историй	77
Игорь ВОЛГИН. Пропавший заговор. Достоевский и политический про- цесс 1849 года. Конец первой книги	95

ПУБЛИЦИСТИКА И ОЧЕРКИ

Марк СВИФТ. Не инстинктом одним жив человек	136
--	-----

ВОСПОМИНАНИЯ, ДОКУМЕНТЫ

Военный дневник великого князя Андрея Владимировича Романова. Подготовка текста, публикация и примечания кандидата исторических наук В. М. Хрусталева и В. М. Осина. Окончание 145

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Владислав ОТРОШЕНКО.
Сумасшествие Мировой Воли. От дрезденского периода к дрезденскому периоду 180

Записки литературного человека

Вячеслав КУРИЦЫН.
Свои книги 185

Юлия ТРАНТУЛ.
Чужие книги 186

Мелочи жизни

Павел БАСИНСКИЙ.
История как роман 188

В несколько строк

Рубрику ведет Б. ФИЛЕВСКИЙ 191

Распространением журнала «Октябрь» в зарубежных странах занимаются государственная внешнеторговая фирма «Наука-экспорт» и акционерное общество «Международная книга» через своих контрагентов в соответствующих странах.

Адреса фирм-агентов «Науки-экспорт» вы можете узнать по факсу: (095) 334-74-79, 334-71-40,

по телефонам: (095) 334-76-10, 334-70-49.

Адреса фирм-агентов А/О «Международная книга» —

по факсу: (095) 238-46-34,

по телефону: (095) 238-49-67,

по телексу: 411160.

Главный редактор **А. А. АНАНЬЕВ.**

И. Н. БАРМЕТОВА (заместитель главного редактора),

И. К. НАЗАРОВА (отв. секретарь).

Редакция: **А. Н. АНДРЕЕВ** (зав. отделом прозы),

А. В. ВОЗДВИЖЕНСКАЯ (зав. отделом критики),

И. А. БРЯНСКАЯ (публицистика), **И. Ю. КОВАЛЕВА** (проза).

Технический редактор **Т. С. Трошина.**

Учредитель — трудовой коллектив редакции журнала «Октябрь».

Регистрационное свидетельство № 1 от 14 августа 1990 г.

Сдано в набор 27.03.98. Подписано к печати 21.04.98. Формат 70x108^{1/16}.

Офсетная печать. Усл. печ. л. 16,80. Усл. кр.-отт. 17,50. Учетно-изд. л. 21,61.

Тираж 9230 экз. Заказ № 1663. Цена 16 руб.

Из общего тиража каждого номера институт «Открытое общество» выкупает и безвозмездно направляет в библиотеки России и ряда стран СНГ 1943 экз.

Адрес редакции: 125124, Москва, А-124, ул. «Правды», 11/13.

Телефоны: главный редактор — 214-62-05, заместитель гл. редактора — 214-63-64,

ответственный секретарь — 214-34-44, отдел прозы — 214-51-68, отдел поэзии —

214-63-64, отдел критики — 214-71-34, отдел публицистики — 214-60-24.

Телефон для справок: 214-31-23.

E-mail oktybr@orc.ru

Типография издательства «Пресса». 125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

© «Октябрь». 1998. Электронная версия журнала в: Русский клуб <http://russia.agama.com>.

При перепечатке материалов ссылка на журнал обязательна.

Юнна МОРИЦ

Рассказы о чудесном

ПОМОЙНОЕ ВЕДРО С БРИЛЛИАНТАМИ ЧИСТОЙ ВОДЫ

*Бывало, что ни напишу,
Все для иных не Русью пахнет...*

А. С. Пушкин. Дельвигу

Иван Соломонович Байрон, литературно-художественный и общественно-политический переводчик с польского, сложив руки замком на поясище, пошел летним вечером погулять в переулках чистого духа. И нашло его там помойное ведро с бриллиантами чистой воды. И было в том ведре бриллиантов с полкило или даже грамм шестьсот — на глазок.

На ведро это по ночам ходили очень крутые люди — по причине отключения туалета в особняке, где они ремонтировали дух Серебряного века. Но в силу исключительных обстоятельств и классического единства действия, места и времени, о которых можно строить в уме только бесчисленные догадки, — помойное ведро с бриллиантами вдруг спустилось из окна на землю посредством связки простыней цвета мокрого асфальта. Такая вот связка была продета под дужку ведра, и в миг его приземления она втянулась обратно в окно, как тихая лапша.

Ведро же, колеблемое изнутри разнообразным своим содержанием, стало двигаться колебательно вниз по улочке, скользкой после дождика в четверг.

Пешеход моментально понял, с чем он имеет дело, поскольку в последнее время второго тысячелетия его прямо-таки преследовали умопомрачительные успехи, неопишное везение и процветание. На него после мерзости запустения и пустоты замерзания вдруг обрушился ливень чудес. Он совершенно готов был к этому ливню давным-давно и заждался, претерпев содрогательно-долгие унижения и томительную безысходность в натуге своих образцовых трудов.

И вот, наконец-то, поделом ему, поделом — одно за другим сыплются на него чудеса, небо — в алмазах, в помойном ведре — бриллианты чистой воды. Только вот люди в массе своей к этому времени стали ему противны и ненавистны, как тараканы, тошно ему глядеть на их мрачные, злобные, плебейские рожи, а уж речь этих рож — ну просто помойка. И хуже того, даже лет через двести не получится здесь никакая Великобритания. Велик обретения лик... Поэтому И. С. Байрон теперь постоянно читает в транспорте, чтоб не глядеть на людей и, заслонясь чтивом, их рожи не видеть, такая действительность в данный момент.

— Однако же мне вот лично небесами послано и велено распорядиться! — так помыслил в переулках чистого духа Байрон и с почтительной благодарностью взял помойное ведро с бриллиантами... Тем более надо сказать, что его удущеливо крошечная с низкими потолками двухкомнатная квартира в кооперативном кирпиче середины века, в котором мы с тобой проживаем и который мы с

тобой доживаем, драгоценный читатель, была битком набита роскошным антиквариатом с наших помоек, откуда Байрон собственными руками всю жизнь извлекал дивные вещи и сам реставрировал их с безупречным вкусом, сочетая шикарность, начитанность и въедливый педантизм.

Придя домой, он безотлагательно снял с полки, найденной на помойке, антикварный том, найденный на помойке и собственноручно переплетенный в сафьян с золотым тиснением, также найденный им некогда на помойке. Там была замечательная статья, разъясняющая подробно и толково, каким образом извлекают бриллианты из помойного ведра и возвращают им благородство «чистой воды». Не хуже нас понимая, что после выхода этого пособия прошло почти полтора столетия и с тех пор появились куда более современные средства и способы, все же Байрон на них не польстился, а совершил свое дело, как было принято в старину, когда счастливые холопы светились духовностью, души не чаяли в барине и совсем еще не были тронуты никакой порчей ни язык, ни в массе людские лица.

Примерно через неделю изготовил Байрон полный список знакомых, чьи знакомые могут иметь знакомых, интересующихся бриллиантами чистой воды на предмет их покупки поштучно и оптом.

Очень многие немедленно захотели купить, но почему-то непременно в готовых изделиях — в кольцах, браслетах, серьгах, поясах, диадемах, гребнях, булавах, запонках, пряжках, кубках, обложках, рамах, биноклях, даже в спинках и подлокотниках кресел, даже в плитке для ванной, — а так вот, отдельно, в голлом виде, никто не хотел. Но все они обещали быстро найти покупателей, полагая, что это как раз — проще простого и легче легкого, поскольку настали самые подходящие времена.

Бывало, кто-нибудь из дурно воспитанных спрашивал вдруг:

— А откуда у вас столько?..

Тогда незамедлительно Байрон им отвечал:

— Ну, видите ли, в силу известных вам исторических обстоятельств — не хотите ли чашечку кофе? — я в молодости долго скитался в краях, где этими камушками, завернутыми в кусок газеты, могли заткнуть бутылку с остатками водки запросто. Алмазы валялись там под ногами, как лимоны в Испании, часто ими платили за кой-какую работу, а я хранил их до лучших времен.

Месяца через два потоком пошли покупатели, брали помногу и по очень многу, большими партиями, стаканами, бидонами, ведрами. Но камней оставалось ничуть не меньше, чем было!.. И тут как тут Байрон вновь почувал себя неудачником, который на гребне своих чудес и небесных везений связался с адским кидалой и теперь обречен на сизифов труд, как в прежние времена, когда ничто не удавалось ему докатить до победного места и никак не мог он явить абсолютной и всем очевидной способности исчерпать хотя бы одну из своих проблем. Опять его изнуряло тупое чувство бессилия, унижительное мучение, бесконечно питаемое сосредоточенностью всего организма на единственной цели — увидеть конец, который делу венец.

Но чем больше он тратил времени, связей, трудов и фантазий на поиски покупателей и чем ниже спускал он цену, чтобы с этим делом покончить раз и навсегда, тем сильнее и неотвратимей распирала его тоска и терзало предчувствие, что при его жизни это дело не кончится добром!..

Каждую ночь Байрон пересчитывал свои бриллианты чистой воды. Их было все так же много!.. И ни о чем ином он думать уже не мог и не мог ничем другим заниматься, хотя на светских балах и приемах еще иногда шуршали восторженным шепотом: «Вот Байрон идет Иван Соломонович!..»

Порой ему жутко хотелось пройтись, прогуляться по той музыкальной улочке, где нашло его это помойное ведро с бриллиантами. Но портрет Федора Михайловича, который он некогда нашел на помойке в шикарной раме, не от-

пускал его ни на шаг в ту сторону и прямо-таки приказывал ни в коем случае, ни под каким предлогом и видом не возвращаться туда и всячески обходить ту самую улочку стороной, делая крюк.

Тем паче тянуло его туда неотвратно, адской волной толкая в спину, дыша в затылок и мелкой дрожью за ноги волоча. Ну прямо хоть из дому не выходи! И, чтобы пресечь эту порочную тягу и свое дурное безволие, Байрон решил отправиться в кругосветное путешествие. А куда деть нескончаемые бриллианты чистой воды на время отсутствия? Куда?!

Один очень опытный человек посоветовал ему взять бриллианты с собой, поскольку они в чемоданах не светятся ни под какими рентгенами, когда проходишь таможду, и не звенят, как металлы, и не пахнут они, как наркотики. Замечательная идея!.. Байрон взял их с собой в простом чемодане и решил путешествовать кругосветно, покуда не перестанет его тянуть на ту подозрительную московскую улочку.

Месяца через три Байрон опять расцвел. Он совершенно избавился от пыточной тоски, сверлящего страха и панических наваждений. Байрон питался исключительно дарами садов, огородов и моря. Наслаждался Байрон музеями, театрами, пляжами, парусными лодками, особенно оперой и верховой ездой. В нем было очень развито чувство прекрасного, и он даже влюбился в одну гречанку, которую встретил в оливковой роще, а после — в лимонной.

Однажды вечером, когда было у нас раннее утро, Байрон пошел погулять в переулках чистого духа на другом конце света, насвистывая «Сердце красавицы» и сложив руки замком на поясице. Вдруг — из роскошного венецианского окна выбросилась связка простыней цвета мокрого асфальта, подцепила она Байрона за подбородок и втащила его целиком в окно, как тихую лапшу. Он даже не успел выдохнуть крик, он совсем ничего не понял, ну совсем ничего, — ему показалось, что он просто запутался в каком-то воздушном змее, запущенном для полета с земли на небо.

— Чучело птицы стоит дороже птицы! — последнее, что Байрон услышал на этом свете, но от кого?.. От воздуха?.. Внимание, говорит воздух?.. Но воздух кончился.

Его тело нашли в заливе. Чемодан бесследно исчез. Труп его опознали по рукам, сложенным замком на поясице, — и тело вернули на родину. Байрон страшно был одинок, но за его могилой постоянно кто-то ухаживает, там всегда стоит то самое ведро, но уже покрытое чудесной эмалью внутри и снаружи — и полное цветов.

Окно, из которого спустилось на землю это помойное ведро с бриллиантами, — я знаю, на какой оно улочке, но не скажу. Еще не велено мне раскрывать вам и эту дивную тайну. За тем окном уже полностью отремонтировали дух Серебряного века и плюются через балкон. Каким-то чудесным образом к ним попал во владение музыкальный диван, найденный Байроном на помойке. Каждый час он поет, этот диван, и слышать его во все концы света.

1997

ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ АНГЕЛИНЫ СУКОВОЙ

Призрак был в ярости. Он являлся к ней еженощно не по собственной воле, не гонимый коварством и злобой, тем более — жадной возмездия, которая была ему отвратительна и враждебна всем его предыдущим жизням. Но помешательство плотской женщины, документально-биографические навязчивости энергичной гражданки Суковой вытаскивали его еженощно с того света на этот.

Теперь же он, весь прозрачный, как под рентгеном, сидел на перильце кресла как раз напротив телесной внешности Суковой Ангелины и языком беззвучным, загробным, не разжимая чернильных губ, задавал ей вопросы, не приличествующие привидению-призраку, достигшему высокой ступени и степени доступа к тайнам развоплощенного знания.

Судите же сами, благородно ли, мудро ли — наконец прозрачно ли — спрашивать у злодейки, убийцы и лгуны: как могла она пасть так низко и пуститься на подлый такой обгон и захват, обрекающий жертву на гибель уже после смерти?.. Ведь теперь он, призрак, прочел свое место в Книге Судеб и вполне постиг идейно-художественную силу и роль предопределения. Хуже того, до столь глубочайших тайн допущенный призрак подлежал бы немедленной каре, если бы стал преследовать исполнителя предопределенных злодеяний, в данном конкретном случае — гражданку Сукову, энергичную общественницу и вообще звездную женщину.

Ангелина же Сукова была особа чувствительная и мигом почуяла, что если все же является ей окаянный призрак, пусть даже насильственно заарканенный, значит, совесть ее угрызается искренне, плодотворно и на верном пути. А это сулило надежду на искупление и ход в ногу со временем, и даже на святость в грядущем.

Всей силой и ловкой хитростью своего социально-исторического чутья и опыта Сукова еженощно вонзалась в это несчастное привидение, вцеплялась в его туманность и, словно коршун с куренком в когтях, приземлялась в своей огромной квартире с этой страшной и сладкой добычей. Покаянная Сукова и окаянный призрак — только такой расклад мог спасти ее окончательно, а его окончательно погубить.

Призрак был совершенно гол и всю дорогу выскальзывал. Поначалу Сукова материлась, что ее покойника бросили в общую яму, безо всякого даже исподнего. Ну хоть бы одна тесемка, чтоб ухватиться, — так нет же! Ни шиворота, ни выворота, ни ремня, ни резинки от трусов, ни пуговицы, ни пряжки. Но Ангелина Сукова помнила, что была у расстрельного буйная грива, роскошная шевелюра волнистая, и на всякий случай вкогтила огоньчатый маникюр в легкую дымку, в кувецо над его продырявленным черепом, — так и есть, она самая, гуща и чаща волос!.. Надо же, люди живые лысеют до полного блеска, а тут — ни мяса, ни кожи, — на чем только держится да из какой же материи прет шевелюра? Однако — реальность! За нее ухватясь, тащила Сукова призрак сквозь горние мраки в дольные тьмы, страдая бессонницей и острым воспалением чувства исторического момента: в кратчайший срок искупить вину покаянием!..

Перво-наперво призрак категорически не желал с ней вступать ни в какое общение. Был он облит негашеной известью, весь оброс мерзлотой и страшно светился, ограждаясь от хищно духовных и плотских раздумий и угрызений прозревшей гражданки Суковой. Она же, однако, в звездных боях закаленная, в изящных делах иступленная, искушенная блистательным взлетом под карканье и чириканье завистников и соперников, проявляла терпение и чудесную выдержку, с адским упорством добываясь от призрака признания — чистосердечного и добровольного! — ее вины перед ним и отпущенья ее греха по всей вокупности эпизодов.

Грех он ей отпустить никак не мог, перейдя в столь прозрачное состояние. Не в его теперь это власти. Перед смертью он всех простил, повалясь расстрельным лицом на землю. Всех простил он, очистясь вмиг сквозь восьмую дыр-

ку в бритой наголо, для чистоты, голове. Но до самой смерти ничего не знал он о подлых действиях Суковой, никогда ее внешность не видел, и она его тоже видела только лежа с биноклем на крыше. А в нынешнем образе он ничьей вины признавать, повторяю, не мог, — поскольку там, где он опрозрачился и пребывал, обреталось конечное знание и даже смутная память о чьей-то вине беспощадно каралась паденьем, низверженьем погибельным в бездну.

Это он дал понять Ангелине Суковой синим светом очей, изъятых по-смертно для юмора в эпосе посредством сторожевого штыка. Но доводы призрака ей показались недостаточно убедительными, ничем существенным не подтвержденными и возникшими вследствие отсталого суеверия. Поэтому, обзаведясь необходимыми для столь чудесного дела запасами водки, эта Сукова еженощно грабастала призрак, исхищая из тьмы, и за волосы притаскивала к себе, чтобы тыкать в его беззащитный, безносый, безглазый, безротый, безухий череп вещественные и алкогольно-документальные улики своей неизбывной, подлой вины. Призрак тогда окутывался толстыми, глухими туманностями, кометными пламеньями, заглушающими по мере сил уговоры, матерщину, рыдания и ласковый шепот покаянной гражданки.

А она сидела нарядная, с молодежной спортивной стрижкой, в изумрудах, сапфирах и яхонтах, подмалеванная французской косметикой поверх резиновой маски, с жабьей кожей, растянутой и отвислой, как снятый с ноги чулок.

— Тить твою в ухо-горло-нос, лютое привидение! — говорила печально Сукова. — Из-за тебя нет никакого мне продвижения к духовному совершенству. Что ты смотришь синими брызгами? Иль в морду хошь? Тебе уже все равно, ты на том уже свете и думаешь только, падла, о вечном своем покое, очищении и благодати. Милости нет в твоём сердце, да и сердца ведь нет у тебя никакого. Тьфу ты, мертвяшка дырявая! Чурбан! Козел! Где твоя милость к падшим? Выпьём с горя! Где же кружка?.. Я, здоровый, цветущий, живой человек, полный сил, с большими запросами, со взглядом на вещи, вот уже сколько лет пью по ночам ведрами, убажывая тебя — отродье ошибок сдохшей эпохи — признать очевидность моей ни в чем не повинной, невольной, утратившей силу вины и отпустить мой нечаянный грех, заблуждение моей безупречной преданности всеобщему делу и счастью обманутых, как выяснилось, людей. Теперь, выходит, какой-то Обломов — голубь мира, герой труда. Ему-то как раз обломилось — лежал себе на диване и ничего **такого** не делал, пока другие не покладая рук... Эти — спустя рукава, те — как рыба об лед, а все кругом виноватые. Все — без исключения! И тебе еще тоже, псих знаменитый, придет время просить у меня прощенья на том свете. Так что моли Господа, чтоб я подольше жила и там подольше не появлялась...

Тут как раз на плите засвистел, как милиция, чешский чайник, синий в цветах, и Сукова кипятком плеснула в заварку да промахнулась — вскочил на ногу волдырь, хотя известное постное масло вовремя само опрокинулось и прицельно так потекло на ожог сквозь дырку в чулке. Но ведь нынче-то постное масло совсем извратилось и прескверного качества, поскольку всем на всех наплевать, и такой вот плевательный бассейн получился.

Поджав несчастную ногу, Сукова доскакала, как цапля, и уселась напротив призрака дуть на волдырь, поплакивая. С ресниц потек синевато-зеленый соус, отчего лицо этой Суковой Ангелины сделалось полосато, как филе, запеченное на решетке. Улучив такой подходящий, благоприятный момент ослабления ее покаянной стержовности, призрак стал поспешно рассасываться. Но абсолютное одиночество сопровождается резким похолоданием, как известно, — и Сукова так быстро замерзла, что вовремя вдруг спохватилась, подпрыгнула на одной здоровой ноге и втащила призрак обратно, вцепясь в его гриву так сильно,

что ноготь у ней сломался и пальцы влипли во что-то хлипкое, вязкое, похожее на чайный гриб, — она до сих пор отряхивает эту скользкую пакость.

— Цыц, мерзкий гордец! И не делай мне тут утечку мозгов. Все подряд, все кругом виноваты, запомни! Да я бы тебя повесила хоть сейчас — за все те гадости, что я тебе сделала! Не будь тебя, разве стала бы я такой?! Такой потаскухой, пьяницей, с бредом, бессонницей, дрожью, мурашками, червячками, кошмарами? Не будь тебя, перед кем бы я так унижалась? Тьфу, окаянство! Я жуть как боюсь мертвяков, тем более призраков. Но, видишь, приходится... Тебе хорошо, ты — привидение, а я еще — действующее лицо, энергичная женщина времен покаяния и возрождения. Ты разве дожил до этих времен? Нет! Ты даже не знаешь, как тебе повезло. А вот я дожила. И что? Теперь по ночам гонюсь за такими вонючими привидениями. Думаешь, ты у меня один? Хо-хо! Как бы не так! Вы же друг друга не видите!.. Каждый видит только меня — сквозь затылок другого, а вас тут не меньше полсотни, проклятая гниль. Я одна на всех, а вы — анфиладами, как зеркало в зеркале, то веером, то карточной колодой. Ой, где ж я прочла, что призрак рассыплется, если ткнуть его пальцем?.. Ткну — и рассыплешься! Но давай лучше сделаем менку, бартер по-иноземному: возьми себе мое покаяние, дай мне свое прощение, тогда все остальные призраки сделают то же самое и провалятся, с Богом, в отдельные тартарары, в тартарарам... Тар-тарам-рам, тар-тара-рам...

Так напевая, Сукова углядела, что совсем еще рано, только три часа ночи, до утра еще далеко, и стала она звонить неведомым братьям и сестрам. Сначала по телефону 1234567 — никто не ответил. Тогда она набрала 2345678 — гудки и молчание, спят, гады. По телефону 3456789 полчаса никто не шевельнулся, потом раздался мат корабельный. Сукова шла до упора — набрала 4567890 — там был автоответчик с музыкой. А телефона 12345678910 в нашем городе не было, но Сукова набрала и его наугад, безо всякой надежды. Ей оттуда ответил загробный голос:

— Аллэ!!! Аллэ!!! Говори, Сукова... А то щас приедем!

Но говорит она не могла, потому что призрак ткнул ее пальцем — и она рассыпалась, вся, окончательно. И, когда он встал, разминая кости, и пошел растворяться, не торопясь и не озираясь, она уже не подпрыгнула и не рванулась ему вослед.

Ее голова и руки рассыпались на столе, туловище и ляжки — на стуле, а обе ноги — под столом, как столбики пепла. Утром, сметя себя в кучку, она пепел свой скрутит потуже, как в цыгарке табак. И будет долго раскрашивать, штукатурить, румянить, помадить это сгоревшее, слоистое, серое. И протиснет это в прогулку на свежем воздухе у пивнушки, и потом привезет это в клуб, где ее понимают чудесно, и на службу, и в гости, где ей хорошо и радостно, так легко и не так одиноко, и даже совсем не страшно. Не то, что дома, где можно сойти с ума.

А что касается призрака, прошу обратить внимание, драгоценный читатель, на одну привлекательную особенность: когда он был жив, прекрасные женщины вытаскивали его постоянно с того света на этот.

1993

ЦВЕТЫ МОЕЙ МАТЕРИ

Инструмент назывался булька. Булек было четыре, с шариками разных размеров, в зависимости от лепестков грядущего цветка.

Из чего и как получалась булька? Отливали металлический стержень с шариком на конце и ввинчивали это орудие в круглую деревяшку — за нее и только за нее можно было хвататься руками. Собственно булькой был тяжеленький

шарик на металлическом стержне, его забуливали в печной огонь, в горящие угли, в пылающие дрова, секунд через тридцать-сорок выдергивали из пламени, а потом, нажимая на деревянную ручку, вдавливали раскаленную бульку в плоские лепестки цветка, в цветочную выкройку из мелкого лоскута. Лепестки становились от бульки выпукло-впуклыми, их чашечки шелестели.

Цыганской иглой делалась дырка, в дырку вдевали стебель, получались малюсенькие цветочки. Шелковой белой ниткой их вязали в букетики, крепили к ромбическим картонкам, сдавали в артель художественных изделий. Изделия эти в одна тысяча девятьсот сорок третьем году были пискom западной моды, воюющая отчизна сбывала их за рубеж, где носили эти цветочки на платьях, пальто и шляпках.

Три раза в месяц мы с матерью получали в артели отрывки-абзацы-фрагменты-лоскутья застиранных госпитальных простыней и наволочек, моток тонкой проволоки цвета червонного золота, банку вонючего клея, две-три краски, огрызки картона, раз в месяц — широкую жесткую кисть, десять шпудек белых шелковых ниток. Из этого получалось сто двадцать пять цветочков. Их кроила, красила и доводила до ослепительного изящества моя прозрачная от голода мать. Я же при ней работала только булькой, наловчась выдергивать инструмент из раскаленных углей, было мне шесть лет.

Потом сразу кончились война и эти цветочки. Мы сели в деревянный вагон и поехали домой. Месяц ехали, полмесяца стояли — всюду реки беженцев, все домой текут. Покуда стояли, костры жгли, мы с матерью достали бульки из мешка, цветочков понаделали, выменяли на мятый медный чайник, на целые сандалики, отцу — на махорку, всем — на три кило пшена. Жены снабженцев брали по пять букетиков, мода из Европы докатилась.

А дом-то наш тью-тью!.. Другие в нем живут по ордерам, такое вышло историческое свинство. Опять же Высший Разум бессердечен, в том смысле, что не имеет человеческого сердца, и в этом плане он бездушен, ни добр, ни зол, ни порчи тут, ни сглаза, ни проклятья родового, а просто одна действительность другую отменила — и все. За что? Да ни за что. Погода вот такая.

Бульки завернули в байку и забыли. Мода на те цветочки отвалила, все поэты их разоблачили: мол, мы — естественные, а вы — искусственные, мы — Божья искра, а вы — дешевка, пошлая поделка, мы — благоухаем, а вы — барахло. Яснее ясного. Против лома нет приема даже в штате Оклахома — такие вот свежие мысли.

Шесть лет мне было, а стало шестьдесят, а матери моей — девяносто семь, и она уж меня совсем не узнавала. Держала где-то в памяти сердечной, в поле внутреннего зрения, а внешним зреньем узнавала только старшую дочь, мою сестру. И вдруг говорит:

— В обувной коробке. Восемь букетиков. Бульки помнишь? Коробка во-он там...

— Бред! — я подумала шепотом.— Суший бред! В последнее время она разговаривает с давно умершими — с матерью своей, с отцом, с бабушкой, с дедушкой, с братьями, сестрами, живет в своей далекой молодости, бурно до отчаянья переживает какие-то события, забытые давным-давно и вдруг теперь отмытые, как стекла, в ее остранинной памяти. Сейчас вот ей мерещатся восемь букетиков, бульки...

Уронив голову на плечо, сухонькую свою головку на сухонькое плечико, мать всхлипывала в дреме. На всякий случай заглянула я туда, где привиделась коробка ей с цветочками.

Была там коробка, была!.. Перетянутая вишневым узенькой лентой. А там внутри, на вате одна тысяча девятьсот сорок третьего года, лежали малюсень-

кие, хрупкие цветочки подснежника, ландыша, яблони, садов и лугов, лесов и оврагов. Восемь букетиков, сверкающих свежестью, трепетных, нежных, шевелящихся от воздуха, света и человеческого дыхания.

— Можешь их увезти, если хочешь... Если они там еще не увяли. Это тебе от меня наследство. Такая маленькая чепуха на память.

И она постаралась мне улыбнуться, кулачком утирая постоянно текущие слезы. Истекало время ее жизни, текли наяву мучительные видения: какой-то младенец, казалось ей, серебрился на краю постели — она боялась, что он разобьется; какие-то войска входили через балкон и мимо нее проносили своих раненых; младшая дочь плохо переходила дорогу с трамвайными рельсами...

Родилась моя мать в Рождество, душа ее возвратилась к Творцу на Спас. Имя ее в переводе на русский означало Нежная. Она была столь красива, что все на нее оглядывались. И две ее девочки, мы с сестрой, росли в особенном свете сладостной славы, с детства слыша вослед:

— Это — девочки той красавицы...

Всякий день моей всякой жизни овеян благородным происхождением от изумительно красивой матери.

А сегодня ее цветочкам — пятьдесят пять лет. Кто носил эту прелесть в одна тысяча девятьсот сорок третьем году? И за каким рубежом?.. Мода на эти цветочки плыла над широкой кровью, делали эти венчики из госпитальной рвани, много пели при том, песня — она обезболивает. А как начнешь засыпать на ходу от голода и печного жара да хватать раскаленную бульку за железо, за шарик голой ладонью, — так будешь петь нескончаемо, неизлечимо.

1992, 1998

ОПУЩЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА

Профессор небесных наук, декан факультета Луны сначала сошел на нет, а потом — с ума. Но в данный момент на базаре, где продается данный момент, он все еще кормится, то есть жив. А поэтому ни за какое вознаграждение, ни под пыткой, ни под гипнозом, ни под шляпкой грибного напитка, ни при каких обстоятельствах не могу сообщить его имя с фамилией.

После поражения наших доблестных войск под Фуффлоо, как только Родина-мать сказала ему «большое спасибо» и прекратила давать небесные деньги на лунные и марсианские «заморочки», как теперь называют у нас космическую агрессию Земли, — его тут же пригласили продолжить лунное дело и всяческое развитие небесных наук во многих упитанных странах, где непременно без унижений имел бы он всякое благо с почетом и премии с орденами подвязок и легионов, не говоря уж о мантиях с прибабасами.

Но, драгоценный читатель, есть еще, есть люди, по детской своей простоте не утратившие почти религиозное чувство страха-ответственности за большие секреты и взлеты отечественной в прошлом науки. Мой профессор таков, и чувства его таковы, и они совратили его на скользкий путь научной неподвижности в масштабах планеты, а научная неподвижность такого масштаба как раз порождает жуткую беготню и метание.

Профессору было пятьдесят лет, и у профессора было пятьдесят денег. В одном конце города он купил нечто за пятьдесят денег и помчался в другой конец, где продал за сто денег. Так поступил он тридцать один раз, и получился у него маленький капитал. С ним профессор отправился в Китай и обратно, нечто купил и продал. Так поступил он двадцать один раз, и получился у него капитал более путешественный. С ним профессор отправился в Турцию, в Индонезию, в Шри-Ланку, в Арабские Эмираты, в Тунис, в Мексику, в Бразилию, в

Японию, в Корею, нечто купил и продал. Так поступил он сто сорок шесть раз, и получился у него капитал во всех странах, куда его приглашали продолжить лунное дело и всяческое развитие небесных наук.

Мало-помалу дети профессора подросли в интернатах на лоне швейцарских гор и озер, альпийских лугов, потом он отправил их в Англию учиться банкирскому делу, а сам из российских сугробов надзирал за тем, чтоб его капиталы вертелись круглые сутки, мотаясь на катушку судьбы.

И, конечно, за двести пятнадцать раз в течение каких-то пяти-шести лет познал он такие секреты, в сравнение и рядом с которыми прежние, накопленные за тридцать лет научной сверхтайности, были детским лепетом и чепухой, — тем более, что наука Луны закрылась у нас лет на сорок, покуда бананы не придут в каждый дом.

Не шатался он по ночным клубам, ресторанам и казино, не светился в шикарных автомобилях, не соблазнялся любовными чарами и эропланами*, иногда ходил в оперу. Но вот ведь какая пагуба крылась, однако, до поры до времени в его избирательно-пристальном взгляде на городской пейзаж, и вот ведь какой штык выскочил вдруг из этой пристальной избирательности, чтобы всю его жизнь проткнуть и выпустить сок из нее безвозвратно, — о том и речь...

Как только закон разрешил всем богатеть, на улицах появилось несусветное множество нищих для постоянного там проживания и пропитания, и были они пьяные, наглые, вызывающе мерзкие, в театральных лохмотьях, в отвратительных позах, с гнусными гримасами, с культями и язвами напоказ, но даже калеки производили на него впечатление совершенно трудоспособных паразитов и спиногрызов общества. От тика их лица тикали, часто моргали...

Стал профессор Луны к ним приглядываться, прогуливаясь по вечерам перед сном. И вдруг нашло на него наваждение, будто все эти нищие на самом-то деле работают на сеть иностранных разведок, жрут лососину и хлбещут пиво голландское, кому-то подмигивая, подавая шпионские знаки и даже записочки, которые в шапках и в картонных коробках лежат у них на земле вперемешку с деньгами, маскирующимся под милостыню.

Луна ведь такая вещь — от нее легко не отделаешься, влияет и притягательна. А летом, бывает, еще светлым-светло, а серпик уж виден, светится весь насквозь. И под серпиком наглые нищие побираются, сиднем сидят без напряжения, поют или молятся, взглядами душу пытаются, а могли бы в Китай счелночить, товару навезть, оборот делать. Нет же, наклоняются к ним какие-то типы, весьма подозрительные, деньги дают добровольно — а за что?!

Так подумал он шестьдесят пять раз и сошел с ума, с одного ума сошел на другой, стал по ночам в центре города у самой роскошной гостиницы с самыми роскошными ресторанами выть на Луну.

Проходили мимо ночные цветы, на работу они надевали короткое, погладили профессора небесных наук по седой головке, положили ему на колени панамку из белого хлопка, а в панамку — пятнадцать денег тремя бумажками. С тех пор многие мимо прошли, и так же они поступили четыреста тридцать два раза. Если можешь, подай в благодарность за то, что не ты опустился. Ведь опущение находит на человека и при совсем здоровых ногах-руках, и при великих деньгах, и при наглой роже паразита — в особенности. Радуйся, что тебя миновало. Радуйся, что тебя миновало сто тысяч раз.

Вчера ему ясно привиделось, как мимо проехал на велосипеде Циолковский тринадцать раз и, тринадцать раз снимая шляпу, сказал:

— Эх, вы, профессор Луны, тить вашу мать!..

Но не Циолковский то был, а самодеятельность на роликовых коньках.

* Эроплан — эротический план. (Прим. ред.)

ПЕРЕЕЗД ЧЕРЕЗ ХРАНИЦУ

1. Таким образом

Конец декабря, метель, гололедица, жаркий полдень, мороз припекает, вишня цветет, яблоня, клубника в самом разгаре, скоро персик взойдет таким образом, надо бы к меховым сапогам приделать колеса да большие карманы — пищу носить, товары, плоды, пистолеты, кастеты, каскеты с артистами пения, таким образом, кончились авоськи, сумки на пузе, опять в моде шляпы с полями и фруктами, шелковые панталоны с брюсельскими кружевами навывпуск поверх меховых сапог, таким образом новое веет свежестью. Света Федорова звонила, у них свежо таким образом, моргуша прошла — ток вырубился, таким образом круглые сутки нет электричества, при свечках живут, в кране воды никакой, батареи не топят, сдох телеящик, также уют, местами нет газа, таким образом варят борщ на костре, кирпичи раскаляют — кладут под кровать, китайский народный сугрев таким образом, восточная мудрость. В три утюга угольных под чугунную крышку с зубьями, таким образом, мы насыпали толстых свечек и послали туда им поездом с проводником, теперь они там утюгами с пылающими углями размахивают — таким образом отапливают жилплощадь, но от ветра махального гаснет все время свеча таким образом в туалете, зато — место курортное, море у самой кровати за тумбочкой, а за окнами тыква уже налилась помидорами и кукурузой, которая там называется пшенкой, а по-испански майсом, таким образом главное — не сидеть на пляже без головного убора, чтоб удар не случился, а то ударит мороз и таким образом трубы лопнут, а трубы лопнут — лопнет орган терпения, лопнет орган терпения — лопнет мыльный пузырь и все прозрят таким образом, что наелись обманной каши. Вот именно в этом месте у черта из табакерки, который вечно путает высшее начало с высшим начальством, таким образом происходит концепт и подъем вождения, он копытом заводит чертову мельницу, таким образом Иван Грозный в памперсах ежесекундно убивает одного и того же сына, у леди Макбет колосится пятая грудь, и таким образом от воздержания снайперы с небоскребов совокупляются с населением через дуло — пулями достают и кончают... Таким образом, зимой на Сицилии, где мафия, ветку срываешь — и вся она в мандаринах, в мандаранчо, в мандолинах, это же там под ногами валяется, на мраморной вилле — промозглый холод, но опять же мафия растапливает камин и кладет поленья лимонные и пускает в растопку апельсиновый хворост, на зеркальной террасе любитесь мафия — как там Этна у них извергается, таким образом по черному небу изгибно летят кровавые волны, катится лава в Бычью долину, сперва без единого звука, даже не в тишине — тишину было бы слышно, таким образом только потом вдогонку, на девятом ударе сердца — жуткий взрыв, раскаленный выдох, рев, грохотание, огненная бомбежка, стоны из адской плавильни, швыряющей пламя вертящихся глыб, кошмарный полив населенного пункта, всеми покинутого, таким образом, в должный час все возвратятся собирать застывшие, затвердевшие, черные слезы Этны, смолистые камушки, обсидиан — от сглаза и порчи в постелях, в торговле, в министрах, — нам бы ваши проблемы, вам бы наши, бы вам бы наши вампы... Таким образом, когда ничто не меняется, — каждый день все другое, с «Подлинным сертификатом фальшивости», по-ихнему «certificato di falso d'autore», искусство подделки, его виртуозы и небожители, таким образом, зона общего наркоза, пробковые стены, никакой боли, небожители в бинтах с дырками для крыльев сидят на горшочках, нектар и амброзия, смотрят кино таким образом «Наполеон перед битвой спал со своей армией»... Жара, таким образом, гололедица, мумии впадают в безумие, пыль столбом, взятка словом, иней на кобыле, орган всеобщего ожидания, таким образом дают комариные брови в сметане, Гамлет на колесиках

едет без очереди... Не бывает рынка без крови в мясных рядах — о знал бы я, что так бывает. Таким образом, оборзеватель событий, эропланы, полет жвачки — внимание! — мы в кривом эфире, голо суй или проиграешь, митинг, шопинг, ужинг, дружинг, балетинг, думинг, грёбинг, здесинг такоинг допинг — инглишем ингаляция, таким образом, идуинг я брать трамваинг, завываинг собакинг в метелинге, мой извилинг обалдеваинг и раздеваинг с тобоинг в постелинге, таким вот чудесным образом, мой улыбинг встречает в народинге за песнинг мой в переходинге кой-какоинг все-таки денинг, и тогдаинг я покупаинг хлебинг, чаинг, редискинг, морковинг, и еще на виноинг хватаинг в переходинге мне за любовинг, таким образом, говорит живая легенда полуживой легенде о разврате мертвой легенды, и глаз крокодила плывет по реке, на кенгуру катается птичка, а у лошади уши — листьями, такая раздача различных видов уполномоченности.

Чтобы зло окончательно победило, с ним надо бороться, поэтому у хорошего человека — лицо корявое, как жизнь. Таким образом — в силу священных, естественных, бездействующих законов высшей справедливости, — причем вздохи преобладают, как тонко подметил друг детства О! Генри!.. Корабль задержавленный «пошел на иголки» в полтора часа ночи, таким образом да здравствует меньшинство, у которого большинство денег, таким образом главное — ускользнуть в ту самую пробоину, которую тебе сделали, нам это — как в два пальца свистнуть, как взять до вокзала автомобильку, если необходимочка. Таким образом расцвела в сугробе сирень, кит Аец плывет, на мраморных подоконниках поют соловьи в горшках, голая правда выпала из белья, таким образом, высоко в гнезде на яйцах сидит независимый авантюрист — скоро будет навалом битой жар-птицы, таким образом климат резко улучшился, многие лечатся свежим воздухом на строительстве кенгурятников, бегемотников, жирафников, антилопников, таким образом, у нас лучше всего думают раненой головой, и уже в газетах полно таким образом объявлений «Иностранный язык по методике ЦРУ». Таким образом и у них наверняка уже в газетах полно объявлений «Русский язык по методике КГБ». Вот и кончились метели, табуретки прилетели, на ветвях поют слоны...

Зато у нас таким образом теперь хуже Бродского пишет только ленивый и теперь все поэты делятся на тех, кто пишет, как Бродский, и на тех, кто пишет, как Бродский — но лучше!.. Особняком же чудесным стоит плеяда, таким образом, звезд — Пригов и приговня, как называют их мерзопакостные завистники, всякие хамы и неудачники, своего места не знающие, таким образом тут самое место напомнить им, что — пора уважать «наше всё», в данном случае — абсолютно неисчерпаемый приговновыи мир, чудесным образом превосходящий все ожидания чего-то еще, — в другой бы стране быстроходно учредили бы Приговнобелевскую Премию, но и мы до нее доживем, все еще — впереди, таким вот чудесным образом — почему бы и нет?..

Зебра жужжит над вареньем, что едет на крыше трамвая под мостом, где грохочет поезд, а ты ничего не знаешь о свойствах серебряной пули, она — волшебная, таким образом ей проще простого отвести от нас наихудшее. Господи, дай нам всем благоприятный диагноз — и больше мне ничего не надо ни для самых близких, ни для себя. Мастер Олег отливает пулю из чистого серебра, птичка Божья на пулю какает с неба, таким образом получается талисман, носу его на шнурке от ботинок — вместо ботинок, на босу грудь.

II. Всякий раз

— Храждане! Переезд через храницу, проверка документов, просыпайтесь, одягайтесь, похраничная застава!

— Эй, у в голове поезда, вам помощь с хвоста не надо?.. Голова! Голова, у вас все в порядке?

— Хвост, хвост, как меня слышно?.. У в голове поезда все в норме!

— Хражданочка, валюту везете?

— Везу, а как же!

— Какую?

— Рубли.

— Можете мне это не показывать, лягайте, доброй вам ночи.

— А министр говорит: «Я этот пиловочник вывезти никак не могу, солярка вскочила на матерный процент, так что вы продайте пиловочник на дрова населению и сами себе зарплату сделайте, а все отходы спалите и по домам разбегайтесь». Вот какое они в тайге уничтожение производят, падлы!

— Пись, пись, пись, моя рыбонька...

— Я, значит, обстановку закупил и сгружаю. А два шкафа подходят и спрашивают: «Вам охрана нужна?..» Звоню Алику: «Тут ошметки твои липнут мне промеж ног!» Алик мне говорит: «Давай их сюда в трубку». Берет один шкаф трубочку, ухом к плечу ее притоптывает и балабочет: «Так мы ж с предложением только... Шеф, ну шеф, пòнято, пòнято!»

— Хражданка, почему у вас едет другая фамилия, чем в паспорте?

— Сосед брал билет.

— Сосед?.. С вас штраф 15 (пятнадцать) тысяч.

— А у меня нету.

— А что есть?

— В каком смысле?..

— В смысле товару лихвидного.

— Чайники.

— Ну вот, чайник сгодится. С вас два чайника.

— Говорит хвост, хвост говорит!.. Голова у в поезде, у вас все в порядке?..

Кончай проверку, кончай, голова!

— Тася, Тася, тут черный просится. Брать или не брать?.. за хохлобаксы.

— Не, за хохлобаксы — не... Бери только за валюту. Может, он спидный.

— Ну так вот, я приезжаю, а жена — мертвая, и две малых дочки в осадке.

Какая уж тут личная жизнь?.. Дом продал, детей в поезд — и в тайгу трактористом. Вот на руке у меня наколочка «МУСЯ» — так это она, супруга моя законная... А так за двадцать лет — никого, ни-ко-го, один пиловочник:

— Эй, там у в хвосте поезда!.. Хвост, хвост, ты меня слышишь?.. У в голове проверка закончена, все в норме, голова сейчас тронется. Вы готовые?..

— Мы уже готовые!

III. Почему бы и нет...

Столб напивался жутко, в одиночку и всякую ночь, но полемикой не злоупотреблял, а тихо клонился набок, путаясь в проводах и два фонаря закатывая под жестяные веки, потом по земле катался с тройным проворотом — и душа его нежная от бревна отлетала, а бревна древесина дрыхла на берегу станционной лужи. Тогда вырубался свет и врубался тать:

— Эй, светоч, дай закурить!

Живность, которую тать назвал светочем, подрагивала в румынской ветровке и ртом дышала в подкладку, одноглазо поглядывая на светофор в ожидании электрического поезда.

У татя был общий вид. Шел он рогом вперед, вихляя всей анатомией, как экспонат скелета на большой перемене. Тать презирал дистанцию, — подходу, упирался в жертву всеми выпуклостями и впуклостями, выдыхая серу и водо-

род. Вот, мол, я — гноище мира, тараканище Сатаны, а лицо твое мызгаю и душе твоей делаю опущение.

На самом-то деле никто, думал тать во глубине своих руд, никто по особой нужде не грабит, не убивает и не калечит, а только по вдохновению и для полной реализации скрытых возможностей, тогда — исключительный катарсис и благодать.

У татя, само собой, — жуткое детство, в том смысле, что всем существом, внутренностью и внешностью, он тащит пожизненно весь детский кошмар гляденья в дохлую кошку, в яму дворовой уборной, в промежность летящего поезда, в кровосток скотобойни, — почему бы и нет? Мало ли здесь таких заглядений?.. А глаз у татя — что чешуи на рыбе, весь он ими, глазами да глазками, густо покрыт.

В данный момент никакого нет у него вдохновения мучить живность в румынской ветровке, стращать и куражиться, дым ей нагло вгоняя в нос, дым от ее же курева дарственного, дармового и, дабы уж всем подряд угодить, халявного. Но вдруг спинными глазенками видит тать вдалеке некоторый предмет загляденья: эропланка близится вызывающая, лаковыми копытами цокающая, идущая по собственным волосам, которые растут из последнего вагона глухой ночки. Вот она уже вся на платформе, воздух понюхала, ухо к земле приложила и чует — нет, не идет электричка. Тогда нажала она на груди своей эрокнопку, вызвала эроплан и на нем улетела, шляпой лицо накрыла, и были у ней на шляпе цветочки с коленками.

1994, 1997

ГНИДА И МАЛЕНЬКИЙ

Биологичка по прозвищу Гнида хотела по-маленькому, а Маленький очень хотел по-большому. Он всего лишь просился на пять минуток в отлучку, но Гниде моча ударила в голову, а это сильно способствует приливам творческих вдохновений, о чем давно и не раз писано в мировой научной литературе по психологии творчества, от которой мы страшно отстали, называя урину мочой, и в развитии опоздав, и в опозде доживая опыт.

Гнида, влажная и румяная от маленькой пытки, показывала высшую нервную деятельность мороженой курицы и как мудро устроено все живое, что птица еще продолжает бегать с отрубленной головой.

Как раз в это время коварные детки, не отрывая от Гниды ангельских глаз, тайком щекотали, щипали и тычкали Маленького, чтоб он осрамился. Маленький, как мог, увертывался от них и ускользал, сползая под парту телесными емкостями, частями плоти, наиболее уязвимыми для такой мучительной казни. Он под партой стоял уже на коленках, и только одна от него голова вверх лицом лежала на парте, как на блюде у Саломеи. Лицо головы было белое-белое, потом замерцала в нем синева с зеленцой.

Гнида сказала:

— Тут некоторые просятся на горшок!.. Кому невтерпеж, пусть вынет горшок из портфеля и сядет, а мы продолжим показ высшей нервной деятельности.

Образ горшка в портфеле — это же так смешно, Гнида ржала до слез, класс надрывал животики, рыдая от хохота. Это было так заразительно, что, наделав грому и воздух испортив, Маленький вышел вон и повесился на ремне в уборной, в туалете, в сортире, в ватерклозете — кому что нравится, выбор за вами...

Он повесился на ремне, но тут случился звонок и началась большая перемена. Гнида с детками вынули его из петли, физкультурник делал реанимацию,

дыша ему рот в рот. Потом прикатила «скорая» и увезла Маленького в больницу.

Гнида сказала его матери, что ребенку такому надо лечить желудок или учиться дома:

— Вот я же терплю по восемь уроков — и ничего!.. Характер надо воспитывать с горшка. Физиология человека в огромной степени зависит от высшей нервной деятельности, на которую, как известно, влияет общий настрой в семье. Что-то вы упустили — и вот результат, ваш мальчик повесился. Более того, пострадала высшая нервная деятельность у всех остальных детей, они пережили страшное потрясение, они **всё это видели!**.. Однако есть и отдельные удачи. Например, сильный запах аммиака в уборной способствовал не столь глубокой и полной потере сознания вашего мальчика, в другом месте он бы так легко не отделался. Ну и, конечно, вам повезло, что так быстро звонок прозвенел и началась перемена. Однако я повторяю: характер надо воспитывать с горшка!

Маленький очнулся во взрослой больнице и там на соседней койке встретил кудесника, который дал ему выпить и закурить, а также освоить многие чудеса, доступные исключительно возвращенцам, возвратникам с того света, из насоса погибели. Маленький оказался на редкость талантливым, даже гениальным учеником волшебника, изготовителя и сбытчика чудесных кудес и кудесных чудес.

Гнида она и есть Гнида. Как только Маленький в класс возвратился, она увлекла его сразу к доске и к тоске, стала с особым пристрастием терзать его биологическими вопросами, наводящими на круглую двойку или даже на единицу. А все потому, что был у нее зверский нюх на виктимных детей. И тут, драгоценный читатель, совершенно ко времени, к месту и к случаю — любопытнейший комментарий для тех, кому некогда шуршать словарями, а надо бежать по делам.

Виктимный — от латинского слова *victimā*, в переводе на русский — жертва, преимущественно благодарственная, как писано в словаре, — и речь идет о **животном**, которое предназначено для жертвоприношения. Такое животное закалывали на жертвеннике. В данном случае — перед всем классом. Поставщик жертвенных животных — виктимариус. Виктиматор — закалывающий жертвенное животное. Благодарственно и в тайной надежде на ответное, взаимное благодарствие.

Гнида была виктимариусом и виктиматором. Она доводила до животного состояния виктимность ребенка, поставляла его на потребу жертвоедам и закалывала на жертвеннике, жрицей там становясь для всех остальных участников жертвоприношения.

Но после попытки самоубийства и пребывания в больнице с кудесником Маленький был уже деткой иных миров. Он так научился писать на доске название члена и органа, что из доски немедленно вырастал этот самый орган и член, совершенно живой, и в натуре показывал все свои функции, натуральный обмен веществ и здоровую физиологию, управляемую высшей нервной деятельностью. С особой наглядностью и проворством, из доски вырастая, действовали рот, ухо и нос, а также любой орган из трех букв. Специальная международная комиссия признала Маленького чудом природы.

Виктиматорша Гнида стала виктимной. У нее развился такой острый виктиматоз, что теперь на нее постоянно кто-нибудь покушается, чтоб ее обесчестить развратными действиями в час пик в метро. Недавно ей продали кочан капусты, в котором плакал младенец, кочан с младенцем она послала по почте заказным отправлением с уведомлением — куда следует.

Некоторые чудеса позаимствовали у Маленького клипмейкеры, но все равно видно, что у Маленького — натура, а у них — липучка. Клип — он и есть в переводе «липучка». Клип-лип-лип...

1993

ИГРА В НОЖИЧЕК

Кусты расцветшей сирени дрожали всеми пружинами — лиловыми, белыми, синими, розовыми, — очень пахло. Таратайка с редиской, салатом, сельдереем, укропом и огородными огурцами проклацала по горячим булыжникам. Урка играл во дворе с ребятами «в ножичка». И я с ними, и я.

Ножичек перочинный вонзался перышком в землю, стальным пером — по самую рукоятку, и мелко дрожал. С форсом и свистом. Со свистом и стоном. Земли у меня оставался крошечный лоскуток, размером с мою босую ступню, — и там я стояла, как одноногая. Из черного, юбочкой клеш, репродуктора проистекало пение ангелов в исполнении. Козловский, Лемешев, Александрович.

Урка всадил ножичек в землю, что была у меня между пальцами. Кровь потекла быстрая, жаркая. Затошнило. Бросать — моя очередь. Сознание волнистое теряя расплывчато, ножик кровавый вонзает в землю по самый звон. Урка честный мне прирезает огромный кусок той земли, и я туда падаю, вся на ней помещаясь, ничьих не нарушая границ. Вверх лицом, внутрь глазами. Дурочка наша районная, хромоножка и кривошейка, страшно мычит и бросается ко ржавому крану, урчащему из каменной, камышиного цвета стены. Под краном консервная банка на веревке бренчит. Плюх водой, плюх! По лицу бежит и за шиворот. Скачет дурочка с банкой туда-сюда, от крана — к обмороку, от обморока — к рычащему крану. А урка юркий удрал, и журчит ручей на его земле, с моего лица убегающий.

— Что будет? Что будет? Что будет!.. — причитает уркина тетка Зоя Панова. — Гад! Убил человека! Его же теперь посадят! Увезут его в клетке и убьют, как собаку. Проклинаю тебя, паскуда, горе жизни моей! Счастливая — мать твоя, что померла от родов и не видит рожу твою из гроба.

— Ша! — говорит мой отец. — Это же просто обморок, самый обыкновенный обморок. И немедленно прекратите, гражданка Панова, так страшно ругать своего племянника, вы наносите травму его психике. Эти жестокие очень слова, что вы сейчас говорите, он ведь может запомнить на всю жизнь. Фу, безобразие! Держите себя в руках! Разве можно так распускаться? Ведь мальчик вырос на улице, как собачонка, без родительской ласки. Кому, как не вам, это знать?!

— И правда, и правда, и правда, — скулит и кудахчет гражданка Зоя Панова, утирая замызганным, куцым передником нос.

Открываю глаза, кружатся в небе крыши, касатки, стрижи, сирени, стрекозы, лазурные мухи. Как же вставать не хочется!.. Отца моего лицо — отсюда, с земли — кажется узким и длинным клиночком и вдобавок подрагивает, и смуглые скулы его — с отливом таким металлическим.

Он покупает мне бублик с маком в ларьке и стакан газировки с вишневым сиропом. Сироп со дна подымается, всяко растет и покачивает алыми хвощами и папоротниками, коралловыми кустами и шхунами, пузырьки там шныряют и живородят, как рыбки в аквариуме. Если когда-нибудь вдруг и выйду я замуж, — так только за человека, у которого будет огромный круглый аквариум. За кого-то другого — ни за что, никогда, очень надо! Стирать белье, мыть полы и окна, белить потолок и катать краску по стенам, стряпать — и не иметь счастья поздним вечером или ночью, когда муж и дети уснули, счастья уткнуться лицом

в стеклянный сияющий шар, где струятся, вьются, порхают эти чудесные жизни с человеческими лицами, с уморительными повадками жителей нашего города?.. А еще лучше — выиграть по облигации трудового займа, купить аквариум и замуж не выходить вовсе, а усыновить и удочерить испанцев, корейцев и негритят. Но это уж вовсе несбыточная мечта, потому что аквариум негде поставить, комната тесная, сплю я с матерью на одном топчане, и это — одна из чудесных причин, по которой я уеду учиться в другой город, где в общежитии будет моя первая в жизни отдельная койка.

Кровь на ноге засохла черно и густо, мешает ходить, и я заталкиваю туда лист подорожника, что растет у сарая. Удобный такой лист, и в рану уже ничто не въедается.

Божественно красивая девушка в маркизетовом платье летит по улице, вся — свет и воздух. Лицо тонкое, иконописное, в раме лучей закатного солнца над холмами, цветущими вдоль берегов Борисфена. Это — моя сестра, единственная и драгоценная, ей кажется, что она — дурнушка. Несет она толстый серебряный том Лермонтова, пахнущий буквами, свежей бумагой и клеем. У нее сегодня зарплата, и она себе позволяет. Заходит в гастроном на углу и покупает коробку, где торт с розами, за ленточку держит и по ходу слегка раскачивает.

А дома у нас — гость, дикая радость моя и ужасная тайна, учительница моя ненаглядная, махонькая, с пламенными глазами и неподкупной душой, старая дева, ей двадцать четыре года. Она говорит поздравления и дарит мне что-то... Но я убегаю в кладовку, где шестнадцать соседей хранят свои клады, и плачу там в темноте, от стыда и отчаянья, что вид у меня идиотский, лохматый, жалкий, слишком часто и быстро моргающий, и что совсем я забыла, играя в ножичек, про свой деньрождень.

Помню, как меркнет солнце, стекла звенят от ветра, отрываются форточки. Молния, гром, столбы пролетающей пыли, гроза, реки бегут по улицам. Гости пьют чай — кто с пирогом, кто с тортом. Что-то смешное рассказывают, в лицах показывают, словами и голосами расписывают. Вдвое сладостней и теплей во всякой пещере, когда снаружи — буря, огонь и мрак. Иду к подоконнику за прошлогодней наливкой и вижу: урка сидит в подъезде, уткнувши лицо в колени. Тетка опять домой его не пускает. А то и поколотила... Если дать ему сейчас пирога, он даст в морду. Я это знаю точно, сама такая. Если позвать сейчас его в гости, он полоснет матом. И, видит Бог, это будет законно, истинно, — ведь у него никогда еще в жизни не было никаких деньрождень. Я бы сама утопилась или отравилась, или все это вместе, если бы в горький мой, бедственный час кто-нибудь силу мою расоплил своей мимоходной жалостью.

Вот, мол, нет у тебя ни отца, ни матери, ни кола, ни двора, лишний ты рот, ни детства, ни ласки, волчонок ты одинокий, а у нас про запас есть еще и такое сокровище, как сострадание, глубокое соболезнование горькой доле твоей — на, возьми, пользуйся! Нам не жаль ничего, лишь бы нас миновало. И за то, что не поровну делятся наши бедствия, мы премного тебе благодарны. Ты страдаешь, и мы тоже, и мы — страдаем!.. Даст он в морду или самоубьется. Слезы окончательного бессилья перед действительностью — тельностью действий — лились из меня по щекам и капали на подоконник, где пыль раннего лета их облепила и раскатилась, словно разбился градусник.

Дурочка наша районная вышла набрать дождя в шайку и что-то мумукнула урке на ухо. Он потянулся, словно спал себе сладко, встал и пошел за ней черным ходом под навес, где на деревянном столе, я видела, ели они из двух оловянных мисок огуречную с хреном квасную окрошку, отламывая от круглого темного хлеба, который там и тогда назывался у нас арнауткой. А потом они ели с этим хлебом яблочный мармелад, развесное такое повидло. И над чем-то

смеялись они в ладонь. Над чем же он мог смеяться с той дуручкой, которая выговаривала не более пятнадцати слов?..

В те наивные времена урками называли часто сирот, беженцев и беспризорников, кормившихся мелкими кражами на продуктовых рынках и в транспорте. Я не помню имени этого парня-подростка, что звался уркой вполне добродушно в сознании человеческой улицы, а выдумывать ему подходящее имя из головы не хочу.

На моей ноге остался маленький белый след от его ножичка, драгоценная память о нежном возрасте, когда девочки еще падают в обморок при виде собственной крови. Дурочка давно умерла, перекрасили весь город, а двор тот зеленый, сиреневый вместе с домами снесли подчистую. Но страхом Божиим, стыдом, любовью мычащей, улыбкой от боли, непроглядностью тайны и окончательной ясностью — это вонзилось, как ножичек, и оно же вытекает из памяти вместе с жизнью, капля за каплей. А последняя капля там остановится, где мы признаем друг друга, истратив свою оболочку, имя, лицо и речь — все, что было в аквариуме прозрачного лиственного двора, где ножичком я добывала землю. В той жизни, где никогда справедливости не было там, где ее искали. Была, но не там. Там ее точно нигде не было.

Лет сорок спустя на стеклянную крышу стеклянного зала падал с неба субтропический ливень. Ко мне подошел стройный седой человек, улыбнулся, как давний знакомый: «Не узнаете?..»

С ним была миловидная, смешливая девушка лет двадцати, то ли дочь, то ли внучка, то ли жена, то ли кто?.. Нет, не жена, чем-то их лица связаны кровно, каким-то близким родством, даже нечто напоминающим, как бы я уже видела эту игру света и тени, которая называется внешностью. Он протянул мне с улыбкой маленький перочинный ножичек, изумительной красоты, совсем не похожий на тот, который дрожал в земле. Но сквозь меня, оглушенную долгим перелетом и гулом этого зала, промчалась сиреневая искра воспоминанья:

— Вы же Панов?! Вы — Панов, жили на той стороне, где сирень, и ваша тетька была Зоя Панова. Бог мой, какими путями вы здесь оказались?..

Какой дурацкий вопрос! Была гроза, и раскат несусветного грома заглушил его голос, я расслышала только:

— ...ился!.. отаю... раюсь!

Как назло, между нами протиснулась бесцеремонная стайка студентов, к ней пристроилась куча приятелей. А когда они рассосались, буквально через минуту, Панова нигде уже не было — ни там, где стоял, ни на стеклянной лестнице, ни в коридорах стеклянных. Я надеялась, что где-то потом он разыщет меня. Но человек этот больше не появлялся. И со временем стало казаться, что вообще его не было, что какой-то случайный совсем мимоходец подарил мне маленький сувенир, этот ножичек, и что во всем виноваты гроза, электричество молний, высекающие из мозговых закоулков всякую бредовню, — ведь по сути любая вещица нам кого-то и что-то напоминает, нет ни одного на свете предмета, даже среди не виданных прежде, с которым не был бы связан какой-нибудь давний случай из жизни, спрятанный памятью про запас. И тогда все вокруг этого случая вдруг начинает всплывать и срастаться неукротимо, с тайным умыслом — во что бы то ни стало быть магнитом для всех безвозвратно ушедших, отлетевших, отплывших, пропавших без вести. Как бы и сам притом становишься вечным, исчезающим.

Но тут как тут — письмецо мне, кем-то в Москве опущенное на Главпочтамте: «19-е января 1988 года. Сейчас в наших краях большое нашествие русских. Кажется, у Вас там действительно все меняется в сторону Запада. Теперь фирма, где я работаю, имеет в Москве своего представителя, через месяц я зай-

му его место. По приезде Вам позвоню. Надеюсь, наш дворик еще жив. Я тогда не хотел мешать Вашему общению с нашей публикой. С наилучшими пожеланиями. Ваш Виктор Панов».

Ну, конечно, Виктор!.. Это же так просто — Виктор! Как я могла такое забыть? Виктор Панов. Я же пишу правильно: тетка его — Зоя Панова. Но нет как нет ни на конверте обратного адреса, ни в письме. И ни одной там письменной буквы, все оно мелкими точечками выползло из компьютера. Никто не приехал, не позвонил. Потом друзья мои узнавали: нет в том городе со стеклянным залом и субтропическим ливнем никакого Панова Виктора.

Совершенно загадочная история! Если все это — умственная игра и фокусы магнетизма и электричества, так лучше их запускать в утюги, пылесосы и прочую бытовую технику. Ведь жуткая пошлость — выдавать желаемое за действительное, сочинять в свое удовольствие фальшивые документы да еще заставлять какой-то компьютер в субтропиках тюкать письма и слать их мне из Москвы.

Но какое все-таки чудо, что я вспомнила имя! Ведь и в самых пошлых фантазиях — незабвеннее тот, чье прозвище «урка», чем те, кто его отбросил от имени.

1992

ВСАДНИК АЛЕША

Лошадь шла весело и легко, поднимая горчичную пыль. Подросток, сидевший верхом, рассматривал горы в морской бинокль. Краснокожий, с узким скуластым лицом, был он похож на индейца. Тугая повязка вокруг головы сдерживала длинную черную гущу над бронзовым лбом. Всаднику было на вид лет тринадцать-четырнадцать. Во всем его облике наблюдалось достоинство природы, мыслящей самостоятельно и привыкшей изъяслять свою волю. Сейчас он ехал в гости к отцу, у которого была другая семья и новый сын.

С утра просочился дождь и жара поутихла. Три ветра — горный, степной и морской — шуршали теперь в пузырчатых виноградниках, остывая от многодневного крымского зноя и остужая воздух, землю и все, что на ней. А в бинокле скакали горы, и там скакали на выпасе коровы и овцы. А ниже, в горных раселинах, скакали белые, как брынза овечья, сакли. «Хорошо, что отец купил себе саклю, — подумал Алеша, — ведь в сакле я никогда еще не был и, может быть, не был бы никогда. Эту саклю сложили в Крыму, лет сто назад, из дикого горного камня, всей семьей — четверо взрослых и девять детей. Летом сакля — прохладная, а зимой там теплынь, если печку топить. И гора заслоняет ее от ветра, дождя и снега. Стены в той сакле — толстенные, но звонкие и поющие. Потолок низкий, а скажешь громкое слово — и во всех углах будет трижды оно звенеть утихающим пеньем. Интересная вещь!»

Алеша не видел отца три года, но любил его вечно и боль обиды своей загнал глубоко, на самое дно души, чтобы не было слышно и видно, как — был он уверен! — это делают умные, сильные люди мужского пола. Он отказался, когда отец захотел приехать за ним на машине. Во-первых, путь был недалек и нетруден. Во-вторых, непременно полагалось быть этой встрече не в начале пути, а в конце. И по этому случаю написал Алеша заявление начальнику спортивного лагеря: «Прошу выдать мне на дорогу одну лошадь сроком на три дня для поездки по семейным обстоятельствам». Заявление показалось Алеше смешным, но зато по форме, которую он когда-то углядел и запомнил.

Начальник спортлагеря, где отдыхал Алеша, был молод и груб. Он только что закончил институт и получил впервые работу с зарплатой. Разные, очень смешные и очень страшные истории о том, как держать дисциплину, готовую ежесекундно сорваться в пропасть анархии и всевозможного буйства, а также

рухнуть с издевательским хохотом, свистом, топаньем и улюлюканьем в бездну неукротимого произвола, слышал он многократно от матери и от других воспитателей — мастеров находчивой строгости. Сам же он с детства и на всю жизнь полюбил только строгих и себя воспитал строжайше быть начеку и беречь справедливую, полезную строгость как зеницу ока. Любил он строгие книжки, строгие песни и кинофильмы. И танцы любил, но только строгие. Его мама была самой строгой учительницей в школе. И он за это ее обожал и втайне гордился, когда его одноклассники вытягивались перед нею и замирали...

Но выдал он Алеше на дорогу одну лошадь сроком на три дня — безо всяких казенных отговорок и усмешливых вопросов. Потому что за всей его сиротской любовью к строгости таилось человечески слезное страдание, детская несыхающая тоска по веселому летчику, который двадцать лет назад — раз и навсегда улетел из домашней казармы, оставив там пятилетнего мальчика с велосипедом, лыжами, коньками, а также мячами и мячиками, так больно и звонко напоминавшими о слишком краткой жизни с родителем, которая по справедливости длилась бы... Да что теперь говорить?!

«Я прикажу конюху, завтра он даст тебе лошадь. Туда лучше ехать на лошади... это имеет вид!» — И он улыбнулся строго и строго напомнил, что положено взять Алеше на кухне сухой паек на дорогу.

Алеша ехал по Крыму на лошади и как бы совсем ни о чем не думал, только рассматривал. Фиолетовые шелковицы рассматривал в свой сильный морской бинокль, где скакали корзины яблок под яблонями, горные сакли, малахитовые навесы и колонные залы дикого винограда над столами и лавками, пестрое белье на ветру, голопузые ребятишки, кудлатые собачонки, кошки, куры, козы, бронзовые фигурки женщин, стряпающих на улице,— и все это мельтешило, дышало и трепыхалось в скалистых горах, в каменных выдолбах, на диких ступенях, под ледяными душу горными отвесами, которые были сплошь в трещинах и надломах, но почему-то на глазах не разваливались и не вселяли никакого стихийного ужаса в обитающий там народ.

Иногда Алеша рассматривал пролетевшую мимо, случайную мысль. Например: «Бабушка пришла в ужас, когда мама бросила скрипку и окончательно выбрала виолончель. Она посчитала уродством для женщины играть на таком инструменте, который стоит между ног. Как странно и даже, простите, глупо! Просто диву даешься, какие предрассудки были в прежние времена даже у весьма культурных людей. Я не хотел бы, чтобы моей мамой была моя бабушка, хоть она и профессор Земли, гор и морей. Нет уж! Я предпочитаю, чтобы меня родила виолончель, а не глобус! Внук глобуса и сын виолончели — вот я кто. А кто, интересно, папина жена? ..» Тут рассматривание мысли внезапно кончалось — как драка при появлении короля. И Алеша вновь рассматривал горы с их открытой и простодушной жизнью. А лошадь шла весело и легко. И легко ей, лошади, было дышать чабрецом, и полынью, и виноградным листом, и недалеким планктоновой свежестью моря.

Так бы ехал Алеша Боткин всю жизнь, потому что втайне ему приезжать совсем не хотелось, боялось и никак не светило. Вот ехать и ехать на лошади к отцу, вдоль гор, виноградников, вдаль к отцу, на рассвете и на закате, и звездной ночью на лошади ехать к отцу — это да! Но приезжать, наконец,— это грустно, как всякий конец пути, думал Алеша безотчетно и отвлеченно.

Но вот показались приметы: родник, тополиная троица, самосвал на холме, за холмом — скала и в ней голубая сакля с верандой, побеленная известью с синькой. Алеша спрыгнул у родника, умылся до пояса, радостно фыркнул и, распрямившись в седле, стал подниматься вверх по тропе — мимо виноградника, мимо ручья, мимо разрушенной сакли, две стенки которой были распахнуты

в каменные покои, в прохладные сумерки всеми покинутой жизни: такая Помпея,— подумал Алеша, миновал сад и подъехал к синей калитке.

У калитки сидел на горшке белобрысый мальчик лет пяти.

— Отличная-преотличная лошадь! Она устала-преустала с дороги. Я сейчас ее накормлю,— сказал мальчик, натягивая штаны, и побежал с горшком к обрыву, а потом спрятал горшок в кустах.

Тут и вышел отец на крыльцо веранды, обтирая ветошью руки. Он сбежал с крыльца по крутым ступенькам и помчался к Алеше, и так жарко к нему прижался, так жарко обнял, что лицо у Алеши вспотело, и он пить захотел, как лошадь, звонко и долго.

— Пить! — сказал он отцу и наклонился к эмалированному ведру с водой.

Лошадь топталась у синей калитки и ела цветы. Отец расседлал и отвел лошадь на ближнее пастбище, куда-то вверх по склону, поросшему кустами акаций.

В голове у Алеши распространялся мучительный, опустошающий звон, и в глазах, по сине-зеленым краям кругозора забурлило волнистое серебро, как всегда у него бывало во время приступов сахарной слабости. На этот случай он носил с собой рафинад в железной коробочке из-под заморского табака. Алеша съел кусок липкого сахара и еще два куска, и ему стало полегче. Он сел верхом на лавку, огляделся, прислушался к этому миру, в котором гостил, и тайным чувством вдруг понял, что женщины сегодня здесь нет, а есть только отец и этот белобрысенький мальчик.

— Я Гриша,— сказал мальчик.— Сейчас давай будем обедать. Мы с папой наварили-нажарили-насалатили. Я голодный-преголодный! Давай оба-вместе тарелки-ложки-вилки носить.

Взбегая на крутое крыльцо, он крикнул:

— В саклю входишь — сгибайся, а то по башке шарахнет! Ты — длинный, тебя шарахнет. И меня когда-нибудь тоже!

Алеша ему улыбнулся за такие веселые мысли о будущем, которые бывали и у него, когда был он совсем еще маленький и о будущем думал, не имея понятия, сколь зависит оно от человеческой воли. Сейчас-то Алеша знал точно, что его, Алешина, воля влияет и впредь будет вовсе влиять на его, Алешино, будущее. Потому что три года назад с мыслью о том, что его отец где-то там, в своей новой жизни, родил себе нового сына, а если только захочет, то в еще более новой жизни родит еще более нового сына и так далее... ну, в общем, с мыслью об этом Алеша открыл для себя невероятную тайну будущего: все прошлое было когда-то будущим, все будущее станет когда-то прошлым во имя еще более и более будущих — была б только сильная воля у человека. Так думал подросток, сгибаясь при входе в саклю. Там было две комнатки — одна через другую, и лилась по стенам прохладная мгла, и потолок был низок и толст, как в келье. Слева белела крепкая печь, за летней ненадобностью накрытая плахтой и заставленная разными книгами. В дальней комнате — во всю стену — был серый грубошерстный ковер с тремя летящими цаплями, розовато-синими.

— А-а-а! — сказал Алеша, и сакля запела.

— А-а-о-о-у-ум-м! — и сакля звонко, протяжно зевнула, как сонная пума.

Кровати, буфет и всякое такое Алеша разглядывать не стал, а быстро взял чугунную жаровню с мясом, тарелки, ложки, вилки, стаканы — и вышел.

Гриша притащил миску с салатом, батон и вынул из-под куста прохладный кувшин с тутовым морсом. Вернулся отец, достал из погреба сыр, соленые огурцы и великий арбуз.

— Какой ты красивый, Алеша!.. Ты самый красивый мальчик на свете. Я мог бы смотреть на тебя всю жизнь! Завтра с утра мы сядем с тобой вот здесь...

нет, вот здесь!.. и я напишу твой портрет. У меня загрунтован подходящий холст в мастерской, — и отец показал на дверной проем в торце голубой сакли, где шаталась от ветра шторка из крашеной марли. Он налил себе вина, а мальчикам морсу, и все трое выпили — за встречу и за долгую жизнь.

Тут в калитку просунулся потный человек в городском костюме — художник Трифон Чернов.

— Привет, старик, я у тебя сегодня ночую! Так по расписанию вышло. А завтра — в Симферополь на самолет и прямо в столицу мира!

Он втащил два больших чемодана и этюдник, разделся и сел за стол в одних трусах.

— Я, старик, еле дышу! Давление двести двадцать на сто сорок, и пульс не меньше восьмидесяти восьми. Ты же меня знаешь, я — человек деликатный, тонкий, хорошо воспитанный. Я же слова лишнего никогда не брякну, ты же меня знаешь, я просто не умею быть хамом, даже когда это — во как нужно! Все, что я имею, даже смешно сказать, не подумай, что я хвастаюсь, старик, но все, что я имею, они принесли мне на блюдечке с голубой каемочкой, потому что я — действительно прекрасный великий художник. И в кои-то веки я прошу мастерскую на Чистых прудах, — так вместо того, чтоб меня поддержать, они поддерживают Чимкелова, этого оболтуса, которого я вскормил, вспоил и вывел в люди, старик, ты же знаешь! Мне тридцать пять, и меня покупают везде, а ему сорок пять, и его покупают только в залы общепита. Но как платят мне и как платят ему? Смешно сказать, но несравнимо! Я продал своего «Арфиста» за семьсот, а он свой «Хор скворцов» за тысячу двести!

— Да ешь ты и пей! Успокойся! Ты — чудный художник. И я всегда тебе помогу, хоть не всегда могу помочь сам себе. Чимкелов — несомненный оболтус и такой же художник, как я — балерина. Но ты, мой друг, вскормил его, и вспоил, и вывел в люди, свято надеясь, что тебя он не тронет и в грозный час защитит от других таких же оболтусов. А у него изменились планы, и он на тебя плевал. Кстати, именно потому, что знает тебя как облупленного. Никогда, Трифон, не дружи с подлецами, они ненавидят родителей, учителей, никогда не возвращают долги, незабвенно мстят за добро — и обожают, когда им дают по морде. По морде — это их как-то успокаивает и освежает. Про это много написано, ты книги читаешь?..

Алеша сидел на высокой скале, ел жаркое и видел небо прямо перед собой. Снаружи оно состояло из сине-багровых газов, из набрякших грозой облаков, золотящихся мимолетно... из птиц, обезумевших от электричества дальних летучих и жгучих молний, среди которых есть шаровые... из одуванчиков, дыма и всего, что за день туда улетело. Но внутри оно состояло из горящих камней, из раскаленных гигантских шаров, эллипсов и гремящих пустот. Там шумело сизое древо Млечного Пути, и наша Земля ползла по нему, как голубая букашка. И, холодея, сжимались какие-то звезды до размеров, в которых они предстают перед нами ночью. А другие звезды вновь разгорались, и несметные солнца ритмично пульсировали — золотые снаружи и черные в сердцевине, а другие солнца сгорали и коченели. И была среди этих миров изначальная точка — точка самодостаточности, божественная воля Вселенной, сама себя создающая и все — из себя самой. И меня, и Гришу. И отца, и мою маму... А где Гришина мама и куда она?.. Эту мысль Алеша не стал рассматривать и самозащитно вернулся на землю, где Гриша тормозил его за локоть и чем-то крайне был удивлен.

— Что ты видишь там, куда ты смотришь? — спрашивал Гриша Алешу.

Алеша улыбнулся ребенку чудесным образом, как бы из своего тайного далека, где был он за миг до того, размышляя над первопричиной всех жизней, которая так мучит подростков и всех мудрецов нескончаемой древности.

Алеша знал, что Земля и Вселенная — совсем не такие, какими они представляются житейскому глазу. Ведь у бабушки часто гостили знаменитые ученые, и к чаю они приносили невероятные, глазам не доступные новости о земле и о небе. И, хотя Алеша уже у кого-то прочел, что глаза — это часть нашего мозга, вынесенная наружу, он большей частью жил своим внутренним зрением, ему доверял все сильней. Внутренним зрением он мог останавливать образы и разглядывать их так долго, как было ему надо для усвоения сути. А при необходимости, он мог также вызывать эти образы вновь и вновь, во всей их подробности и неясности, чтобы внутренним зрением в них углубиться и кое-что прояснить, а кое-что окончательно затуманить в надежде на мудрость будущего. Людям же, которые в эти времена общались с Алешей, казалось, что он спит с открытыми глазами.

— Что ты видишь там, куда ты смотришь? — снова и снова спрашивал Гриша.

— Вижу баранчика, который полез на Луну, чтобы стать кудрявым, как тучка. А там, на Луне, очередь лет на триста. Тучка займет очередь, пролетая мимо, а лет через сто плюс сто плюс сто ее очередь как раз и подойдет, когда она снова соберется из капель и мимо Луны пролетать будет. А баранчик триста лет не живет и не собирается он из капель каждые триста лет. Ему сейчас надо кудрявым стать! А тучки ему говорят:

«Если ты даже сто лет не проживешь, так зачем тебе кудри? Их ведь никто и разглядеть не успеет, зря очередь занял!»

Но тут один старый лунный фей по имени Филофей говорит:

«Нет, так дело не пойдет! Пропустить баранчика безо всякой очереди, потому что у него возраст детский, а детей по всей Вселенной без очереди всюду пускают! Тем более что он, баранчик, умрет молодым по сравнению с вами, мои красавицы!»

Тучки пошумели, погромыхали, некоторые от злости даже черными сделались, но баранчика пропустили, как ребенка, без очереди. И во-о-он там, видишь, идет кудрявый баранчик с Луны на Землю.

— Вижу. Идет кудрявый баранчик, — сказал Гриша и взял со стола большой прямоугольный пряник. — Вот смотри. Я беру этот пряник и по кусочку откусиваю. Грыз-грыз-грыз и еще с этого боку грыз-грыз, и получился у меня баранчик. Теперь тут грыз-погрыз и тут грыз-погрыз, и получилась собачка. Теперь тут угрызу уголок и там войду в серединку, и получилась кошка. Теперь съем ушки и тут погрызу, и получилась курица. Из курицы только бабочка получается, из бабочки — жучок, а из жучка — вишенка. А из вишенки ничего не получается больше, поэтому я ее так просто съем, безо всякого воображения! Вообще-то, я пряники не очень люблю. Я люблю варенье, но из варенья ничего такого не получается, в нем твердости нет.

— Сейчас арбузик нарежем! — сказал Трифон и воткнул финку в белый арбузный пупок. — Мировая финка, старик, с пружиной, английская сталь, между прочим, «Шеффилд»! Мне ее Рокуэлл Кент подарил!

Арбуз развалился, обнажив красное сахарное мясо с черными зернами, в каждом из которых была до предела сжатая, тайно зарытая, втянутая в самую глубину, неукротимая воля к жизни, готовая вспыхнуть и разрастись этим красным сахарным мясом, раздувая кору зеленого шара.

— Ты — хвостун и врунишка. Рокуэлл Кент не имел о тебе ни малейшего представления. Ведь он, бедняга, посетил наши края, когда ты, Трифон, был еще скромным, воспитанным мальчиком и не сочинял о себе никакой легендарной белиберды, сфальшивленной под документ эпохи. Уж это я в нашем брате просто терпеть не могу-у-у!

— Старик, ты прав! — сказал Трифон, поникнув повинной головой. — На меня что-то нашло! Ты не поверишь, конечно... Ты, конечно, теперь ни за что мне не поверишь, но я скажу тебе всю правду. Эту финку мне подарил Булат Окуджава. Будет он выступать — подойди и спроси, он тебе подтвердит, он — человек очень славный и с юмором, он тебе скажет, как просто все это вышло. Поехал он в Англию и купил мне эту финку за три фунта на аэродроме Хитроу, где все в три раза дешевле, потому как без пошлины. Ему жутко нравятся мои картины. Иногда он приходит без звонка, сидит часами и смотрит... Песня у него есть одна замечательная. Называется «Батальное полотно». У меня две картины с таким же названием. Так вот его песня частично повторяет мое второе «Батальное полотно». Не первое! А второе, где белая кобыла с карими глазами.

Отец сквозь зубы выдохнул воздух, встал и зажег над столом китайский фонарик. Фонарик от тепла закружился и наполнился абрикосовой мякотью, разливающей прозрачный свет. Свет был такой — как будто он рос на дереве.

Гриша попросил лимонада, и Алеша, наливая ему пузырчатый крашеный напиток, вдруг вспомнил: «Лимонад делают из лимона, но лимон из лимонада уже не сделаешь никогда».

В ту минуту калитка распахнулась и вошла полная старуха в морковном халате и ситцевой кепке. Она по-свойски села к столу, съела два бутерброда с сыром, запила вином и тут же из кармана достала маленький бумажный пакетик с содой. Соду из пакетика она высыпала себе на высунутый язык и съела ее, не поморщась.

— Я, Трифончик, без соды помираю, будто в меня керосину налили, как в примус. Пш-ш-ш! — испустила она с наслаждением благотворную отрыжку. — Давай, Гришенька, спать ложиться, я за тобой пришла, тебя маменька ждет. Ты же знаешь, она без тебя во всю ночь глаз не сомкнет, таращиться будет! Идем, мой пончик, я тебе сказочку расскажу!

— Не-е-ет,— сказал Гриша, глядя куда-то в свою собственную даль, — я здесь буду спать. Я буду спать с братом. Он же приехал всего на три дня. Ты скажи маме, что три дня буду я спать здесь, с братом. А потом всю жизнь с ней.

— Гриня, мы же с тобой договаривались! Разве нет? Ты свое мужское слово держать должен! Кто свое мужское слово не держит, как надо, тот — тьфу! — инфузория! Его каждая моль в бараний рог согнет и съест в один присест.

— А бараньи рога никто не ест. Они, тетя Мотя, очень твердые и невкусные. Может, бараний рог мечтает всю жизнь, чтобы его слопали, а всем он не по зубам. Вот бедный! — увиливал Гриша от главной темы. Она, эта тема спанья непременно вблизи матери, была его мучительным детским стыдом и позором в присутствии старшего брата, которого он увидел сегодня впервые и успел полюбить — ни за что, за так, за то, что — брат, и все тут!

Отец подливал себе и Трифону чай из пузатого узбекского чайника с красно-золотыми боками. Он слушал бубненье и вопли Трифона, глядя в крепкий коричневый чай, и не обращал как бы никакого внимания на битву младшего сына с превосходящими силами противника.

Алеша встал и пошел к калитке.

— Ты куда? Я с тобой! — вдруг очнулся отец и взглядом рванулся к Алеше, не успев отереть с лица паутину какой-то немой, затаенной мысли.

Алеша ему улыбнулся. И отец улыбнулся в ответ виновато и весело. Закрывая калитку, Алеша услышал, как Гриша сказал тете Моте:

— Человек! Мы же — братья!

Алеша поднялся по склону и увидел шелковицу, где была привязана лошадь. Лошадь дремала, но, услышав шаги, встрепенулась. Она узнала Алешу во тьме, и он дал ей три куска сахара, и сам съел три куска — ему было не по себе, на него накатила волна отвратительной слабости, лицо стало холодным и влажным. И, стараясь вернуть себе кровное тепло, которого не даст человеку никакой ни огонь, ни жар — только кровь, Алеша вдруг вспомнил вот это из «Кавказского пленника»:

Под влажной буркой, в сакле дымной,
Вкушает путник мирный сон,
И утром покидает он
Ночлега кров гостеприимный.

Издали видел Алеша свет китайского фонарика и саклю. Там на веранде зажгли верхний свет, и в одном из окон сакли тоже что-то затеплилось. «Свеча, может быть,— подумал Алеша,— при Пушкине были бы свечи». И он улыбнулся, потому что вдохнул глубоко и услышал, как чудно пахнет живая лошадь, живая гора, поросшая живой травой и живыми кустами живой акации, и живой шелковицей... Просто стало Алеше легче, его сердце, скачущее, как лошадь, схрупало три куска сахара и теперь мчалось дальше, весело согревая живую кровь, которая вмиг обсушила жарким ветром его лицо, орошенное смертным потом и стянутое колючим льдом.

Отец подошел, и обнял, и поцеловал Алешу в макушку. Он сказал:

— Этот тип свалился, как сковородка с гвоздя. Но завтра мы будем одни. И послезавтра мы будем одни. И я, Алеша, кое-что тебе объясню... Это ты не видел меня три года. А я тебя видел... каждый день. Где бы ни был, о чем бы ни думал... Не говоря уж о том, что я дважды в месяц езжу в командировки в Москву, чтобы глянуть, как ты там... ну, идешь в спортивную школу. Завтра! Все завтра! Завтра я напишу твой портрет! Завтра я смогу с тобой говорить о серьезных вещах... Ты даже не представляешь себе, из-за какой чепухи люди в молодости... в молодости они так беспощадны друг к другу! А в моем уже возрасте... они безгранично терпимы. Спать! Все будет завтра — и силы, и время, и слова!

Алеша пошел за отцом по узкой тропе, облитой лунным сиянием, пошел сквозь кустарник, замглиненный пылью и пухом, сквозь дикий сад, отливающий черной зеленью и серебристой — с изнанки. Отец закурил, и дым его сигареты струился через плечо, на Алешу, и с каждым шагом Алеша вдыхал этот дым, хоть он ему не был сладок. Но кто-то устроил так, что выдох отца приходился на вдох сына. И как ни старался Алеша изменить это ритмом ходьбы, ничего у Алешы не получалось, не выходило ему облегчения — на каждый выдох отца все его существо отвечало вдохом: выдох — вдох, выдох — вдох... Алеша почувствовал, что он выдыхается, прибавил шагу и обогнал отца. Там, впереди, воздух был чист и легок, и в черноземе неба сверкали крупные, круглые звезды, шевелясь в своих лунках и бесшумно в них проворачиваясь.

Гриша лежал в раскладушке, упираясь локтем в брезент и держа на ладони свою пшеничную голову.

— Я тебе постелил,— сказал он Алеше.

И Алеша увидел у другой стенки кровать, накрытую одеялом с белым отогнутым уголком. Он разделся и лег, потянувшись, как кошка, и весь наполнился тем блаженством, той дивной, все утоляющей благодатью, которая так сладко поет о божественном происхождении наших трудов и нашей усталости.

Гриша громко зевал — до слез, но ни за что не хотел засыпать. Завелась в нем тревога, предчувствие, расплывчатая, но звонкая грусть — на тайном ветру дрожал ее ледяной колокольчик. Он вылез из раскладушки и тихонечко потащил ее к Алешиной кровати, шлепая по полу босыми ногами.

— Алеша... ты спишь?

— Не-е-ет! — отвечал Алеша сквозь дрему.

— Расскажи мне сказку, Алеша. Мне страшно, когда я не сплю, а темно.

— Ну, слушай. Слушаешь?

— Слушаю, слушаю! Я весь слушаю.

— Погнался волк за двумя зайцами — и обоих поймал! Притащил за уши зайцев домой и спать положил в сковородку, чтобы съесть их тепленькими — одного зайца на завтрак, а другого — на ужин.

«Завтрак съешь сам, обед раздели с другом, а ужин отдай врагу! Где же я это прочел, у какого заморского волка? — подумал волк, засыпая на овечьей шкуре. — Так или иначе, а друга у меня нет — последнего я съел на той неделе. И врага у меня нет — последнего я съел, когда съел последнего друга. Тоже, значит, на той неделе. Не с кем мне разделить обед и некому отдать ужин. Придется всех зайцев самому съесть. Все-таки я очень Одинокий Волк!» — и во сне он заплакал скупыми волчьими слезами.

Не всегда зайцу весело, когда волк плачет. Иногда волк плачет перед тем, как зайца слопать. Это он слезами зайчатину по вкусу подсаливает, потому что волк терпеть не может пресной пищи! И он бы ел траву, капусту, морковку, одуванчики с лютиками — чего проще? Ни за кем не гоняйся, рви себе травку да жуй в свое удовольствие! Он бы даже молоко давал и шерсть кой-какую — что ему, жалко? Но для этого пресная пища нужна, а от нее волку дурно делается и лютость его возрастает на семьсот шестьдесят процентов — и волк начинает кипеть! А волки кипят при ста градусах. Зайцы все это в первом классе проходят, как таблицу умножения, и контрольные пишут в конце каждой четверти. И все зайцы очень любят пословицу: «За двумя зайцами погонишься — ни одного не поймаешь!»

А тут погнался волк за двумя зайцами — и обоих поймал. Оба — sereneкие, оба — пушистенские, оба — ушастенские. Но один — Трусливый с большой буквы, а другой — Храбрый с большой буквы. Трусливый Храброму говорит: «Ты тихо лежи, не дрожи, лапки сложи, притворисьдохлым. Волк тебя как негодного и несъедобного выбросит! И меня вместе с тобой. Тут мы и дадим деру! А он за двумя зайцами погонится — ни одного не поймает!» Ты слушаешь?

— Слушаю, слушаю! Я весь слушаю.

— А Храбрый Трусливому говорит: «Я не от страха дрожу. Я силу так собираю. Я весь напрягаюсь, чтобы волка шархануть кочергой по лбу! Я не могу притворитьсядохлым, у меня не получится, я очень дрожать буду или от страха взаправду помру! Лучше я этого волка враз кочергой оглошу!»

«Это очень и очень рискованно! — говорит Трусливый с большой буквы. — А вдруг ничего не получится? Кочерга сломается? Или волк догадается, о чем ты думаешь? Нет, мой план лучше!»

Тем временем волк стал залиvisto похрапывать, посапывать, сладким сном спать... Ты слушаешь?

— Слушаю, слушаю! Я весь слушаю.

— Три, четыре! — сказал Храбрый заяц, прыгнул, как лев, схватил чугунную кочергу — и волка со всей силы по лбу звякнул! Бемц! И распластался волк тихонечко, гладенько, словно пустая шкура. Морда смиренная, лапы враскидон — хоть пылесось его!

«Ура! За мной! — крикнул Храбрый. — Мы спасены!»

А Трусливый лапки откинул, ушами закрылся и притворилсядохлым. «Мой план лучше! — сказал он Храброму. — А вдруг ничего не выйдет? А вдруг волк очнется, озверееет, помчится за нами, как бешеный, — и съест! Ведь не зря у зайцев пословица: «Волка ноги кормят!»

«Не ноги кормят волка, а зайцы!» — сказал Храбрый и удрал в лес на волю.

Там, на воле, мы с ним в друзьях — не разлей вода: песни поем, за морковками путешествуем, истории с приключениями рассказываем, волков по ночам пугаем страшными голосами.

А ты спи, не бойся! Ты спишь? — спросил в темноту Алеша.

Гриша сладко посапывал. Он враз вырубился из яви и рухнул с ее крутого берега в глубокое забытье, и мгновенно утону, и зарылся на самое дно, как ракушка. Лишь в раннем детстве так быстро над нами смыкаются воды и воздуха сна, бесшумно вливаясь в каждую лунку сознания, в каждую щелку и трещину, в каждый глухой тайничок нашей памяти, где столько сахарных, черных семян закатилось, застряло, чтоб разрастись и во сне расцвести, и родить впечатленья и чувство.

— Ма-а-а-ма, ма-а-а-мочка... — Гриша вдруг заскулил во сне так тоскливо, так жалобно.

И сон отлетел от Алеши, как пуговица от шубы — на зимнем ветру, когда воротник нараспашку и холод в самую грудь! Он поежился и натянул одеяло, а потом нырнул под него с головой и начал дышать, чтоб тепло накопилось и в этом тепле чтобы снова завелся какой-нибудь сон. Но из этого ровным счетом ничего у Алеши не вышло.

Не к месту и не ко времени напала на него совершенная бодрость. Эта бодрость раскутала все дневное, все, что он так старался в душе усыпить, чтоб оно не заплакало. И вдруг завладела Алешей жгучая ясность. Он тихо оделся и вышел на воздух. Ночь показалась ему слишком светлой. Посмотрел на часы — половина третьего. В мастерской у отца горел свет. Отец работал.

Прижавшись к стене, краем глаза Алеша увидел высокий и узкий холст, прорисованный углем. Трифон сидел на сосновом ящике, пил чай из пиалы и разговаривал страшным шепотом вперемежку с неукротимой зевотой:

— Бессонница, старик, тугие паруса!.. И, Бог мой, какая только чертовщина не лезет в голову, когда у человека отшибло сон по прихоти судьбы. Прошлым летом, когда я писал декорации, там один парень приезжал... научный такой парень, с проблесками гениальности. Он не спит, я не сплю. А какое-нибудь дерьмо, вроде Чимкелова, спит, между прочим, безо всяких снотворных, часов по восемь, а захочет — по десять! Так вот мы с этим парнем, он тогда Пушкиным занимался и я ему, как художник, был до зарезу необходим, ты же знаешь рисунки Пушкина... так вот мы с этим парнем восстановили все пушкинские строки, пропущенные во всех собраниях сочинений.

— Как восстановили?! В каких собраниях сочинений?

— В обыкновенных. Мы их сочинили, старик! Представь себе! Сочинили, исходя из того, что Пушкин написал до этих строк и после.

— Какое варварство! Варварство!... Варварство... — задыхался от гнева отец.

— Да что ты так кипятиться? Работу, между прочим, приняли на ура. И печатают. Когда времена будут получше. Ты какой-то, Боткин, закомплексованный и живешь не в данном конкретном времени, а в идеальном и вечном, где все единственно и неповторимо. Я бы даже назвал это болезнью Боткина! — и он хохотнул, страшно довольный своим каламбуром. — Ведь мы реставрируем старых мастеров — и ничего, весь мир смотрит, и сам черт не разберет, где кто приложился! Умеючи, и Пушкина реставрировать можно. Не всем, конечно. Но некоторым. Все можно, умеючи! Я бы, например, будь на то моя воля, все бы чумные кладбища раскопал. Уму непостижимо, сколько там золотых и алмазных фондов зарыто! Ведь тогда люди все лучшее с собой брали в могилу. Сами

перед смертью надевали на себя все самое драгоценное: браслеты, перстни, серьги, гривны, диадемы, золотые плащи, туфли, цепи, нарукавники, набрюшники! Под мышку — золотой кувшин, пять кило весом, молитвенник в золоте, в серебре с брильянтами, изумрудами, сапфирами! Под голову — золотую подушечку ручного плетения! А ткани! А утварь! И все это лежит там веками, в полной целостности и сохранности — потому как бояться копнуть. А чего бояться? Чего? Чумы? Так есть ведь противочумные костюмы! И можно воздух в окрестностях опылять какой-нибудь прививкой, чтобы население не пострадало. Все можно, умеючи! — Трифон хлебнул хладного чаю и приборно выпустил воздух из легких.

Алеше вдруг показалось, что дыхание Трифона источает смрад бубонной чумы. Но что ужасней всего, подумал Алеша, так это то, что одно с другим связано... не вполне научно, но связано... Одной идеи разgrabить чумные кладбища — вполне достаточно, чтобы вспыхнула вдруг чума, микроб которой живет вечно даже в могиле, облитой едкой известью, испепеляющей кости.

— Тебе, Трифон, в детстве какие прививки делали? — услышал Алеша глухой шепот отца.

— Какие всем. От кори, от коклюша, от дифтерита. От оспы первым делом. А что?

— Тебе еще сделали прививку от страха Божьего, от мук совести, можно сказать... На этот счет у тебя зверский иммунитет.

— Да уж! — хихикнул Трифон.— Нет как нет у меня болезни Боткина! Это я здорово про тебя скаламбурил — в самую бубочку! Болезнь Боткина, ха-ха, хо-хо!

Алеша тихонько вернулся в саклю. Маленький Гриша весь утонул в раскладушке, но спал вверх лицом, на котором играл удивительный свет, то ли лунный, то ли звездный, то ли еще более дальний и сильный.

— Я, пожалуй, сейчас поеду. Спать мне совсем не хочется. Сахар еще остался, на дорогу как раз хватит. Куплю в крайнем случае,— шепотом думал Алеша.— А маму Грише никто не заменит, он еще маленький, маму во сне зовет... а мама тоже где-то поблизости не спит, глаза тарасит... Я, пожалуй, сейчас поеду.

Алеша вынул брата из раскладушки и перенес на свою кровать, — чтобы спать ему было просторнее. Сонный Гриша обнял Алешу за шею и засопел ему в ухо. Младший брат — это чудесно, подумал Алеша, это здорово, когда младший брат так беспомощно тебя обнимает во сне и сопит тебе в ухо! А всякое там... со временем тоже уладится. И притом с таким замечательным братом я сумею всегда сговориться, мы будем друг другу писать, и потом он придет ко мне. Он же будет все время расти и все понимать, у него и сейчас уже есть характер и воля: «Человек! Мы же — братья!» — вспомнил Алеша, улыбнулся и подошел на цыпочках к печке, там он видел днем карандаш и ломтик картонки. Вот они! Улыбаясь, Алеша нацарапал карандашом на картонке несколько слов и положил это на видное место — не под подушку Грише, а рядом, на простыне, чтобы он, проснувшись, сразу нашел послание брата.

Теперь Алеша хотел оставить записку отцу. Без этого он никак уехать отсюда не мог. Но бумаги больше нигде не нашлось. Зато нашлась коробка с розовыми мелками. Алеша взял оттуда один розовый стержень и, сойдя бесшумно с крыльца, написал на дощатом столе: «Дорогой папа! С болезнью Боткина жить можно. Я поехал. Алеша».

Он отвязал лошадь и спустился с ней по тропе с другой стороны, чем приехал. Какая удача, что кто-то когда-то протоптал этот путь с противоположно-го склона! Теперь Алеша тихо-тихонечко объехал скалу и глянул вверх — на

прощание. Там, в скале, наверху, была голубая сакля с верандой, побеленная известью с синькой. За одной голубой стеной спал Гриша, очень младший и очень родной брат, мама которого где-то поблизости таращит глаза и не спит. За другой голубой стеной курил и работал очень старший и очень родной отец, художник Сергей Боткин, который детям своим передал по наследству удивительную болезнь, можно сказать, душевную.

Алеша распрямылся и полетел. На востоке уже золотилось прозрачное небо, расцветая воздушными облаками. Облака на глазах превращались в самую разную живность: вот прошел кудрявый баранчик, стал баранчик кудрявой собачкой, собачка — кудрявой кошкой, кошка — кудрявой курицей, курица стала бабочкой, бабочка — дальше некуда... вишней.

Вишневое солнце вышло из моря.

Всаднику было на вид лет тринадцать-четырнадцать. Краснокожий, с узким скуластым лицом, был он похож на индейца. Тугая повязка вокруг головы сдерживала длинную черную гущу над бронзовым лбом. Во всем его облике наблюдалось достоинство души, мыслящей самостоятельно и привыкшей изъяслять свою волю. На миг он крепко закрыл глаза, ослепленные ранним солнцем. И увидел такое же солнце в собственном существе. Это солнце вращалось, разгораясь в космическом мраке телесной Алешиной жизни. Он хотел удержать это солнце навеки в недрах одушевленного тела, — чтоб, как сердце, пульсировал в ритме Вселенной этот огненный мускул неба.

Но, разгораясь, Алешино солнце уменьшалось, сжималось и, наконец, превратилось в блестящую синюю звездочку, которая скрылась в незримых звездных глубинах, однажды родясь в глубинах Алешиной жизни, ослепленной утренним солнцем Крыма. Эта звездочка, подумал Алеша, свободно плавает в каждой капле пространства и времени, но рождается лишь в человеке, который смотрит на солнце, а потом закрывает глаза. Эта звездочка — вроде мысли, когда моя воля ее отправляет плавать по миру, чтобы узнать, какой он... там, где я никогда не буду.

И он снова проделал свой солнечный фокус, и снова в Алеше зажглась блестящая синяя звездочка — посланница солнца.

От такой чепухи, доступной каждому смертному, он испытал сильнейшее чувство любви, свободы и счастья. И запел свою какую-то песню без слов — как птица. Как птица, поющая благодарение радости.

Многие утром спустились с гор по разным делам — на бахчу, на кукурузное поле, на почту, в контору. И увидели, как промчался поющий всадник. Они сочли это добрым знамением — и дела их пошли на лад.

1980

ТАБУРЕТКА

Жили-были старик с табуреткой. Старик у было сто лет, и стал он такой маленький, что спал в колыбели, а табуретка ногой колыбель качала и пела ему песенки.

Бывало, проснется старичок Филофей, а тут как тут табуретка стоит с кашкой и тертой свеклой или с пюре морковно-яблочным.

Потом бежит, кувыряясь, табуретка на рынок, в аптеку, в магазин и на почту. На почте она шлет открытки и письма детям, внукам и правнукам старичка Филофея, поздравляет их с Рождеством, с Новым годом, с Первым мая, с днем рожденья и с днем именин, а внизу подпись ставит — «Ваши старичок Филофей и табуретка».

Потом она домой скачет с творожком, с овощами, с овсянкой, с лекарствами травяными. Дома быстренько табуретка одевает старичка для прогулки, кла-

дет его в детскую коляску, на сквер катит, а там уж, на сквере, они за ручку гуляют, и табуретка покупает старичку леденец на палочке или воздушный шар.

На прогулке следит табуретка, чтоб у старичка Филофея шарфик не развязался, а то ведь простудится старичок с непригляда, будет чихать, кашлять, в ознобе трястись, бредить в жару и звать свою старушку, жену-красавицу Анастасию Васильевну, которая давно улетела на небо.

Жарким летом табуретка водила гулять старичка Филофея в одних трусиках и в панамке. Сама, бывало, стоит на берегу озера, а старичок там в озере плавает, от жары отдыхает. А потом табуретка растирает его большим голубым полотенцем с цветами и дает сладких черешен.

Летними вечерами табуретка варила на зиму варенье из роз и вишен и рассказывала старичку сказки, а он пил чай с молоком и с пенками от варенья. Больше всего старичок Филофей любил варенье из райских яблок и «Сказку о золотом петушке».

А ночью, когда старичок Филофей спал очень сладко, табуретка любила стоять на балконе и на звезды глядеть, от звезд у нее ноги болели не так сильно.

Однажды во сне старичок Филофей улетел на небо. Табуретка тихонечко застонала и закачалась, упала в обморок. Потом обмыла она старичка Филофея, одела во все новое и послала телеграммы детям его, внукам и правнукам. Они приехали на поездах, приплыли на пароходах, пешком пришли, старичка помянули, дом его продали, а табуретку выбросили — у нее потому что одна нога была короче других.

Вот хромает одинокая табуретка по улице, а тут я из бани бегу и ей говорю:

— Здравствуйте, табуретка! Очень рада вас видеть. Не свободны ли вы случайно сегодня вечером? Приглашаю вас на чай с пирогом, у меня как раз день рожденья, мне сегодня исполняется пятьсот лет.

Справили мы с табуреткой праздник, и так хорошо нам было вдвоем, что стали мы вместе жить. Теперь, когда нет меня дома, табуретка на телефонные звонки отвечает и на бумажках записывает — кто звонил да по какому делу. Когда меня обижают, она покупает мне ландыши. А летними вечерами мы с табуреткой стоим на балконе, глядим на звезды и шлем открытку старичку Филофею на небо:

«Дорогой Филофей Пантелеевич!

Мы Вас помним и нежно любим. Сегодня была гроза. После грозы посвело, мы чирикали и качались на ветках липы. А потом опять припекло, нынче — жаркое лето, на балконе лимоны выросли. Вчера был Ваш юбилей и портрет Ваш во всех газетах и по телевизору. Выглядели Вы замечательно.

Желаем Вам благодати.

Обожающие Вас —

МАРУСЯ И ТАБУРЕТКА».

1997

ДО И ПОСЛЕ ОБЕДА

Всякий раз, как мне попадают на глаза киноленты и книги про шпионов, разведчиков, сыщиков и бандитов, я вспоминаю во всей живости одну бесподобную историю о том, как целых двадцать четыре дня прожила я в комнате — между гестапо и НКВД.

Нас разделяли только дощатые стены, за одной из которых гестапо допрашивало разведчиков — до и после обеда, а за другой НКВД допрашивало бандитов, агентов и шпионов — после обеда и до.

Дело было летом, году в шестьдесят пятом, на берегу Понта Евксинского, или Понта Скифского, или просто Понта. В общем, меня взяли на Понт, в город Гагру, где платаны, магнолии, розовые птицы и все чудеса райских садов. Правда, в этом раю грохотала железная и автомобильная дорога. Но одноэтажное, длинное строение под названием «Деревянный корпус», голубое снаружи и сырое внутри, стояло так близко к волнам, что грохоты всех дорог утопали в морском гуле. Там круглые сутки длился концерт природы, ветры свистели, море ходило, волны гуляли, чайки вопили, дети визжали от счастья, шпарило солнце, ливни гремели, все заглушая, кроме кое-чего... А справа и слева от моей комнаты обитали авторы детективных произведений.

В семь утра за стенкой, где стояла моя кровать, начинало работать гестапо. Их было двое. Один говорил другому:

— Значит, так!.. До обеда — я допрашиваю тебя. После обеда — ты допрашиваешь меня. Во время допроса все идет под машинку в трех экземплярах. Допрос — перламутровый, переливчатый. Море видишь? А жемчуг на дне видишь? Так вот, жемчуг — ерунда. Главное — раковина: сюда падает свет — она зеленая, туда падает свет — она красная, а туда-сюда падает свет — она синяя, красная, зеленая, фиолетовая и так далее. Главное — куда падает свет при допросе. Это же гестапо, старик, ге-ста-по! Зрелище, ужас, игра! Я почти приволок тебя на виселицу. Теперь ты должен сработать, как фокусник. Туда бросай свет, сюда бросай свет, напрягай меня, отвлекай внимание на мелочи, рассеивай, колдуй на конвейере обманных движений, привораживай к ерунде — и вешай лапшу на уши! Ну виртуозно так, артистично... Игра называется «Чем больше смотришь, тем меньше видишь». Но каждый раз должна получаться чистая правда, чи-ста-я! Понял? А чистая правда, она из чего получается? Из лапши, из виртуозной лапши!.. Из фокуса, больше не из чего. Старик, сегодня допрос будет кошмарный, ты наследил, а твоя любовница скурвилась с английским агентом.

Потом они шли на завтрак и весь день допрашивали друг друга с двумя перерывами для купания.

На пятые сутки я развернула свою кровать к противоположной стенке. В семь утра за этой стенкой начинало работать НКВД. Их было трое: двое мужчин и женщина.

— Значит, так! До обеда я допрашиваю тебя, — говорила она. — После обеда ты допрашиваешь его. В это время я схожу на базар. А потом вы оба допрашиваете меня. Труп находится на экспертизе. Шарфик покойницы опознали прохожие на Марье Петровне. Но банда еще должна наследить, а мы выследить. Если работа пойдет, сегодня появится на пароходе немецкий агент с чемоданом денег и с рацией. НКВД получило шифровку от Рябчика и очень тихо ведет агента. На допросе вполне допустимо психическое давление, даже попытка страхом, тихим ужасом и ожиданием кошмара. Ребятки, если б вы только знали, как загробно делает это Хичкок!.. Нам показывали на закрытом просмотре. Вот Хичкок — это настоящее НКВД! — и она снимала купальник с веранды.

Потом они шли купаться и до ужина допрашивали друг друга с перерывом на обед. Несмотря на жару, они делали это в комнате.

Тогда, поразмыслив, я перетащила свою кровать на веранду и занавесилась.

О, ужас!.. Работа у них не клеилась, они торопились и приступили к допросам с пяти утра. Теперь с двух сторон я слышала два допроса одновременно, справа — гестапо, слева — НКВД:

— Что вы делали на Фридрихштрассе в среду вечером, когда ели омаров?

— Откуда у вас, Марья Петровна, этот шарфик покойной гражданки Моськиной?

— На Фридрихштрассе вечером в среду? Что я делал? Я? Ел омаров.

— Этот шарфик покойной гражданки Моськиной я купила на распродаже в райкоме, вот квитанция!

Не вытерпев лютой пытки, я постучалась в гестапо, которое занимало две комнаты, во второй жили их дети. Гестаповцам я сказала, что слышу все их допросы с пяти утра, и очень их попросила переселиться с детьми поближе к НКВД, а вместо моей отдать мне их детскую комнату. Они с удовольствием это сделали, но спросили сперва: «Чьи допросы лучше, у нас или у них?» Я сказала, что нечего даже сравнивать этого Шекспира с теми сапогами. Все были счастливы, у гестапо случился творческий подъем.

Но как же я потом хохотала, когда ранним утром их дети за стенкой проснулись и звонко-звонко сказали друг другу:

— Значит, так! До обеда я допрашиваю тебя. А после обеда ты допрашиваешь меня. Вам барыня прислала сто рублей! Что хотите, то купите. Да и нет — не говорите. Черный с белым не берите. Вы поедете на явку?

— Поеду.

— Вы — шпион или разведчик?

— Я — графиня.

— Резидент или агент?

— Я — графиня.

— А какого цвета граф?

— Голубого.

— А какого цвета зубки?

— Розового.

— Эх, графиня, вы же графа провалили! Он теперь пропал!

— Почему?

— А потому, что зубки — розовые! На зубки маску не наденешь — их везде видно, когда едят и улыбаются. По этим зубкам мы теперь его поймаем.

— А вот и нет! У графа зубки вынимаются! Они кладутся в чашку и в любой тайник. Например, в дупло. В этих зубках оставляет граф секретные записки, граф секретные записки оставляет в этих зубках! — дразнилась графиня, игравшая всех прекрасней в эту страшно древнюю «игру в допросики».

1993

СЫР, ИНДЕЕЦ И НАДЕЖДА

Жил-был Сыр. Снаружи — круглый и красный, а внутри — со слезой и с большими дырками. Он в масле катался да и сам был продукт. Наивысшего качества, талантливой жирности, с большим содержанием минеральных солей. Он катался на службу, где многих вывел в сыры: одних — в крупные, других — в очень крупные, а третьих — «по собственному желанию».

Очень крупные сыры были квадратные и прямоугольные или колесом — все зависело от прессы! Чем прессы прогрессивней, тем крупней сыры. Очень крупные раз в месяц совещались, просто крупные все время совещались: кого переплавить? кого растереть?..

У Сыра были женка и трое детей. Женка — голландская, две дочки — швейцарские, а сын — рокфор! От первого брака было два внука: один — камамбер, другой — пармезан.

А у нас в тот год корова у колонки в лед вмерзла. Еле отодрали, еле ископали, глядь — а она вся мамонт!.. о молоке и речи быть не может. Отвели в музей. Музеец говорит:

— Это — не подделка, а подлинник мамонта, отличная сохранность, полный комплект. Мы б его купили, но у нас большие трудности. Денег нету. Можем обменять вашего мамонта на нашего индейца.

— Зачем нам индеец?.. Вещь бесполезная — ни молока, ни масла, ни сметаны, ни сливок, ни творога, ни сыра. Это — не продукт!

— Индейца не хотите? Ну, как хотите! А все равно мамонт не может вам принадлежать, он — государственный. Это ископаемое — наше достояние, принадлежит народу, науке и культуре, передовой общественности. Вызовем милицию, составим опись мамонта и конфискуем в пользу поколений. Меняйте вашего мамонта на нашего индейца, а то будет хуже! — говорит музеец, грубиян и жулик.

Ну его к черту! Взяли мы индейца. И правильно сделали, нет худа без добра. Индеец был тихий, курил себе трубку и сажал маис. От этого маиса, то есть кукурузы, вспрыгнули на ножки дохлые коровы, козы и овечки, гуси и жирафы, зебры и удода, сами поскакали, дали молока!.. Загудели прессы на нашей сыроварне. Ох, нет добра без худа! Главный Сыр от радости съехал с катушек, в кресло покатился, запер свой кабинет и составил списки: кого переплавить, кого растереть.

Сижу и дрожу за бедную Надю, за Надежду Павловну, за душу святую. Так оно и есть! Сыр вызывает и Наде говорит с великим отвращением:

— Вас не переплавить, вас не растереть! Вы — старородящая! А у меня сырьезный, ответственный сыр-бор. Кассыру из Минсыра, из Минсыробоины обещано давно, освободите место для юной пармезанки, дорогу — молодым!

Надя — на грани. Индеец курит «Яву» и думает: «Хана! Ведь он ее угробит. Надо что-то делать, кому-то позвонить... Узнать — кого боится вонючий этот Сыр? И кто стоит на пресе?..»

А там на пресе как раз стоит приятель нашего индейца. Ему индеец позволил, и выразил большое пожеланье, и попросил о маленькой услуге на вот каком секретном языке:

— Алло! Привет, китаец! Да это я! Индеец! А как живет кореец? Женится ли алтаец? А где сейчас гвинеец? Здоров ли кустанаец? Дежурят ли гаваец, малаец, гималаец?

И отвечал китаец:

— Давно пора, индеец! Я тоже — сирота, и всюду эта сырость...

Какое совпадение! Минут через пятнадцать сама собой разбилась на сыроварне лампа — башкой своей стеклянной вдрызг о потолок. Малаец с гималайцем в такой кромешной тьме не ту нажали кнопку — и Сыр пошел под пресс!

Услышав эту новость, кассыру из Минсыра сказала пармезанка, что больше — никогда!.. Такой-сякой рокфор!

...Но все равно ничто непорочно. Душа Надежды жметя к облакам, а плоть мычит, вмерзая в черный лед.

Попутна любая дорога...

Осень Господня

Н. Л.

Уже стеклодувами Вакха
Повыдуты в зарослях лоз
Янтарные гроздья, что ах, как
В лучах золотятся! — стрекоз
Прозрачней речных слюдянистых!
И мед этот — прежде, чем в рот
Попасть — в лопушащихся листьях
Оскомину зренью набьет.

Так осень легка на помине,
Что высохшая изнутри
В пустой к холодам паутине
Оса — тяжелее, смотри.
Она ль с медуницей-товаркой
Разбила живые шары
Бутонов; и астрою жаркой
Рассыпалась жизнь до поры.

Бессмертной природе урона
Не будет, но гибнет краса;
И чудится — в садик Ламона

Крадется, как Лампис-лиса,
Морозного воздуха пустошь —
Такая, что краски вот-вот
Ты волей-неволей отпустишь,
Как рыбок цветистых под лед.

Но ты еще, словно подсолнух,
В соломенной шляпе — лицом
Все тянешься к солнцу; и полных
Листвы — перед смертным концом —
Ветвей обступающий шорох
И шелест и шум так хорош,
Что нету причин, от которых
Ты хочешь не хочешь умрешь.

Причесаны гребнем Ван Гога,
Пестреют лоскутно поля...
Попутна любая дорога,
И жизнелюбива земля,
Которой зима не помеха,—
Пускай ее шкурки лежат...
На шубу из вербного меха,
Пожалуй что хватит денжат.

* * *

Впереди — только трое, и чуть подотстал новичок,
Глядя вслед Бальтазару и Каспару и Мельхиору...
Расширяется медленно суженный стужей зрачок,
Провожая бредущих в грядущее по косогору.
Под родное крыло; кто-то с перьями, с пухом; иной —
Налегке возвратится в долину из дальнего края,
Но чем легче ягдташ у мужчины, тем ссора с женой
Неизбежней. И только кровать их сведет, примиряя.
Эта жизнь столь проста, что по звуку ей близок простор,
Где на снежных дрожжах продолжает расти панорама,
Раздвигая — при помощи света и воздуха — взор...
Так пускай же пойдет на дрова деревянная рама!

* * *

В стекле венецийском увязшие вязы,
 Слегка замутненном... Как будто они
 Поставлены кронами в хрупкие вазы...
 Алмазы фальшивые, стразы, огни...
 Мерещится — тронь этот анабиозный
 Хрусталь, и со звоном раскидистый лед
 Начнет распадаться в крепчайшей морозной
 Тиши, что — как чашечка — треснет вот-вот.
 Все, чудится, ветви, чья суть непрозрачна
 Для глаза, но коричневато-черна,
 На мелкие части, осколки — хоть плачь, но
 Рассыпья-расколется, падая на.
 Среда леденцовая, царство иллюзий...
 Не станут прозрачными вещи... Но я
 Еще восхищенной душой удивлюсь ей —
 Поверхностной прелести, радость моя.

Зимний сад

Туман, затишье, снежная ограда
 Деревьев — как бы впавших в забытьё...
 И ночь, хрустя, идет сквозь хворост сада,
 В него влетая кружево свое.
 Взгляни наверх — и лягут на ресницы
 Салфетки снега: сколь они малы!
 У ангелов такие кружевницы,
 Что веточки дрожащие — стволы
 В их представленья... Пухом белорунным
 Должно быть небо, но такая тьма
 Под куполом — звезды теперь искру нам
 Не высечь там, откуда к нам зима
 Спускается... А ты — немой свидетель
 Ее паденья — тянешься туда,
 Угадывая в зарожденье петель,
 В мельканье спиц — всю крохотность труда.
 О, как же ты в сравненье с ним громоздок!
 Закрой лицо руками, точно сад
 Вчера, что — как Иаков — был объят
 Борьбою с Тем, Кто пристален, как воздух,
 Когда мы от Него отводим взгляд.



Нина ГОРЛАНОВА,
Вячеслав БУКУР

Тургенев — сын Ахматовой

ПОВЕСТЬ

«10 мая 1996.
Начинаю вести дневник. Меня зовут Таисия, я заканчиваю восьмой класс».

Тут она вспомнила, что не подписала тетрадь, взяла фломастеры и вывела зеленым:

«ЛИЧНЫЙ ДНЕВНИК ЛИЧНОСТИ ТАИСИИ»

Но буква «Д» показалась ей кривой, и она обвела ее красным. «Д» побурела, как сердитый осьминог. Таисия сделала вокруг нее оборочку желтого цвета.

— Японские макароны! — закричала Таисия. — Все слилось.

Кот Зевс прищурил глаза на всякий случай: вдруг он в чем-то виноват?

«Хочу написать о главном. Звонят в дверь...»

Это приехал из Чечни Димон, поклонник и одноклассник сестры Александры (всего у Таисии три сестры и один брат).

— А-а-лександра а-дома? — спросил Димон.

Таисия уже знала, что он контужен на войне, но не знала, что он заикается. Она наспех объяснила: Александра скоро придет из института. Димона усадила в кресло, а сама — снова к дневнику.

Димон сел и сразу начал падать в сон. Чтобы не заснуть, он спросил:

— Стихи пишешь?

— Да так... — универсально ответила Таисия.

— А я в первом классе написал одно стихотворение. — Димон уже успокоился и не заикался, хотя немного пропевал слова, плавно так.

— Прочтите, если помните, — с надеждой на его забывчивость попросила Таисия.

Димон звонко подал текст — у него даже голос изменился:

— Ручей. — Он выпрямился в кресле. —

Средь оврагов и скал,
Среди гор и камней
Одинок бежал
Разговорчивый ручей.
Встречались на дороге реки,
Встречались и моря.
И ручей думал про это:
Родина моя.

— Не хуже Пригова, — дипломатично похвалила начитанная Таисия.

— После контузии я вспомнил, что учусь в первом классе, и долго это у меня было...

Если бы Димон в первом классе знал, что через десять лет «среди гор и камней», на нелепой войне с чеченцами, горцами, он будет контужен, то ручей бы у него бежал не по пересеченной местности, а свернул бы вовремя в сторону и умчался бы без оглядки от этой Родины (через реки и моря).

Он понял, что вежливость заявлена, и тотчас сладко заснул, сопя равномерно, как по команде (вдох — выдох).

«Хотела написать о главном, но пришел Димон, и я напишу о нем, а потом уже о главном. У меня есть старшая сестра Александра. Ей двадцать лет. Она учится в педагогическом. Когда я хочу ее разозлить, то кричу:

— Александра Македонская, Александра Македонская!

Это ее бесит. Ей хочется быть маленькой и тощей, как я. Она говорит, что мне повезло, а за нею бегают только маленькие и коренастые шкафчики, как Димон».

— Сержант, ноги! Ноги, сержант! — закричал Димон, совершенно не заикаясь.

И проснулся от собственного крика. Рассказал, что в Грозном у его сержанта оторвало ноги и он помогал грузить... Димон уже в госпитале начал кричать каждую ночь: «Сержант, ноги!» Врач обрадовался: память быстро восстанавливается, значит!

Таисия с щемлением сердца слушала его. Она уже знала, что у сестры есть новые поклонники. Плохо, что Александра не ведет дневник, думала Таисия, я бы подглядела, кто самый добрый. Я бы ей сказала: «Выбери самого доброго!» А без дневника ничего нельзя сделать.

— Если б вы, Дима, вели дневник, то врач бы дал его вам почитать и можно было очень быстро все вспомнить!

— Если еще после контузии буквы вспомнишь, то прочитаешь, конечно, — с поддельной серьезностью, как говорят с детьми, сказал Димон.

Таисия, как всегда от сильных чувств, захотела есть. Она взяла из холодильника фарш и стала его жарить. Димон сказал, что печень у него не выносит запаха — в Чечне он дважды переболел желтухой. Там, среди общего воровства, бурно охватившего демократическую российскую армию, приходилось питаться чем попало: с доброй примесью вирусов гепатита. Как гепатита А, так и Б. На самом деле на месте сковородки раскаленной он каждый раз видел докрасна раскаленный остов бронетранспортера, а в нем шипящие тела ребят. А когда Таисия закрыла сковородку крышкой, то сходство вообще стало непереносимым.

Пока Таисия жарила мясо, кот Зевс, он же Зява, вспрыгнул на стол, где лежал дневник, и сильно помял его. Он стал с огромной силой чесать себе лапой за ушами, где у него горели раны от схваток с крысами. И листы в тетради пошли морщинами. Таисия села и хотела зареветь, но ведь он не со зла... Дневник был похож на помятое и умудренное тяжелой жизнью существо.

«Ну что, старик? Попало тебе от Зевса?! Ничего, держись! Я еще вырасту и вылечу многих, в том числе Димона. Надеюсь, что к тому времени война в Чечне закончится. Мама говорит, что перед выборами Президента власти прекратят бойню. Это хорошо, что власти зависят от выбора народа, а то папе уже давно не дают зарплату в школе. А перед выборами немного дадут, может.

Кстати, о деньгах. На днях у нас с Машей стало на одну подружку меньше! Вероника сказала, что бабушка Генриетта запретила ей дружить с нами, **потому что мы ходим во всем старом!!!** Мама ее ездит в Турцию за вещами. Они разбогатели. И отдали Веронике в особую школу с двумя языками: немецким и английским. Ослушаться Вероника не может. Доказательством тому будет история, которую я изложу на этих страницах. Два месяца назад Вероника болтала с Алешей Загроженко. А ее Мартик в это время шнырял по двору. Он искал друзей и подружек. Я несла кулек с мусором. Мартик думал, что в этом кульке есть что-то интересное. На мильтонской машине приехал папа Вероники — капитан. Он скомандовал: «Сейчас же домой!» А Вероника побежала за Мартиком и еще остановилась со мной поговорить: похвастаться, что ей сказал Загроженко. Он спросил, сколько стоит ее куртка, такая красивая, кожаная, турецкая. Вероника думала, что если для Загроженко куртка интересна, то и сама она тоже... И тут папа-капитан налетел на дочь, как будто задерживал преступника. И стал тащить и пинать. Мартик еще раньше убежал, а вопли Вероники доносились из подъезда: «Папочка, не буду больше, папочка, не надо, папочка, не пинай!» И пока они не вошли в квартиру на четвертом этаже, все было слышно, вот как она кричала сильно!.. А через месяц мама Изольда стала жаловаться на скамейке бабушкам, что Вероника руки из волос не достает, все чешется, но это не вши. И полную голову, как панцирь, коросты начесала. Пошли они к

врачу, когда уже расчесы перешли на щеку. Врач сказал: «Псориаз» — и спросил: были за последний месяц нагрузки на психику, на нервы? А Вероника так удивилась: не было! Я все это слушаю и говорю: «У тебя же был стресс! Как ты могла забыть? Папа-то тебя избил месяц назад». А Вероника посмотрела на меня с таким удивлением: и ведь не притворяется — забыла. А вечером я сказала Александре и Маше, что Вероника с ума сходит, Александра говорит: это нормальная реакция, называется **вытеснение**».

Димон в это время подходил к магазину «Детский мир». Он понимал, что жизнь не бывает снисходительной... Он решил: надо тянуться до уровня среднего нормального человека на гражданке. Если купить подарок Александре, то он будет, как все. Торопливо прошел по первому этажу мимо заводных машинок. Он на войне нагляделся на них, и до сих пор во сне танки, бронетранспортеры, самолеты и вертолеты наваливаются со всех сторон. На втором этаже магазина ему сразу стало хорошо среди уютных толп мягких игрушечных животных. Коровы из Голландии понравились ему, очень симпатичные: добрые глаза, улыбка даже есть, и не плотоядная. Но как бы эта корова не прошла намеком между ним и Александрой, которая тоже красивая и большая. Да и, конечно, корова ведь не умнее той травы, которую она ест!

Вот заяц — всем хорош зверек, шустрый, хитрый, его не подстрелишь сразу. Не очень храбрый, но теперь уже Димон знал, что храбрость — не первое качество, которое нужно на такой войне, из которой он выбрался... Но плохо, что они, эти зайцы, все косые.

Медведица белая с сыном. Медведеныш еще в клетчатом нагрудничке. Чтобы кашей не измазался. Вот они похожи на людей. И в то же время... обычно медведи мяса не едят, сильные, смышленные, не очень-то и злые, только когда доведешь! Во-вторых, медведица из золотистого материала, а у Александры точно такие волосы. Димон даже себе порадовался: вот ведь с каким смыслом подарок-то...

«11 мая 1996.

Александра сказала, что чувствует себя с Димоном, как бабушка с внучком. «Подарил мне медведицу, показывая, что я должна нянчиться! С ним...»

Моя сестра Маша ходит в психологический центр «Подросток»...»

Таисия посмотрела на Машу. Сестра сидела с перекошенным лицом и читала книгу «Путь к красоте». Видимо, стиль повествования был очень плавным, и она его с помощью лицевой работы пыталась сделать трудным, чтобы победить и усвоить. Только трудное она могла усвоить. Мысленно Маша преодолевала все препятствия и барьеры из масок и массажей, стоящие на пути к Красоте. Вид Маши был, как вихрь. Он зашел через глаза Таисии и все внутри вымел, сделал ее пустой от мыслей, так что хотелось лечь и поспать, чтобы мысли помаленьку опять выработались.

— Маш, вы о комплексах проходите в подростковом центре? — спросила Таисия. — С каждой войны с комплексами приходят.

Мама Таисии переносила на тарелку лицо Ахматовой: так водила кисточкой по дну тарелки, будто прибывает скорый поезд.

Продолжая накладывать ветвистые струи волос, мама сказала:

— С любой войны люди приходят изуродованными — и телом, и душой. Но сейчас... можно Димону намекнуть, чтобы сходил к психологу.

— Димону вообще ничего не светит. Александра познакомилась с милиционером... — Маша осеклась: «Вот я какая, опять чуть не проболталась, обещала ведь Александре молчать».

Но мама яростно вкручивалась кисточкой в тарелку. Просто как-то странно, в этот момент образ милиционера совместился с Ахматовой, она только начала удивляться, а он уже пролетел мимо.

«Ну, о главном писать пока не буду — кругом много народу. И Маша торопит на треньку. До вечера, старик!»

Таисия любила мечтать и рассуждать. А Маша всегда хотела побеждать только в борьбе. Напрасно Таисия старалась походить на Машу в жизни!.. Может, хоть в дневнике это выйдет? Нужно лишь побольше ставить восклицательных знаков.

«11 мая, вечер.

Так устала на тренинге, что не могу ничего написать о главном! Завтра напишу!!! Точно!!! А сейчас про то, как мы с Машей встретили Веронику, ее маму Изольду и бабушку Генриетту!

Кстати, у нас тоже есть бабушка и дедушка. Они живут в другом городе на улице Свердлова возле дворца имени Чкалова! А мы живем на ул. Чкалова возле дв. Свердлова. Никто не заметил этого совпадения!

Я Машу толкнула в бок: здороваться или нет с Вероникой, Изольдой и Генриеттой? И Маша сказала: «Надо». И мы первые поздоровались, а Вероника, Изольда и Генриетта не ответили. Они прошли с таким видом, будто мы хотим отобрать все, что они из Турции привезли».

Тут Таисия вспомнила, что надо становиться умнее — как мама с папой. И дописала:

«Это называется путанье цели и средств. Деньги — **средство**. И Турция — тоже. Но мама Вероники и ее бабушка перепутали все местами!!! Прямо зла не хватает, как всегда повторяет Маша. Но зла и не должно хватать, его пусть всегда будет мало!»

«12 мая 1996.

Я хотела написать о главном, но теперь это уже не главное. Алеша Загроженко мне нравится, это само собой. А теперь главное — про жилетку».

Таисия стала записывать, какой умный Загроженко! В перемену он гонялся за девочками с мелом: за Таисией, Ириной и Наташей. И, чтобы никто не догадался, он Наташке черкнул по рукаву один раз, Ирине попал вообще в волосы, а у Таисии всю жилетку сзади замелил. Мама, конечно, была недовольна, потому что ничего не понимает. «Сейчас же сними и замочи жилетку!» Как же ее снять, если жилетка доказывает ВСЕ! Так ясно это... А мама крик подняла: «Я кому сказала! Сними сейчас же — в грязи утонем». «Нас какая-то сила преодолимая влечет в грязь», — услужливо добавил папа, машинально перелистывая французский словарь.

Как же так — снять, думала Таисия, без жилетки как чувствовать, что он справа налево и сверху вниз тщательно все закрасил?..

Таисия решила по-горбачевски: должен быть консенсус. «Снять, но замочу потом, а сейчас тарелку распишу. Это и есть мой консенсус».

Хоть жилетка и лежала в углу, Таисия все равно ее чувствовала. И не нужно специально было о ней думать, она сама думалась...

Таисия взяла тарелку и стала писать портрет Пушкина. Недавно родители помогли ей написать сочинение по Пушкину. Почему родители ничего не понимают в жилетке, хотя все понимают в Пушкине?

В это время в жизнь вклинился брат Петр: Таисию прямо в пот бросило, когда он захохотал над своими шутками. Этим он походил на молодого Пушкина. Но тем, что опустошил холодильник, наоборот, не походил на Пушкина. Вместе с Петром сидел и хохотал его друг Виталья, громко рассказывая, как отлично идут дела:

— С директором мы уже вступили в завершающую стадию борьбы. Он фирму чуть не погубил. По всем признакам он в отчаянии. Не платит нам зарплату — его ответный удар.

Петр должен ехать в командировку в Екатеринбург — к генеральному директору. Чтобы окончательно свалить местного директора, Пете нужно сто тысяч на дорогу. Если семья сейчас ему их выделит, то в случае победы он их, конечно, вернет.

При словах «сто тысяч» мама уронила тарелку. Тарелка не разбилась. Но это ей подсказало, что можно сделать рисованные красивые трещины. Мама резко подобрела и дала сыну щедрой рукой две банки тушенки.

— А сто тысяч, сынок, ты у друзей займи!

И тут Виталья перестал обаятельно смеяться: ведь ближайший друг, у которого Петр будет занимать, — это же он, Виталья!

— А как идет дело с разменом квартиры? — как бы случайно спросила мама.

А папа посмотрел на нее говорящим взглядом: охота тебе слушать много вранья?

— Мы с бывшей женой сами разбираемся, все идет процессуально, времени абсолютно нет... отчет, вокзал, билет... дискеты...— И брат схлынул, шумя и пеньсь.

«13 мая 1996.

Сегодня увидела во дворе, что Алеша Загроженко играет с Мартиком Вероники, но потом пригляделась: это Мартик пристаёт и прыгает, а Алеша неохотно ему отвечает.

— А Тургенев, сын Ахматовой,— спросила я,— сколько языков выучил в лагере?

Папа подчеркнуто умно нахмурился, как делает, когда он хочет что-то отмотить:

— Ну, наверно, не меньше, чем Гете, сын Евтушенко...

Мама мчалась кисточкой по тарелке, выписывая Цветаеву, покрытую трещинами. Она воздела к потолку руки с тарелкой и кисточкой:

— И это моя дочь!

«Я просто спутала похожие фамилии, на самом деле я знаю, что у Ахматовой сын — Лев Гумилев. Папа тут же меня извинил и даже сделал умнее, чем я сама о себе думаю:

— Устами младенца глаголет истина. Тургеневский Базаров материалист, режет лягушек, рефлексы там изучает... И Лев Гумилев в Бога не верит.

Папа говорит всегда умно, потом вдруг резко — еще умнее, у меня аж дух захватывает. Все становится понятно. Но потом папа поднимается еще выше — на одну ступень. И я перестаю понимать. Вообще! Словно слышу не слова, а ультразвук! И мне хочется вырасти, чтобы подняться еще на один этаж ума. Чтоб все понимать. Вот вдруг папа сказал, что к материи нужно относиться, **как к козлу**. Почему? Я ничего не поняла.

«13 мая, вечер.

Оказывается, папа имел в виду, что к материи нужно относиться, как **ко злу**, а я думала — **как к козлу**!

— Ну ты точно: Тургенев — сын Ахматовой! — смеется надо мной Маша.

А мне не до смеха. Сегодня на треньке не было Алеши, а Наташа сказала: он будто бы не поедет с нами летом на сплав, а будет мыть машины на автозаправочной станции. Чтобы заработать на кодирование своей мамы от водки, от вина. И будто бы хочет купить сестре Лизе куртку у мамы Вероники — Изольды. Кстати, когда наша мама узнала, что Вероника не стала с нами дружить из-за того, что **мы ходит во всем старом**, сразу сказала:

— Господь этим спас вас от большей беды! Да-да. Может, потом бы Вероника отбила жениха вашего — с ее-то знанием языков, одеждой...

А папа добавил, что одежда — **напоминание о грехопадении**, не больше. В раю Адам и Ева ходили без одежды».

— Поэтому к материи нужно относиться, как ко злу? — спросила Таисия.

— Материю Бог создал, и в ней две стороны. Человек сам выбирает... Или он ценит одежду за то, что она от холода спасает, от микробов... Или хвастается, что богато одет.

У папы это была любимая мысль: все зависит от личного выбора человека, в тайне выбора все ответы на все вопросы. Таисия не хотела об этом даже думать, потому что вдруг завтра Алеша выберет другую девочку, и что тогда ей, Таисии, делать? Тайна выбора — это у-у-у тема, которая не по силам маленькой Таисии.

— Мама, а детям работать ведь можно? Машины мыть... я имею в виду мальчикам!

— Таисия, мальчикам это особенно вредно: у них дыхание глубже, чем у девочек, они быстрее отравляются. От этого, знаешь, даже дети могут родиться больными.

«Мама иногда бывает умная, а иногда нет. А иногда — вообще ничего не понимает, как с жилеткой! Сейчас я спрятала жилетку за тумбочку с телевизором, там электричество, мама не заглядывает. А ведь хочется, чтоб родители были умные кругом, как бывают круглые дураки!!!»

Димона что-то прямо тянуло в «Детский мир». Он снова быстрым шагом

прошел по первому этажу — мимо заводных танков и самолетов, при этом почему-то устал, словно сделал крюк длиною в один километр. Устал и усталыми глазами стал смотреть на мягкие игрушки. Красивых коров с добрыми глазами из Голландии уже не было. Вместо них появились бегемоты. Нет, ничем не лучше они коров. Вот маленькие трудолюбивые ослики, они Димону понравились, но ведь тоже намек не тот. И снова пошел он к полке с медведями. Видимо, коми-пермяцкий архетип бродил в его генах. Медведь — тотем, покровитель одного из крупнейших коми-пермяцких племен.

Он взял медведя в кепке: лихой и в то же время деловитый вид у зверя. Но слыхом американист — под ковбой. Димон заплтал и тотчас перочинным ножом срезал у игрушки маленький пистолет.

Мама Таисии была озабочена, что на ее тарелках получают какие-то идеи деревьев, а не они сами. Она села на скамейку, чтобы наглядеться до насыщения деревом. Дерево было березой. Она вытягивала из себя ветки, по тысячекратней привычке рассчитывая на то, что их будут обламывать на венки для баньки, поэтому старалась изо всех сил. Мама Таисии думала, что надо все эти слова отбросить, чтобы кисточкой показать это усердие дерева... Вот я уже много слов надумала, от них как-то нужно бы избавиться, думала мама Таисии, но тут мама Вероники села рядом, подсыпая пригоршнями пыльные слова:

— Мартик, душка, вечер чудный, гуляй, гуляй!

Через две дороги, возле парикмахерской, показалась Вероника. Издалека она выглядела почти красиво. Мама Таисии подумала: вот сейчас девочка приблизится и будет видна ее некрасивая короста на лице. Но Вероника приблизилась, а лицо ее все еще казалось красивым, ибо было неиссякаемо радостным. Гомер навязчиво указывал, что боги могли красотой покрывать человека сверху, как светящейся золотой аэрозолью. Видимо, у великого певца были комплексы, мечта, наверно, была — о красоте, которую давали боги своим любимцам. Вот так радость покрыла коросту на лице Вероники.

— ...заказала путевки... прелестная деревушка в Греции, — продолжала пылить словами Изольда.

Вероника бросилась тискать Мартика, как будто с младшим братом увиделась после долгой разлуки. Но мама брата Веронике так и не родила, и вот приходится тискать животное, а брат бы сказал: «Ты чего, дура, больно сжала?», но пес молчал, и усталость от тисканья переходила в опустошение.

— Пришлось весь город обойти, — с еще не погасшей радостью сказала Вероника. — Надо доплатить. Еще просят.

— Делать нечего, — с видом благородной матроны кивнула Изольда.

— Подешевле не получается, у них заказов много, оказывается...

— Ты просто поленилась торговаться, деньги-то не твои. — Изольда ворчала, но видно было, что она все-таки довольна. Тут же, повернувшись к матери Таисии, она сказала, чтоб не оставлять ее в недоумении: — Решила поддержать дочку, чтобы она постояла за себя. В новой школе ее дразнят «Сало», а какое она сало, просто крепкая. Завидуют. Я даже деньги из педагогических соображений ей дала, чтоб мафию нашла... Побить, поучить немощко — ума добавить обидчикам, чтобы вели себя по-джентльменски с девочками. Отец бы мог заступиться, но послали на месяц в Грозный.

Вдруг мама Таисии подумала, что нужно ответом и молчанием понравиться этим людям, а то они найдут мафию, чтобы побить, поучить лично ее. И сквозь нарастающую боль в левой руке мама Таисии думала: повезло очень этому наемщику, который назвал «Салом» Веронику, не умный, бедняга, но если б папа Вероники с ним разбирался, то... Мафия лучше, пожалуй! Левая рука превратилась в какой-то разрядник, посылающий огненные струи в сердце. А Изольда спросила:

— Что вы так побледнели? Может, вам валидолу дать?.. Дочка, сбегай домой, у бабушки на тумбочке сумочка...

— Нет, нет! — остановила их мама Таисии, стараясь говорить как можно мягче, добрее, стараясь их не рассердить. Ей было омерзительно видеть себя с такой неожиданной стороны — в виде испуганной курицы.

— Я понимаю, жизнь у вас тяжелая, столько нарожали. Но и у вас со временем все образуется. Можете со мной в Турцию поехать, будете, как мы.

Маме Таисии стало еще хуже. Левая рука начала с исключительной меткостью очередями поражать сердце. Мартик попросил, чтобы ему бросили камушки — он засиделся. Вероника и ее мать Изольда стали по очереди бросать всякие прутики под березу, и пес исправно бегал искать, загребая лапами, как лопастями, воздух.

Береза стояла, и в ней все было связано: ветки со стволом, который сам не понимал, где он переходил в корни, а корни строят неплохие отношения с землей, которая уживается со своей воздушной оболочкой, а атмосфера заигрывает с вакуумом, дающим место всем планетам, частицам и магнитным полям, — широкая душа!..

У мамы Таисии не было желания плавно перерастать в Веронику и Изольду, а также в бабушку Генриетту.

«14 мая 1996.

Очень много новостей! Во-первых, Веронику мама повезет летом в Грецию, чтобы полечить!!! Во-вторых, папу-капитана послали на войну в Чечню, а Вероника нашла мафию, чтобы проучить тех мальчиков, которые дразнят ее «Сало». Мой папа считает, что с этого все войны и начинаются, с вражды людей... Папа думает, что если он сам будет **долго говорить**, то все придет в порядок, за это время проблемы сами отомрут. Главное — говорить **долго**, не дать протиснуться между словами ничему! Неприятные события не должны протиснуться между словами папы. И они потихоньку сами отомрут, эти неприятности!!!

— А на том свете мы спросим, кто убил Листьева? — спросила у родителей Маша.

— Зачем? Мы и так будем все знать, — ответил папа.

Я решила написать тарелку с портретом Листьева: может, ее в магазине дорого продадут! Мне нужно накопить денег на резиновые сапоги на сплав — старые стали уже малы!»

Все развалины биографий похожи друг на друга, руины — они и есть руины, но все-таки души-то до превращения в руины были уникальны и порой на бесформенных обломках психики можно наткнуться на тончайший таинственный орнамент.

Общая руинность квартиры Загроженко проявлялась в том, что два года посреди комнаты лежали на двух стульях доски, на которых в свое время стоял гроб бабушки. С тех пор на этих досках обосновались стопки посуды, похожие на стопки опят-переростков на пнях, яркие пустые пакеты из-под супов, среди которых норовили затеряться такой же яркости и глянцеvitости обложки журнала «Родина» за 1994 год. Кто-то вынес их в свое время в подъезд.

Мы не знаем, как ведут себя в подробностях алкоголики других стран, а наши, русские, то есть российские, почему-то жадно тянутся к чтению — в оставшееся от напитков время.

Мама Алеши Загроженко ставила на окно журнал с видом на солнечную дорогу, такую плавную, что казалось: ступи на нее, и она приведет тебя к добру. В укромном же месте, за кроватью, стоял журнал «Родина» с фотографией горящего грузовика «ГАЗ-63». Когда в озере алкоголя, которое плескалось внутри матери, заводилась злоба, она свешивала голову в закуток и смотрела на пылающий грузовик. Если бы мама Алеши знала всякие умные слова, она бы сказала, что это такая у нее **медитация** — смотреть на горящий грузовик. С ее помощью она представляла, что отец Алеши, который некогда работал шофером, а нынче неизвестно где, сгорает внутри. Но она лично придет к нему на помощь, потушит огонь, и в благодарность он останется с ней навеки. Мама Алеши дула в одеревенелом опьянении на изображение огня под крупными буквами «РОДИНА».

Мать Алеши с наступлением теплых денечков усердно навещала одну компанию за другой и целую неделю отсутствовала. И вдруг ее потянуло домой. Она себе это объясняла несколько абсурдно: внезапно пробудившейся материнской любовью.

Дома она сразу поняла, что сын не зря спит в носках (там, в носках, — день-ги). Но Алеша начал вдруг кричать:

— Косинус альфа бу-бру-бу...

— Алеша, помоги! — закричала во сне Лиза.

«Навязалась, как этот... от которого я ее родила!.. Который ушел... только потому, что пенсия у меня по вредности... характера...»

Зов, который привел ее сюда, забылся. Новый зов вдруг повел ее в Балатово, к другу, у которого она не была два месяца. Не рассуждая, она ушла по пеленгу.

Стало совсем тихо. На солнечной тропинке, которая в ослепительных разрывах фотоэмульсии вилась между холмов, возникли две маленькие фигуры. Они быстро шли вдаль, в перспективу фотографии, затем поднялись к верхнему ее краю, перешагнули и дошли до слова «Родина». Алеша озабоченно посмотрел внутрь буквы О, махнул сестре рукой:

— Лизка, лезь первая!

И они скрылись в таком уж свете, что пора было открывать глаза и просыпаться.

Первая мысль была бодрая: осталось двадцать тысяч. Вчера пошиковали, погуляли, съели полкило колбасы, надо притормозить. Хорошо, что мать родила его, когда не пила. Правда, Алеша не помнил такого времени, но бабушка когда-то говорила... И отец, наверное, не понуждал сильно, уже за это можно дать ему жить дальше, если встретится... Вчера Алеша получил премию за победу на школьной математической олимпиаде — тридцать тысяч. Таисия его поздравила. Алеше в жизни никогда не доставалось ничего хорошего: ни еды, ни возможности с утра до вечера закапываться в математику. Он уже давно ходил разгружать хлеб в булочную... Он от этого не страдал: так вот жизнь складывается. Но когда он не видел Таисию день или два, ему казалось, что он не ел неделю. Сейчас свистну, Таисия выйдет, она мне поможет сэкономить деньги. В походе Таисия готовит медленно, с научным видом, но лучше всех.

«15 мая, вечер.

Загроженко дал мне буханку горячего хлеба! Он получил премию за олимпиаду да еще хлеб из булочной за разгрузку. Мне хочется сохранить этот хлеб, потому что жилетку от мела уже отстирали. Но буханка зачерствеет. Да и мама сказала: как хорошо — горячий хлеб, только почему он у тебя в тумбочке спрятан, рядом с учебниками?! И когда я ела этот хлеб, я поняла, что от Алеши что-то впитывается в меня. Я прямо это почувствовала внутри. Буханку съели за один вечер, мою любовь. Я не знаю, надо так или не надо, но получается, что любовь должна впитаться в людей, а сама по себе она пропадет никому не нужная.

Еще раз вечер 15 мая, но поздно!

Встала потихоньку, еще раз пишу. Никогда такого не бывало. Что-то все не сплю! Вспомнила, что Маша мне говорила, когда я ходила еще в садик:

«Если ты не заснешь, то все волшебники умрут!»

И так я начинала жалеть волшебников, что последняя дремота убегала. Или дрема?.. И этим я губила последних волшебников, наверно. Плачу, потом истохаюсь до нуля и в конце концов засыпаю. А утром Маша мне говорила: «Глубокий, здоровый сон воскрешает магов и волшебников».

А сейчас я не сплю, чтобы чудо буханки, которой уже нет, дольше было со мной. Потому что когда все это заспишь, уже не вернешь в себя. А спать хочется. Но еще посижу. Нет, пойду... Неужели я привыкну к таким воспоминаниям?! Душа такая тупая и быстро привыкает к хорошему, если оно повторяется, и считает ни во что... Достоевский опять задергался, эпилептик, не знаю, как мы будем его продавать. А Мурка спит, не просыпается даже, что ее сыночек в беде».

Алеша причесывался перед зеркалом и думал: «Не похож я на Влада Листьева!» Вчера вечером Таисия сказала, что сделала на тарелке портрет Листьева. Да, может, и хорошо, что не похож, как-то неохота на него походить — чтоб из жизни уходить. Когда Алеша отлип от своего отражения, он еще несколько секунд был доволен. Просто чистый Штирлиц, как говорила с похвалой бабушка. Как это мужья разрешают женам-артисткам целоваться в кино? Если Таисия будет артисткой, я никогда не разрешу! Я буду дублером во всех сценах...

Когда бабушка была не только жива, но и очень бодря, она устроила один

раз Лизе елку. Потом Лизка много дней еще спрашивала: «Вы купите мне праздник? Купите?!»

Сегодня куплю тебе небольшой праздник. Ну, допустим, двести граммов халвы... еще в пределах. Вот вынесу-ка я гробовые доски эти. Получается, что после этого надо мыть посуду, пол, сменить обои, красить пол. Окна тоже... Он знал, на что идет, но все-таки содрал тарелки, прикипевшие с помощью грязи. И вспомнил, как они в походах снимали с берез чагу. И снова стало хорошо. Вторая доска далась уже совсем легко. Лиза крикнула из сна: «Что стучишь?» Сделал несколько движений веником, показав себе, что уборка квартиры еще запланирована на продолжительное будущее.

Он оставил доски возле скамеек во дворе: мало ли кто может умереть, стариков в доме много, а старухи-то вообще кишат. Живучие, как тараканы, лезут все время, советы дают. А бабушка никогда не лезла, будто и не старуха вовсе была. Бабки с лавочек кричат: «Не кури — не вырастешь высоким!» «Зато в корень пойду», — один раз сказал он. Накинулись после так, будто хотели его бесплатно во внуки зачислить. «По телевизору всех детей испортили», — взъелись старушки, как бы снимая с себя вину.

Если бы он сказал им все шуточки, какие в школе слышит, то много досок бы пришлось для них таскать. Вот, например, одна из них: «Я так хочу тебя (пауза)... лягушками кормить!» А туристок не испугаешь лягушками...

Вечером в воскресенье папа пришел навеселе с работы. С тортом, из которого были выедены два кусочка. Сказал с обидой:

— Пытались мне вручить бутылку коньяка недопитого... Вот здесь-то их подсознание и вылезло, новых русских! За кого они меня приняли: за слугу, обслугу свою?

Мама Таисии встала на защиту новых русских: ничего они такого не имели в виду — просто люди экономные.

Папа достал из портфеля запечатанную бутылку травника «Мономах».

— Вот подарили. Почему они устроили мне день рождения?.. А, понимаю: весна, солнце посылает свои расслабляющие лучи, вся природа вокруг...

— И снова ты недоволен. Изо дня в день... из года в год.— Мама подавала ужин.

— Мама, а у других вообще мужья пьют.— Таисия хотела отвлечь маму от папы на других мужей.

Маша тоже туда же: она в классе почти всех победила, кроме одного; руками боролись, когда локти на столе. Она сделала паузу, чтобы все поняли, что сила в руках у нее от отца.

Но мать еще больше понурилась. И внезапно сказала чистосердечно:

— Вдруг я так позавидовала соседям внизу: железную дверь вставили.

— Мама, Достоевского на рынке продали, ты еще недовольна! Валерьянкой напоили, он и не дергался. А красавец! За пять тысяч купили английские студенты. Я им говорю: «Пять, пять, фюф таузенд», — а они на руке просили написать... Осталась одна девочка: Буткина. Каждый день буткалась с кровати на пол...

Вдруг мама повеселела: в жизни-то все идет к хорошему, оказывается! Хворого котенка купили, притом англичане, которые, наверное, гуманные и не выбросят его брезгливо. А Буткину купят в следующее воскресенье, она за это время еще поздоровеет.

Тут разыгралась на глазах семейства целая пьеса сложных отношений и переглядываний в прайде кошек. Буткина развязно цапнула сиамца Зевса в его изысканный бархатный нос, кот в ответ дал девочке-котенку по уху могоучей лапой. Мурка просто так оставит это не могла, подошла сзади и осторожно лапой тронула Зевса. Он обернулся — она ему в глаза посмотрела: «Понял? Не горячись. Ребенку надо на ком-то шлифовать мастерство охоты, скрадывания и душения».

Котята были так замусолены в маскульте и киче, что мама не видела возможности эту сцену перенести на тарелочку. А чувство бессилия она не любила, поэтому продолжала ворочать глазами в разные стороны. Вдруг на полу обглоданный меланхоличным Зевсом скелет ставриды. Вот в чем выход! Так, белый фарфор там, где скелет, оставлять? Или засинить все, а сверху белилами? Когда мама брала в руки тарелку и кисточку, все знали, что лучше не лезть.

«16 мая 1996.

Привет, старик! Что я тебе напишу!!! Наташка мне сказала, что Вероника всем рассказывает, какой она видела про меня сон. Будто бы в походе мы сидим у костра и едим. Вдруг у меня начал расти мешок кожи под подбородком, вырос, как у динозавра. Все на меня смотрят, и тут она проснулась... Она хочет, чтоб Алеша потом женился на ней. У него много сил, он сможет помогать вещи привозить из Турции. Но она понимает, что этого никогда не будет. И никакие деньги тут не помогут. Вероника прекрасно видела, что буханку хлеба Алеша подарил мне».

Загроженко звал ее в свое царство, но оно за большой железной дверью, не видно... Алеша повернулся, и ворота за ним захлопнулись и срослись. Вероника с надеждой постучала туда — ворота с треском разорвались сверху донизу, и Вероника провибрировала всем раздувшимся телом:

— Дай мне буханку хлеба, я тебе помогу выйти!

Страшные толчки сотрясали тело Таисии: тут она поняла, что это царство не то, куда надо было отпускать Загроженко...

Мама тихонько касалась ее плеча.

— Тася, проснись! Ты что так смеешься?

Смех был такой жутко-торжествующий, какого мама никогда в своей семье не слыхала.

— Спи дальше, только тихо.

Таисия немного покаталась по цветущему лугу на поезде — без рельсов, над лиловыми колокольчиками, а потом вспомнила, почему смеялась. Эта Вероника была такая королева в этом сне, сначала она поскользнулась и упала, потом ее начало раздувать. Так сатирически. Раз — на спине платье лопнуло, и вырос жировой горб. Таисия засмеялась. И от ее смеха, как от насоса, Веронику стало еще больше раздувать во все стороны, накачивать...

— Давай вместе посмеемся, она лопнет от злости, — сказала Таисия Алеше, который, оказывается, стоял здесь все время, а потом из него образовалось дерево, а за деревом открылось царство.

Наверное, и без этого сна Таисия взяла бы Кулика. Куликом она назвала щенка потому, что на Куликовом поле русские победили. А он должен победить своего самого страшного врага — смерть. Но сон как-то ее овиноватил, как будто обвинил в том, что желает лопнуть — заболеть — и кому, бывшей подруге, с которой гуляла. И они ходили и больше молчали, чем говорили, и говорил-то за них обеих Мартик, визжал и лаял разными голосами, добро озвучивая их молчание. Было так же хорошо, как уютно было, когда она не умела говорить до года, и **без слов** все ее понимали. Но родители заставили ее заговорить, обучили словам, хотя сколько слов ни говори, хоть тресни, а уж такого понимания и любви не выколдуешь!

Один раз на Мартика набросилась кошка, которую дура Лилька вынесла в коробке вместе с котятками подышать воздухом. Кошка вопреки всем законам летала над ним кругами, вырывая то там, то тут из него кусок шерсти. Первыми двумя самыми мощными взмахами когтей она разрубила его нежный нос, и Мартик тут же упал в позу покорности, задрал с мольбой четыре ноги. На языке собак это... Но кошка была в языках несильна. Она бы поняла, если б он внятно выразился — побегал бы, тогда она б его проводила ритуально до границы своей территории... Кошку Лилька наконец унесла, вместе с котятками...

Но сейчас у Мурки одна Буткина — надо ее срочно продать. Таисия не запечалилась над изувеченным Куликом: если б она завяла, ей бы ничего не удалось. А так уже Маша уехала на рынок с Буткиной, папа писал список необходимых лекарств, а мама отсчитывала большие деньги и только приговаривала плачущим голосом:

— Сначала Мурку больную лечили, потом Зевса с гниющей сломанной ногой подобрали, теперь вот Кулик без сознания...

Как только Таисия увидела Кулика, дрожащего без памяти на теплой крышке канализационного люка, а вокруг стояли дети из разряда «мелких»

(детсадовского возраста), тут же ее пронзила картина: Кулик уже выздоровел и подружился с Мартиком. Таисия же будет бегать, отзывать его и постепенно разговорится сначала с Мартиком, а через него и с Вероникой. Собака умеет выражать восторг хозяином, а ведь хочется, чтобы кто-то тобой восторгался...

Среди волосинок растерянно бродили блохи, словно понимали, что произошло что-то с их источником питания. «Мелкие» сказали, перебивая друг друга: был бомж, запинал его, и щенок заболел, и с тех пор лежит...

— За что Бог щенка наказал? — спросила Таисия у папы. — Он ведь ни в чем не виноват...

— Если палец болит — порезала, то нельзя спрашивать, за что Бог наказал этот палец. Бог тебя наказал... Или твои грехи тебя наказали...

Таисия вспомнила про сон с Вероникой, которая раздувалась, и больше не решилась спрашивать, хотя многое было все равно непонятно. Каждую секунду будущие видения счастливых прогулок с Куликом осеняли Таисию: и в главном они с Вероникой будут совсем неотличимы. **В главном!**

Кулику дали цинаризин, димедрол, антибиотики, витамины, залили все в его пятнистый изнутри рот. Таисия держала пасть, когда мама вливала лекарства, и видела черные пигментные пятна на нёбе. Хотя он был без сознания, челюсти его были сжаты так, что Таисия утомилась, раскрывая их навстречу лекарствам. После всех этих процедур щенок впал в тихое бесчувствие и только дышал.

— Дрожать перестал, — сказала Таисия. — Где «Молитвослов», я хочу почтить над ним... и блох выбирать.

— Кулик заснул, так ты пол хошь подзатри, — сказала мама.

Таисия моет пол, и у нее тряпка — это ледник, а ледник двигается, заполняя все щели, морозит все. Таисия выжала тряпку, начала затирать — весна наступает, потепление, всеобщее притом, весело стало в мире, ледник отступает с позором. Был север, теперь юг. Леднику пришел каюк. Тряпка только что несла заморозки, оцепенение, сейчас принесла жизнь, жаркий, сухой воздух. А Таисия словно из космоса смотрит на всю картину климата — незримый инопланетянин.

— Медленно моешь, — решила простимулировать ее мама. — Обед готов. Сейчас начнем.

Как это медленно? А ледник и не может, как мотоцикл, носиться. Или как ракета. Вдоль кромки тающего ледника шла кипучая жизнь. Она всюю разворачивалась. У носорогов и мамонтов шерсть блестящая, как вымытая шампунем. Кстати, Кулика надо потом вымыть шампунем «Дружок», от блох... Про кромку ледника Таисии рассказал папа, он вычитал из журнала, а в журнал написал журналист, который вычитал у ученого, а тот, в свою очередь, узнал от настоящего ученого. А откуда все узнал настоящий ученый — неужели из самой жизни мира?!

Таисия представила себе настоящего ученого, который роется в земле, находит всякие кости, тряпки, тарелки разбитые, когда-то расписанные неизвестной девочкой, измученной перед этим мытьем пещеры. И вдруг Таисия представила, что девочка не расписала каменную тарелку, ее выгнали из племени, она медленно шла-шла, и ее съел пещерный лев.

— Ты чего слезы льешь? — заглянула ниоткуда мама. — Пол-то домывай!

А Кулик в это время снова завыл.

— Впереди ночь, — сказал папа.

Таисия впервые его почувствовала, как прохожего, хорошего, но прохожего, доброго, но все-таки прохожего мимо.

— Надо же: песик без сознания, а как мочиться, так встает с подстилки и уходит в сторону, — удивилась мама, чтобы успокоить дочь: вид у Кулика был неживой.

Мама взяла тарелку, посмотрела на нее и отложила. Когда вой Кулика пульсировал в квартире, можно было только дышать, больше ничего. Мама включила телевизор, но от этого стало еще хуже, потому что собачий вой как бы становился частью любой передачи. Маша Распутина плясала, и пляска принимала обреченный характер, в Чечне взрывали и бородатые командиры советовались, как достичь успеха, а вой Кулика делал эту войну еще безвыходнее...

Александра ушла к подружке ночевать. Папа не мог читать, потому что из

каждой буквы торчал волосок воя. Если его в цвете выразить, этот волосок, то он покажется фиолетового оттенка — кожи удавленного.

Папа твердил про себя, как мантру: Таисия мала, она не понимает, что он **должен** готовиться к занятиям... новые способы для новых русских выдумывать! Тексты самому сочинить, свежую голову где-то взять завтра. И он твердил это про себя, каждый раз повышая тон мыслей.

Снизу торжественно пришли соседи, как делегация ближайшего нейтрального государства.

— На кухне у нас такой резонанс — все слышно!

— Взяли большого щеночка,— объяснила Таисия.— Мы его обязательно вылечим, он не будет кричать.

— Ну, ладно, ночью мы на кухне не бываем, а завтра ему уже, наверное, будет легче,— сказали они, а несказанное у них в глазах означало: если не будет легче, то как-нибудь нужно этого кабысдоха устранить.

— Мама, постелите мне на полу в кухне,— попросила Таисия.— Когда он вместе со мной, ему легче, и он не будет кричать.

Кулик в это время встал с подстилки, кругами побродил по кухне, помочился в угу. Потом острое чувство выживания помогло ему найти холодную батарею: в нее он уткнулся распухшей от побоев головой и от холодного чугуна с облегчением затих.

Мама Таисии сказала: холод псу нужен, он к батарее вон головой прижался, а ты будешь его греть, усилится воспаление...

Всю ночь Таисия вставала с большой точностью — почти через час. Она давала Кулику лекарства, но уже ничто не помогало, он был практически без перерыва, а утром зашелся так, что мама первым делом схватила сигарету, чего никогда не делала с утра, а папа лежал смиренно, не двигаясь, отчаянно твердя какие-то успокаивающие мысли.

Таисия принесла «Молитвослов» и начала вслух молиться за выздоровление раба Божьего Кулика. Ей было жаль родителей, но щенка во много раз больше.

— Пойду к Люде, у нее дочка в реанимации,— сказала мама Таисии, чтобы ее успокоить.— Что-нибудь да посоветуют хорошее.

— Я могу тут же совет дать. Зачем бегать по городу? — сказал папа.— К ветеринару нужно, а лечить животных нынче дороже, чем людей. Если мне в начале июня заплатят, так это самое раннее. Новые русские, они вовремя деньги выкладывают, но раньше-то где взять... Их же история о бедной собачке не очень тронет.

Мама не дослушала мужа и сорвалась бежать. Вскоре она пришла с какой-то молодой широкоплечей девушкой, которая своими длинными пальцами — каждый из них словно имел свой разум и волю — пробежала по грязному туловищу щенка, подцепила живот и попыталась поставить Кулика на ноги, но его лапы разъезжались в разные стороны.

— Наверно, сегодня он умрет, а если нет, то не надо мучить. К вечеру увезите его на укол.

Таисия сразу поняла, какой укол та подразумевала.

— Тарелочку выбирайте,— противным голосом сказала гостье мама Таисии.— За беспокойство.

Вкус у врача был отличный: она сразу увидела самую лучшую тарелку. Ее похвалили и одобрили все на семейном худсовете, а этого почти никогда не бывало. Месяц там просачивается сквозь листья березы, которые словно перебирают пальцами, играя музыке ветра.

Таисия подумала: наверно, все будет хорошо! Тарелка — это большая жертва, мама ее три дня рисовала! Не может быть, чтоб впустую все это...

К вечеру Кулик замолчал. Мама Таисии сказала: умирает.

— Значит, не нужно везти его на укол,— сказала Таисия.

— Но соседи не вынесут... Если снова завоет...

— Мама, ты же видишь, что он больше не завоет. Успокоился...

Но ночью Кулик, набравшись каких-то крошек сил, стал жаловаться на свои боли менее громко, но более внятно. Пронзительно. Соседи, конечно, не слышали этого, но в квартире Таисии стало понятно, что щенок подводит черту под прошедшей жизнью.

Таисия не знала, что кулик — это название болотной птички, свободно порхающей во все стороны, а то бы не назвала щенка так, и счастье бы не улетело от нее.

Утром следующего дня мама наглоталась всяких таблеток и ничего не ображала, а папа ушел на работу, от последних денег отделив Таисии плату за последний укол Кулику.

...Врач сказал, что за неделю-две капельницами можно пса поставить на ноги и это стоит не больше миллиона. Таисия знала, что на миллион мама сможет прокормить семью два месяца. Но нигде нет миллиона для Кулика!.. И с отсутствующим сердцем Таисия сказала:

— Ставьте укол! — И добавила: — Как мама велела...

Когда Таисия с телом щенка вернулась домой, то сердце уже вернулось на место и жгло еще сильнее, но ей хотелось, чтобы жгло не у нее одной.

— Больше всего меня удивило, что врач тарелку взяла и сказала: Кулик умрет. А тот, который укол ставил, сказал, что вылечить можно...

Когда мама забегала и закурила, Таисии стало легче, и она стала заворачивать Кулика в тряпку, чтобы схоронить.

Вот уже вечер, и Кулик мертвый на руках... Теплотрасса за домом начала сиять в темноте своей дюралевой теплозащитной оболочкой. Земля была еще рыхлая, Таисия палкой ударяла, а доской убирала в сторону почву. Видимо, это длилось долго, потому что мама в открытую форточку кричала: «Таисия, ужинать, Таисия!» Она молчала, потому что знала: мама ее видит. А зачем говорить, что тут скажешь?

Когда она подняла глаза от могильного холмика, то увидела между домами еще одно сияющее вздутие холма, будто видение. И без всякого предупреждения горе ее сменилось восторгом. Сначала Таисия думала, что это будет купол нового храма, потом вдруг подумалось: это же инопланетный аппарат из звонкого металла. Захотелось побежать к нему и потопать по нему ногами, чтобы слышно было, как звенит. Но пока она на него смотрела, он раздувался все больше и больше. Теплотрасса заблестела сонным блеском. И вдруг все сразу усохло. Дома вокруг ужались, пригнулись и стали маленькими. А пузырь раскаленный прыгнул в беспмятную даль и не разочаровал Таисию, что он всего лишь луна!

«20 мая 1996.

Вчера луна родилась из середины пейзажа. Я пришла домой и расписала тарелку с луной. Ее поместила в середину, а все домики — по краю. Мама сказала: «Это новый стиль, дымчато-лунно-жемчужный с намеками на черты лица, мудрого». Мама много знает слов, но здесь их не хватает. И ей приходится все слова, какие она знает, грудями сгребать и покрывать ими место новых знаний!!! Вообще-то этому стилю миллион лет».

Таисия ни в дневнике не писала о Кулике, ни Алеше Загроженко о нем не говорила, потому что у Алеши сестра вскрикивает, а то и воет от своих многочисленных болезней по ночам... Теперь, когда Таисия почувствовала, каково Алеше от мучений Лизки, она взяла ручку и зачеркнула три знака восклицания (после слова «знаний»).

— Где у нас Библия? — спросила она у родителей.

— Завтра найдем, спи давай! — Мама все еще не могла снять головную боль и горстями глотала таблетки.

— Маша, может, ты знаешь, где у нас Библия? — не отставала Таисия.

— Сказали: завтра! — закричал папа.— Тебе говорят, а ты как не слышишь...

Конечно, не слышит, думала мама: изнутри своей пустыни он кричит в ее пустыню — не доходит... Или от таблеток в голове такие просторы?

Мама хотела расписать тарелку и забыть Кулика, она взяла портрет Набокова, но угловатые концы портрета не помещались в голове, и она не знала, как их втиснуть в тарелку. Раньше получалось как-то, а сегодня — нет...

Александра пришла из библиотеки (она готовила экзамен по психологии) и схватила том Стругацких — ей хотелось отдохнуть от копаний в человеческом мозге: тут центр речи, а там другой центр... Зря пошла на дошфак, думала она, надо было на филологический, эх! То ли дело Стругацкие. А Таисия в это время писала:

«Вот дождалась: взрослые уснули. Могу написать свои мысли. И когда только взрослые успевают о жизни-то думать? Ведь если о ней не думать, то она как бы останется неизвестно где, а если думать, то жизнь останется внутри тебя. Клянусь, жизнь, я буду думать о тебе! Чтобы ты не проходила...»

— Все, ложись, включай лампу! — Таисия выключила общий свет.

Они с Александрой спали в одной комнате. А раньше здесь еще спали старшая сестра и брат, но они уже ушли в самостоятельные приключения под общим названием «жизнь»...

Александра читала Стругацких. Сильно пишут! Даже кажется, что в комнате появились фантомы и кто-то уже стоит на стуле. Фантастика просто!.. Александра подняла глаза: это Таисия стоит на стуле... Стругацкие не сильней жизни.

— Таисия! Ты зачем встала?

— Как зачем?! Как зачем?! — возмутилась в ответ Таисия.

— Слушай, ты, Тургенев — сын Ахматовой, ты чего?

— Как чего?! Как чего?! — возмущалась Таисия.

— Центры торможения того?.. Ложись немедленно!

Таисия послушно легла.

Александра углубилась в «Жука в муравейнике», и в это время со стороны телевизора раздались стуки. Один, второй, третий... Александра боялась поднять глаза: на телевизоре не могло быть Таисии! Мурка с Зевсом мирно спят на стульях. Все-таки Стругацкие сильно повлияли на действительность... Когда их читаешь, странное вокруг творится! Александра услышала еще один стук и все-таки подняла глаза. Это попадали пластилиновые подделки, стоявшие на телевизоре. Стало холодно, они отлипли. Мороз, как всегда, на цветущую черемуху, подумала Александра.

Маша и Таисия были наркоманами родительского внимания. Они привыкли всю жизнь получать все более концентрированные дозы этого вещества.

Когда папа пристроился помечтать с бутылкой «Балтики», воображая себя добропорядочным бургером, который с каждым глотком пива вырабатывает гегельнствующие мысли, Маша выпускала стенгазету о русском языке. Она тоже мечтала, но — о выигрыше в триста тысяч рублей, обещанных директором победителю.

— Папа, ну у нас же конкурс, вынырни из своего пива.— Она ножницами кромсала взад-вперед ватман (получались удивительные пенистые волны).— Мне нужно название оригинальное — о русском языке.

— **Виликий и магучий**,— с ходу сказал папа.— Как вы не понимаете, что если я отвлекаюсь, то так трудно снова заныривать мыслями в возрождающее пиво?

Маша пустилась в гонку рассуждений: «**Виликий**» — хорошо, «и» зачеркнем, наверху напишем «е», в «**магучем**» зачеркнем «а»...

Папа непросветленно сопел, вытирая с усов пену.

— Усы! — чуть не потеряла сознание от озарения Маша.— А мама сказала, что у тебя нет усов... На днях говорили мы об усах... Мама сказала, что она очень любит мужские усы. И с сожалением и с горечью: «А почему-то он уже их не носит. Наверно, молодится, как пошел к новым русским бизнесменкам преподавать...» А ты был на работе! А мы: «Папа же с усамы». Но мама натянула все морщины на лоб: «Но я-то лучше знаю!»

Папе показалось, что пиво вдруг стремительно сквасилось и превратилось в жидкое удобрение. Потому что Машу сменила Таисия:

— Где-то должна здесь Библия быть. А зачем Каин жертвоприношение делал? Богу ведь это не нужно...

Тут Александра вернулась с консультации и начала стоя звучно есть свекольный салат. Небо у нее было, как купол небесный, с резонансом. Маша вырвала у сестры ложку и тоже принялась есть.

— Чего ты — ложку верни! Иди сходи! Моя ложка!

— Сама сходи — я газету делаю!

— Ну и делай! Сделаешь и поешь!

Драка разгоралась, хотя обе старались, чтобы не исчезал оттенок какой-то семейной шутки — при всей серьезности тумачков. Свекольный салат летел ве-

ером, и красные пятна дополняли картину боя, усеяв стенгазету, папину футболку и тюлевую штору.

Последняя тень шутки исчезла, когда папа вскочил и заорал, забрызгал недопроглоченным пивом:

— Мне хочется вас на куски разорвать!

Немедленно дочери начали страдать. Они прострадали две секунды, но для них это время гораздо длиннее затянулось, чем если бы три года радости.

Мама вылетела из другой комнаты, как аварийный отряд реагирования.

— Лежек-то много! — кричала она таким же голосом, как и дочери: пронзительно. — А вы... никто не уступит! Пиво тебе попало неудачное, так ты на дочерях это срываешь?!

Всем известно, что в споре не бывает полноценных аргументов, но, раз ступив на ухабистую дорогу ссоры, каждый думал, что авось она его-то уж выведет к победе. Это все равно что заяц, который попал в свет фар, уже не убежит с дороги и будет прыгать-скакать, пока не упадет замертво.

Мама начала бегать, курить и искать лекарства, но она уже их съела за те ночи, пока выл Кулик, — в общем, она забуксовала в своих страданиях. А папа не помогал ей выскочить из разъезженной грязной колеи страдания. Закаменел и в то же время раздулся, символизируя незаслуженную обиду. Тут-то и выяснилось, что Александре сегодня дали стипендию, и мама немного поторжествовала, что она давно угадала подлость своих дочерей (когда Александра дала Маше деньги на новую бутылку пива для отца).

— Да что ты, ей нужна косметика, всякая гигиена, обедать в институте, — стал защищать Александра папа (ему было неудобно долго быть символом незаслуженной обиды, хотя и почетно, конечно).

Маша вернулась с двумя бутылками «Туборга». Папа хотел извиниться, но мама его опередила:

— Извиняйся немедленно — родных дочерей разорвать на куски захотел! Сатурн, пожирающий своих детей!

Получалось: если он сейчас извинится, то поддастся грубому и безжалостному давлению, как будто бы он не свободный человек, который может выбирать линию поведения. И он попытался всем телом снова изобразить какой-то символ.

— Раз в жизни сказал! — повторял он шепотом.

— Если б папа этого не сказал, — просветленно сказала Александра, — он бы, может, с ума сошел, поджег бы что-нибудь.

Таисия думала: папа же всем видом извиняется — что еще надо!

Ну, мама еще немного поприставала: извинись немедленно, извинись немедленно. И устала. Легла и задремала. Но потом вдруг подумала: надо просветить до конца ситуацию... Не открывая глаз, она сказала:

— Как хорошо Саша выразилась... что папе нужна была отдушина.

Папа начал неумеренно расхваливать пиво:

— Какое хорошее пиво вы, девочки, купили, вкусное! — Нашел способ извиниться таким образом.

А мама подумала: все-таки лучше ясность в любой ситуации. Лучше бы он сказал: «Извините меня, пожалуйста, девочки!» И тут она заснула, слава Богу.

Она еще слышала, как за стеной шепотом задушенно хихикали дочери, как громко звучала где-то вода, в которую бросали запачканную свекольным салатом футболку, штору, Машин халат и блузку...

За стеной Таисия рассказывала папе очередной сон Вероники, который ей, Таисии, передали сложным, окружным путем, поскольку добровольных парламентаров кругом очень много, хоть пруд пруди. Сон сначала приснился Веронике, но тут ведь не проверишь, был ли он. А потом, художественно изменяясь, он пришел к Таисии через Наташку, Иру и Лизу. И все с удовольствием работали в этой цепочке, утверждая необходимость благородной бесполезности. У взрослых это вылилось в чеканную форму: «Я могу обойтись без необходимого, но не могу без лишнего».

— Как будто бы у меня, в ее сне, сделался... ковшеобразный подбородок и по краям еще бородавки... вдруг от себя, не потому что он еще был злой, а просто картина казалась более внушительной и завершенной, если эти бородавки расположены регулярно.

И папа от всего этого эстетства радостно засмеялся.

Александра вдруг сказала, что надо позвать Загроженко и испытать на нем новый тест, который дали на консультации: преподаватель велел взять мальчика-подростка десяти — четырнадцати лет.

— А я вам что, не мальчик? — удивился папа. — Давай, я буду тестируемый, а ты тестирующая. — Он поднял стакан с янтарным «Туборгом».

— Загроженко уже около четырнадцати, а тебе, папа, никак не меньше пятнадцати!

Александра начала собирать какую-то еду на стол, объясняя, что дети не могут отвлекаться от импульсов, идущих от внутренних органов.

— Поэтому сначала Алексея накормим. И исключим посторонние влияния...

Таисия схватила веник и принялась мести пол. «Тургенев — сын Ахматовой» подняла пыль», — возмутилась Александра. Чего это с сестрой? Ее просили сбежать за Лешей, а она пол метет. Таисия остановилась, плачевно оттопырив губу: если пыль еще стирать сейчас, то от спешки что-нибудь уронится, и этому конца не видно! Она срочно стала брызгать во все стороны водой и забрызгала стенгазету Маши. «Да, Тургенев — сын Ахматовой», — подумала Маша, но промолчала...

В этот же день Вероника, одетая в платье, как из каталога, читала:

Мы в детстве были много откровенней:
— Что у тебя на завтрак? — Ничего.
— А у меня хлеб с маслом и вареньем —
Возьми немного хлеба моего.

Прошли года, и мы другими стали.
И уж никто не спросит никого:
— Что у тебя на сердце, уж не тьма ли?
Возьми немного света моего...*

Пока она читала, ее мало кто слушал, но все сидели тихо, потому что понимали: в частной школе надо вести себя по-светски, у них сейчас тут почти дворянское собрание. Только изредка жужжал у кого-то в кармане пейджер.

Прочтя выбранное стихотворение, Вероника почувствовала, что она похожа на человека, спрятанного в этих строчках. Силы в ней появились, такие свежие, чистые. Теперь, когда Вероника ходит в частную школу, у них тут такие интеллектуальные вечера! А Таисия медленно утопает в своем бытовом болоте, бедности. «Возьми немного хлеба моего». Вдруг настроение стало гадким: хлеб — это ведь Загроженко, который дал буханку Таисии. Конечно, раздавала бы я это добро горстями. Но надо ведь его сначала накопить. А для этого — выучиться! Процедура чтения стихотворения дала Веронике не только силы, но и воображение. Не только воображение, но и интуицию. Сам собою придумался интересный сон, который мог бы зацепить слабые места Таисии.

— Будто идет Таисия с косточкой в руке, а мой Мартик к ней подбегает, он, как всегда, думает, что она с угощением к нему пришла. И говорит человеческим голосом: «Дай погрыфть кофточку...»

Это Вероника рассказывает сейчас Наташке, чтобы та передала Ире, а Ира вручила бы сообщение Лизке. Через Лизку дойдет до Таисии.

— А Таисия говорит: «У меня самой есть нечего». Один конец кости откусила и дала Мартику, а другой сама как начала грызть, клыки растут. И кость тоже растет. Хруст такой стоит. Мартик прибежал ко мне, жметесь...

Вероника осязательно чувствовала, что у нее длинные руки и она через Иру, Наташку и Лизку достает Таисию своим сном. Она заранее прикинула, как может измениться сон, пройдя через всю эту цепь. И снова почувствовала удовлетворение, как от чтения стихотворения Решетова.

Тася пригласила Алешу Загроженко с Лизой на тестирование. А Александра их накормила гречневой кашей, чтобы не мешали импульсы от пустых внутренних органов.

* Стихотворение Алексея Решетова.

— Ну ладно,— сказала Александра, когда все поели.— За работу...

Она попросила Алешу нарисовать вымышленное животное и подробно объяснить, где оно живет, чем питается, какие у него враги. А Лизе дала тест «Моя семья».

Леша изобразил какого-то Тяни-толкая, одна голова которого мирно щипала траву, а другая окрысилась, зорко глядя с длинной жирафьей шеи. Ног много, они мощные и покрыты чешуей. Рядом двухголовый детеныш. Пасется.

А Лиза нарисовала в центре две доски. Александре на лекции не говорили о таких символах. Алексей объяснил, что это доски из-под бабушкиного гроба. И тут же добавил:

— Были доски, я их выбросил!

Себя с братом Лиза поместила по одну сторону досок, а маму — очень съезженную, ниже табуретки — по другую сторону.

— Бабушка хотя бы ругала маму: чего ты лежишь, пупом в небо смотришь? А теперь...— сказала Лиза и увеличила на рисунке одну ногу матери.— Вот теперь у нее нога и болит!

— А! Мама скоро деньги получит за свои тарелки! И мы устроим мой день рождения,— перевела на веселое Таисия.

— Я вам устрою, по сценарию,— пообещала довольная Александра, ведь теперь у нее все есть для сдачи экзамена по психологии.

На самом деле душа у человека большая — всегда есть, чем утешиться! Если нет денег, есть любовь, друзья, красота, доброта, ум, талант или юмор. Родственники есть. Мечты. И все помогает выжить. Да еще любовь к Богу и Его любовь к нам. Так думал папа Таисии. Он думал, как обычно, вслух. Еще есть красота природы — она радует...

— Или есть песик, верный товарищ,— добавила Таисия.

— Или книги,— подсказала Маша.— Я вот начала читать «Мастера и Маргариту», и знаете что: на первых двух страницах ни разу не повторяются слова, да! Ни разу! Чтобы одно слово два раза — нет такого!

Такой странный подход к чтению сильно поразил папу, но пиво — как всегда — гладило острогу восприятия, и он не стал пускать умные едкости по семейным каналам. Только и сказал:

— Спокойной ночары.— И задал ежевечерний дежурный вопрос: — Что передать в страну снов?

На этот раз Таисия сказала:

— Передай, чтоб страна снов не отделялась от СНГ, а то визу долго придется оформлять...

Загроженко и Лиза засобирались домой. «У них свои порядки, но... недельные все они, по-моему,— думал Алеша.— Если никто в семье не пьет, то деньги должны появляться сами собой... Что люди в свободное время-то делают — деньги зарабатывают. Я Таисию потихоньку перевоспитаю».

Алеша в субботу взялся за полцены мыть машины. Время было грязное — май, и водители охотно останавливались у забора с надписью: «Мойка машин». Мыли подростки машины с улыбкой, которая была частью униформы. Еще не читан Карнеги, и вообще ничего еще почти не читано, кроме «Букваря» и пары учебников, но уже подростки схватили мысль: кроме хорошей работы, должен быть гарнир к ней в виде микропъесы общения.

Алеша в булочной часто разгружал хлеб, но там запах от буханок поднимался сухой, теплый и живой. А мыть машины надо в болотине, которая, конечно, текла к люку, но медленно. Выбросы из глушителя, замерзшие руки — и все это за полцены. Злость вспыхнула, которая здесь не к месту, Алеша ее прогнал, но она снова возвращалась.

Подъехал джип «Чероки», красивый весь, никелированный, как раз для детей сорока — пятидесяти лет от роду. Вышел водитель, поправил сползшее на бок брюхо и сказал:

— Пацаны, за пять кусков вымоете?

Всего за пять? Ребята молчали. Но у Алексея костер внутри запылал еще сильнее.

— Может, за эти деньги ему еще и жопу помыть? — сказал он внешне спокойно, с каким-то удивлением полуинтеллигента.

Новорус с самого начала знал, что зарвался,— просто привык надуть на каждом шагу. Если б он не жил лил, то и не разбогател бы быстро. Но, хотя он был жила, долго терпеть не мог, чтоб последнее слово не за ним.

— Ну ладно, птицей налетайте, десять кладу.— Не видя поползновений к сервису, добавил: — И еще пять сверху!

Тут они поняли, что нельзя стоять, и схватились за губки и ведра. Еще они поняли, что Алеша — крученный пацан, он знает, где можно нахамить клиенту и не проиграть. А они не знают. А сам он вдруг подумал: «Здесь можно шишку держать — денег больше будет».

В это время на стадионе чадила очередная скоротечная звезда эстрады, подерживая кандидатуру Ельцина. Ветер доносил волнами бодрящий рев зрителей. А очередная машина неслась на подростков, как таран. Сначала ребята подумали, что водитель ненормальный и хочет всех скосить под корень. А он просто любил мастерски притормозить, с шиком, чтобы по маскам испуга, возникающим на лицах, понять важность своего существования. Зато он хорошо заплатил, не торгуясь и молча.

Алеша вытянул руку с губкой, призывая очередного клиента, и закричал: — Голосуй или проиграешь!

И его кругость еще больше закрепились в глазах компании.

Бабушка, которую они называли «проходной» (она каждый день мимо них ходила на рынок), продала им, как обычно, литровую банку картофельного пюре и шесть котлет — по две на каждого. Все было горячее. Алексея поразило, что Виктор быстро свернул из конфетной обертки жесткий длинный треугольник и стал пользоваться им как зубочисткой. Все у них пригнано без промежутков — Загроженко выставил им мысленно хороший балл. Деловые! С ними я смогу подняться.

Варя шла как миссионерка религии под названием «Я». Она всем насыла-лась, а люди отвергали ее миссию, думая, что она смутится. Наивность своих знакомых Варя прощала и приходила потом к ним еще много раз. Варе было уже под сорок, но на вид она была без возраста... У нее бывали периоды колебаний веры в себя, и тогда она казалась старше. Но на подъеме Варя лучилась юностью.

— Я пришла вас предупредить вот о чем: один ваш знакомый о вас плохо говорит... что вы даже кошек не кормите! Но все остальное я скажу, если поклянетесь молчать.

Папа Таисии только уселся поесть хлеба с мороженым салом и нарезал сало на крохотные дольки, стараясь их съесть еще до того, как они потеряют алмазную твердость.

— Сала хочешь? — спросил-предложил он.

— Если сама отрежу.— Варя взяла нож и отхватила кусок сала, а потом угостила себя еще куском хлеба.— Так вы клянетесь молчать?

А Таисия со страхом на отца смотрела и думала: неужели он сейчас поклянется на всю жизнь и услышит такую грязь, что потом будет всю жизнь?..

— Не буду я клясться!

— Неужели вы не хотите знать, кто ваш враг?

— Не хочу.

— А он, между прочим, распространяет о вас одиозные сведения. И может сделать что-то плохое. Я его знаю — он в силах!

— Ну, ты, Варя, наверное, уже отдохнула, поела — теперь давай расста-немся.

— Надо же! Первый раз вижу человека, который не захотел слышать, что о нем плохо кто-то говорит...

Таисия подумала: если папа первый отказался, значит, тетя Варя уже ко многим ходила. Хорошо, что мамы нет дома — с ее неустойчивым здоровьем. От тети Вари впечатление, как от сковородки, плоской и твердой: сама она непришибаема, а кого хочешь может пришибить своей информацией.

Варя ушла, неся в себе чувство абсурдности происшедшего и обиды на то, что мир не так логичен, как на него надеешься. На лестнице она встретила радующуюся маму Таисии (она получила много денег за свою стопку тарелок).

— Дорогая,— сказала ей Варя вразумляющим тоном,— в нашем возрасте

пора уже влюбляться в молоденьких мальчиков. Посмотри, на кого стал похож твой муж.

— Вот и влюбляйся — подай пример, будешь кому-то нужна, — с безжалостной радостью отвечала мама Таисии.

— Ты же знаешь, что у меня одна гордость — я девственница.

Представляю, что она навообразила себе за сорок лет, подумала мама Таисии. Варя на одном уровне с певичкой несчастной, которая агитирует ляжками голосовать за любимого кандидата в президенты. Спеть хорошие песни трудно, а показать голую ногу легко, ничего не стоит. И Варя, и мама Таисии не имели права друг друга осуждать, но осуждали.

— Сделаем два торта и два салата! — возликовала Таисия, когда мама достала деньги.

— Один торт и один салат! — отвечала мама.

— Один торт — это уже не день рождения, а...

— Но денег не хватит на два!

Папа Таисии думал: да сколько ж надо работать, чтобы денег хватало! Зачем говорить о том, чего не изменишь?

— Бродскому тоже, наверное, ни на что не хватило Нобелевской премии.

— Ну вот что за человек, не знает, а говорит всегда. — Мама Таисии только светилась изнутри, а теперь начала мерцать и чадить, пока совсем все внутри не потухло и остался один дымящийся фитиль.

— У денег есть коренное свойство — их всегда не хватает, — озвучил расхожую мысль папа с умным видом.

— Кстати, о деньгах, — вспомнила Таисия. — У меня в кармане два письма — взяла в ящике, одно из налоговой какой-то, а другое от Димона.

От Димона письмо положили в Сашин ящик письменного стола. А письмо из налоговой инспекции словно током всех било. Общая мысль была: не зря, нет, не зря приходила Варя! Она, наверное, в курсе, намекала на того, кто сообщил в налоговую полицию! Уж лучше б выслушать ее рассказ о неведомом враге. «Явиться с декларацией доходов и всеми документами, подтверждающими...» Листок в руках папы подрагивал, продолжая посылать невидимые государственные силы.

— Раньше вот так же боялись повестки из КГБ! — возмутилась мама (в то же время ей захотелось боязливо посмотреть в окно: не подъехали ли экономические опричники с проверкой).

— Ты скрываешь миллиарды, — сказал папа Маше. — Ну-ка выкапывай немедленно и плати за всех налоги, а то ишь ты...

— Нет, это Таисия, наверно, закопала и в форточку каждый вечер смотрит — не на могилу Кулика, Кулик для нее — это прикрытие, а там баксы закопаны...

Таисия подумала: щенок так мучился, а Маша говорит... Но она уже знала, что не надо делать душным то семейное пространство, в котором живешь. Поэтому она обернулась веселой девочкой и сказала Зевсу:

— Это из-за твоих миллиардов к нам повестки ходят? Ну-ка живо! Выкапывай и плати... Грязный ты приходишь — наверное, по разным кладам шныряешь, проверяешь.

Маша хотела успокоить родных:

— Если приедут с проверкой, то увидят наши необыкновенные миллионные диваны. — И она обвела взглядом просевшие семейные лежбища.

— Русская вера в доброту властей неистребима, — вздохнул папа. — Я не знаю, как к ней относиться...

На лестничной площадке стали слышны легкие юношеские шаги и два баса: один принадлежал Петру, другой — неизвестно кому.

Петр зашел и сразу испугался, увидев столбняк, охвативший всю семью. Последний раз все были такие деревянные, когда у мамы и папы умер близкий друг дядя Изя.

У отца в руках развевалась какая-то бумажка. Единственный, кто сразу оживился, так это выглядывающий из-за плеча Петра бледный юноша. Как человек, очень сильно прикрепленный к реальности, он верил, что реальность ему за это всегда воздаст определенным количеством спиртных напитков.

— Вот в Абхазии нам вообще ничего не давали: солдатских не платили, не

кормили... — сказал бледный юноша. — А вы меня узнаете? Я — Боря, который приходил к вам играть на компьютере, когда мы с Петром в школе вместе учились.

Он сразу понял, что бумага — весточка от государства. Но он уже наплевал на государство и не боялся его. Только дописывал на всех рекламках с «Хочешь похудеть?»: «Сходи в армию» (кривым почерком).

— Из налоговой полиции повестка!

— Расписались в получении? — спросил Петр.

— Нет! — просияла Таисия. — Из конверта.

— Тогда выбросьте. Всем мужчинам пришли такие. У нас в фирме все выбросили.

Бледный Боря, как утонченный режиссер ситуации, подумал: надо как-то усилить всеобщую радость, чтобы привести ее к известному благодатному результату.

— Старик абхазец нас один раз пригласил — долго торговался. А ему нужен был бензин. Такое гостеприимство проявил — настоящую «Хванчкару» нам выставил... И правильно вы сделаете, что выбросите. Нам тоже что сержант говорил? А мы: «Слушаем, товарищ сержант», — а сами налево все спустили... Поэтому немногие только умерли, большинство-то выжило.

Мама Таисии дала бледному Боре, тут же порозовевшему от приятных чувств, десятку, чтобы купил в ларьке чего-нибудь. И хотя эти деньги убавляли фонд дня рождения Таисии, но и она была радостная, потому что хотела веселья. Абхазия или Пермь — все равно приходится обороняться от натисков государства.

— Дырка-то спереди у него на шее откуда? Ранение?

— Нет, это у него от реанимации, с перепоею — через трахею делали искусственное дыхание, отек горла был.

Тут Петр из воздуха уловил нервные волны матери и добавил:

— Боря сегодня пришел к нам устраиваться по объявлению, а мы уже плотника взяли.

Не успел он договорить это, как раздался звонок. Прямо с порога Боря от-рапортовал:

— Купил спирт «Троя» — настойка на женьшене.

Папа с его привычкой читать мелкие примечания обратил внимание:

— Для наружного употребления.

— Все пьют, и я пил — и все в порядке.

Все посмотрели на дырку в отверстии рубашки — с глубоко пульсирующим морщинистым дном. Боря перехватил их взгляды и сказал твердо:

— Позавчера пили. (Понимай: с тех пор он не был в реанимации.)

Выпили по первой порции. Девочки устроились, как в партере, посмотреть и послушать.

— Снится мне... — начал Петр и остановился, спохватившись — нужно ведь подождать, пока женьшень дойдет до самых отдаленных клеток. — Снится мне, что веду самолет. И вдруг стюардесса вызвала меня к какому-то капризному пассажиру. Успокоил я его, вернулся, а в кабине все приборы управления исчезли. Самолет начинает разваливаться на части, пассажиры гибнут, а я тут же оказываюсь подсудимым...

— Что-то неладно с жизненными целями, — сказал после продолжительного молчания папа.

— А мне приснилось, что я бронетранспортер на цистерну спирта поменял. К чему бы этот сон? — Боря достал из кармана сдачу, пошелестел и сказал: — Дешевый этот женьшень...

Мама Таисии поняла намек, но поскольку она уже внутрь себя уронила ро-синку этого наружного растирания, то перевела разговор в какую-то гносеоло-гическую плоскость:

— С Троей все время что-то не то происходит... Шлиман не ту Трою отко-пал, которая у Гомера. И вообще сейчас ученые доказали, что ту Трою так и не взяли.

— А мы ее все-таки окончательно возьмем! — с угрозой сказал Петр.

— Зачем спиртовую растирку назвали таким знаменитым именем и на эти-кетке лихой Гектор на колеснице скачет? Это Троя, что ли?

— Это троянский конь,— качнул недавно стриженной головой папа.— С сюрпризом внутри.

Маша понимала: непедагогично поощрять выпивки разговорами с нетрезвыми родителями, но они ведь редко разрешают себе расслабиться. (А если будут часто, придется их взять в крутой оборот — откажусь их постригать, маму откажусь подкрашивать.)

— Вчера Таисия,— начала речь Маша,— не могла сделать доклад о росписи древнегреческих ваз. Я ей достала «Мифы народов мира», Гаспарова, Куна, книгу Любимова по древнему искусству... Заливаюсь, диктую ей тезисы: краснофигурные, чернофигурные, последовательность времени, а Таисия в слезы — надо подробно, а она не успевает. Говорю: «Надоело мне это уже — давай я за тебя напишу, почерки у нас похожи...»

Слушали Машу с голубиным терпением: понятно, что общаться нужно с детьми, отец кивал головой — вот еще один квант общения прошел, вот другой, а мама только водила глазами, как бы провожая каждую частицу общения.

— Эмхакашка, блин, требует подробно,— добавила Таисия.— А у самой муж говорит: «Вера, я ложку в сумку...»

Петр сказал Боре:

— МХК — это мировая художественная культура. Боже мой, ну и каково зерно этого сообщения? А, Маша?

— А таково! Я за Таисию писала, а она потом еще целый час перед зеркалом так причешется, сяк... одно примерит, другое не нравится. А выла: не успею, не успею!..

— Это же МХК в действии,— заступился за Таисию папа.— Эстетика поведения...

А взгляд Бори, как у всякого человека употребляющего, бродил по комнате в поисках предлога добавить. С каркаса психики обрушились все завитушки, придающие Боре вид обыкновенного человека, и при солнечном свете вылезло что-то колченогое, похожее на тарантула, чья экологическая ниша — океан алкоголя. Он увидел расписанную одуванчиками тарелку, сохнувшую на подставке для учебников. Показывая на нее, сказал:

— Тут у одуванчиков ножки... просто... голые нарисованы! А на самом деле они покрыты волосками. Вот как у меня! — Он задрал брючину, все ожидали увидеть суперсамцовское непотребное буйство джунглей, но не успела мама еще почувствовать неудобство перед дочерьми, как услышала разочарованный вскрик: — Ё-моё! Все вылезли... от пьянки! Это точно. Все Абхазия виновата: они нас поили, эти черные! Ну, покажу я им на рынке — в День пограничника!

— Эти, на рынке, за тех отвечать должны? — удивился Петр.

«Да, все должны за меня отвечать»,— взглядом показал Борис.

Петр сразу начал его выводить из зоны возможного конфликта. Борис хотя и поплыл от «Трои», но вертелся по прихожей очень быстро, так что все включились в его ловлю. Петр не мог понять, почему на одну ногу легко наделся туфель, а на другую — с трудом, и то при помощи ложки для обуви. «Гениальный человек изобрел эту ложку — надо бы Нобелевскую премию дать»,— шептал Петр безрадостно.

Родители Таисии неуместно педагогически нажали, когда Петр и Боря ушли:

— Ишь, черные ему во всем виноваты,— сказала мама.

— Он в чем-то прав: в самом деле все за всех в ответе,— добавил папа.— Но и он, Боря, должен за всех быть в ответе... в меру своих сил. А он абсолют-но безмятежен...

Мама продолжила: мол, Петру неудобно своего везения, что он не был в армии, вот он его и привел. И тут оба родителя разом вспомнили, как Боря угрожающе наставлял, как дуло, свою дырку между ключицами в коридоре, и дно этой дырки пульсировало всхлипами.

«26 мая 1996.

Сегодня я поняла, что враг существует: он мешал нам все время, пока мы собирались в монастырь. Вчера только приготовили мне мини-юбку, а сегодня найти не могли. Вся темная одежда на виду была, а мы ее словно не видели. Наконец оделись с Машей, гостинцев положили в кулек с ручками, уже чуть не вы-

шли, мама сказала: «С Богом!» — и тут увидели, что на пакете «секс» по-английски. Слава Богу, еще не ушли... Не буду писать, с какими приключениями покупали кулек — вообще нет ничего строгого! То голые, то реклама...

Мама написала по всем правилам письмо к матушке-игуменье. Сначала «Слава Богу нашему», потом «Благословите, матушка!».

Мы у матушки Марии попросили благословения на поход — на сплав. У нас нет прививок от клещей, и может помочь только благословение. Матушка, оказывается, была врачом до монастыря. Она прочла молитвы и потом подробно рассказала, какие места на теле надо чаще всего осматривать. Матушка нам подарила по книжке «Таинственный смысл символических священнодействий». Завтра у меня день рождения — пригласила Алешу, Лизу, Наташу, Иру и Лильку».

«А какие будут призы за победу в конкурсе?» — интересовалась Маша. Александра вычитывала из книги «Все о детской вечеринке», что можно взять для дня рождения. Маша подумала: вот бы прочесть книгу «ВСЕ о будущей жизни!» Чудаки эти англичане или американцы (книга была переводом с английского): «Не стоит устраивать сюрпризы для малышей — они могут оказаться источником испуга...» Н-да, для шестилетней Лизы Загроженко все, что мы предложим, будет очарованием.

А в это время Таисия писала своим заунывно-аккуратным почерком; она чувствовала, что внутри букв скрывается что-то невеселое, и старалась их подвеселить всякими чернильными кудрями. Она сочиняла: «На кладбище встретишься с таинственным незнакомцем», «Если будешь грустить — лопну воздушный шарик возле уха»...

— Картошку выключите, — командовала Александра, — салат режем!

Она заглянула к Таисии и прочла надпись на открытке.

— Что это у тебя за ажурная вязь полуарабская, Таисия?

У них было сейчас такое раздолье: папа на работе, мама уехала за город на этюды. Перед этим она много раз повторила: «Не дай Бог, разобьете хоть одну тарелку! Я, конечно, все терплю, и это вытерплю, но будьте милосердны!»

— Так какие будут призы? — повторила вопрос Маша.

— Да вон медведи, — небрежно сказала Александра. — Они новые.

Сестры насторожились: как это — Димон выбирал, выбирал, а мы на призы их отдадим?!

— А вы почитайте, какую он ерунду мне написал. — Александра с деланной небрежностью дала сестрам письмо Димона.

«Дорогая Александра! Вчера вернулся из Москвы и сразу попал на похороны Васяна. У него было ранение в печень. Схватило в правом боку, вызвали «Скорую», потом сказали, что умер от старой раны. У него осталась беременная жена. После той войны еще многие раненые могли жить, а сейчас напридумывали всякое оружие, чтобы раненые не вставали в строй и не продолжали воевать. Всякие хитрые зазубренные осколки и т. д.

А в Москве мне мама купила куртку, мама сказала, что я в ней «чистый жених». И ботинки из мягкой и удобной кожи, но по виду грубые, как из каталога! Еще мы были у платного психоаналитика. Он сказал, что военные действия останавливают развитие психики человека, делают его похожим на ребенка. Но от меня зависит, хочу ли я вернуться к образу взрослого человека. А я про себя знаю, что очень хочу. Ты сказала, что чувствуешь себя со мной, как бабушка с внуком. И ты, наверно, боишься, что я всю жизнь буду кричать: «Сержант, ноги!» Но на самом деле я чувствую себя с каждым днем все здоровее: память улучшается, я ее тренирую, заучиваю из хрестоматии стихотворения — это мне посоветовал врач. Каждое утро делаю пробежки, хочу поступить в школу милиции! Вот увидишь: через десять лет я буду главным милиционером района.

Александра! Когда я тебя вижу, то забываю, что где-то сейчас есть война и кровь! Без тебя я все время нахожусь там!!! Первого июня, как сдашь психологию, приходи к пяти часам к магазину «Цветы», я буду ждать тебя в новой куртке и ботинках. Готов ждать хоть сколько, если экзамен заты...»

Маша, которая читала письмо, заплакала, а Александра и Таисия уже чуть ли не с самого начала письма вытирали слезы.

— В июне он будет в ботинках высоких разгуливать, — сказала Александра сырым голосом сквозь нос. — Взрослость прямо через край.

В это же время их мама стояла среди желтых колокольчиков и писала речку, которая внизу: такое ощущение, что ее уронили с небес давным-давно. Этюд пренебрегал углами и сворачивался с каждым прикосновением кисти. «Надо пореже тарелочки расписывать, — решила она, — а то и дома уже пружинят с углов и закругляются для тарелочки, и мир-то весь глуповато-круглый». И тут она заплакала, объяснив себе, что вспомнилось письмо от Димона, прочитанное рано утром — перед выходом из дому. Оно валялось на столе у девочек — среди всех приготовленных ко дню рождения вещей: сливок в аэрозольной упаковке, обещающих буквами на крутых упитанных боках абсолютную бескалорийность; стопок открыток; там же были размягченные на газовом жару старые пластинки, которые уже не на чем было проигрывать. Дочери накрутили из них каких-то раковин, горшков, цветов и пейзажей с флажками (флажки они вырезали ножницами с краю размягченной пластинки). На самом деле мама рыдала не от письма, не об ухудшившемся восприятии мира, не о жизни, которая пропадала, а потому, что в это время дочери ее проливали хоровые слезы.

Проплакавшись, мама почувствовала, что кругом разлита необыкновенная свежесть. Одной рукой она ухватила за бутерброд, а другой рвала в подарок дочери желтые колокольчики...

Когда она вошла, первое, что бросилось в глаза, — зловеще раскинутый на середине дивана тонометр. Ей бы подумать, что кругом жутковато чисто, то есть дети ушли гулять, но она первым делом бросилась в ужасную мысль, что прибегались специально перед вызовом «скорой помощи». Ровно застланные покрывалами кровати напомнили ей о существовании операционных и реанимаций. Перед ее глазами количество кроватей стало расти. И в это время в голове взорвался звонок. Оказалось, муж забыл ключ и не мог попасть домой. Иногда он приходил и нажимал на кнопку, а потом продолжал ходить вокруг дома, представляя для разнообразия, что он сыщик или подпольщик. Остатки таинственности он еще не успел страхнуть с лица, поэтому мама их увидела и объяснила в духе множачщихся кроватей. Ей стало еще дурнее.

Но потом, когда все выяснилось, каждый получил за свое. Оказывается, дети разбили тарелку и решили, что за это они уберут хорошо после дня рождения и пойдут погуляют, чтобы мама успокоилась к этому времени, осознав, что даже наиболее удачно расписанная тарелка, где она подрисовала волоски к ногам голенастых одуванчиков, чтобы не походили они на лысые ноги бледного пьющего Бори, не стоит обиды на семью...

Мама отбुшевала. Пришел Петр с подарком в виде электронных наручных часов. Здоровье мамы на глазах вспучивалось, росло и хлестало через край. Дети зачитали послание агентства «РИА-новости»:

— Сегодня неизвестный инопланетный террорист пытался захватить расписанную тарелочку и угнать ее, но при попытке захвата заложников в виде веселящихся детей не справился с управлением и врезался в кота Зевса...

— Что, вы Зевса покалечили? — снова затревожилась мама.

Тут же черный сияец раскрыл свою пасть и сказал с достоинством: «Мя!» Понимай так, что «я у вас наиглавнейший, беспокойтесь обо мне непрестанно».

Девочки рассказали брату, что гвоздем дня рождения оказались не американские штучки, а тонометр для измерения давления. Сначала Лиза сказала, что у нее заболела голова, Александра измерила ей давление, а потом все встали в очередь — у каждого оказался свой болезненный орган. Потом каждый захотел научиться мерить давление, и всех захватила такая деловитость, что Алеша подпрыгнул и уронил тарелку...

Петр взял в руки гитару, которая всегда лежала на шкафу у родителей (в семейной его жизни гитара пришлась не по нутру жене).

Солнышко в небе ярко горит,
На берегу тихо церковь стоит,
Снегом покрыта в зимний мороз,
Немало пролито в церквушке той слез,

— пел он стихи, которые Таисия сочинила давно, еще когда ей было лет шесть.

В общем, ничто не предвещало неприятностей. Петр засиделся и остался ночевать, а за завтраком просил сестер не смешить его, потому что у него и так

болит рот... Он взял сигарету, книгу и скрылся в туалете. Сразу же оттуда донесся его громкий хохот. А сам говорил: «Не смешите, не смешите!» Наверное, взяла с собой «Трое в лодке» Джерома, подумала мама. Она на кухне мыла посуду, а Таисия запаковывала мусор.

Из-за стены от соседей полилась старая детская песенка: «Дважды два четыре, дважды два четыре — это всем известно в целом мире!..» И тень пробежала по маминому лицу: когда эта песня считалась модной в детских садах, мама была молодая, самой старшей, Наташе, исполнилось восемь, а Петру — шесть стукнуло, Александре — еще только три, и сколько сил... Боже мой, она преподавала в Доме пионеров (вела кружок), каждую неделю ездила на эту ды...

Петр вышел из укрытия, неся под мышкой «Пеппи Длинныйчулок».

— Ма, у тебя хорошо Высоцкий получился, дай мне эту тарелку, а? Я на день рождения подарю Витале, а то денег-то нет...

— Да хорошо, бери.— Она не любила, когда сын начинал хвалить ее работы (ничего хорошего это не предвещало: либо денег попросит, либо еще чего — выручить из беды и пр.).— Слушай, возьми лучше Гомера — тебе все равно, что подарить, а мне трудно будет продать Гомера, понимаешь... Я хотела Николу Угодника, а вышел почему-то подслеповатый Гомер.

— Гомер, бедный, ждал-ждал, когда его нарисуют,— не дождался. И вылез без очереди,— с одобрением отозвался папа о древнегреческой предприимчивости (и ушел на работу навстречу новорусской предприимчивости).

Петр завязывал галстук и в то же время выпрашивал тарелку с портретом Высоцкого, не прямо, а говоря про то, как обычно простоватый Высоцкий похож на Есенина. И он показал себе в зеркале слегка провисшую челюсть и дымные глаза. А у тебя, мама, такое у него лицо: горького много.

— Максима Горького? — не поняла мама, хотя на самом деле все она поняла: у нее хотят отнять ее золотую мечту о недельном пропитании.— Я уж пыталась сделать копию, чтобы в семье осталось, не получилось. И правильно, что не получилось, потому что удача — всегда чудо,— добавила она.— Руки те же, краски те же, и я та же самая, а получился не Высоцкий, а бандит просто.

Петр уже привык в своей фирме «Урал-абрис» вести переговоры до конца, поэтому он ввернул угодливую загогулину в рассуждении: у Витали пробовали его собственное вино из смородины. Просто «Вдова Клико», даже лучше, с какими-то лучистыми пузырьками; когда они лопаются, ощущение звездочки на языке. Он спросил: как его делают? Они говорят: год на год приходится. Правильно, что чудо или есть, или его нет.

Мурка и Зевс имели на этот счет свои взгляды, которые и выражали, бросаясь под ноги и требуя себе чуда в виде американского птичьего фарша.

— Ма, помоги занять полмиллиона,— сказал Петр.— Одному старичку надо приватизировать комнату, а когда мы с экс-женой разменяем квартиру, это будет моя комната.

— Кошки,— закричала мама,— как вы не понимаете, что мы живем не для вас в первую очередь? Да что кошки — дети не понимают. Ты думаешь, отец получит, так мы голодать должны, деньги все тебе отдать? Такому — метр девяносто, посмотри на себя!

Отработав попытку, Петр поспешно обулся и убежал, сказав Таисии:

— Арпеджио, арпеджио и еще раз арпеджио!

Он вчера начал учить сестру играть на гитаре.

А мама села на пол, изнуренная разговором, и начала бесчувственно повторять: «Раньше бы я ого-го... да, раньше бы... я! Я бы его заставила выпить весь многоцветный поток того, что я думаю о нем! Но, видимо, остались только проторенные дорожки, бесцветные, по которым вращаются чахлые слова... Правильно ли мы сделали, что отдали ему и его жене с таким трудом выколотченную квартиру? Все-таки правильно. Если б мы ее объединили с нашей, жили бы — не приведи Бог!..»

— А посмотри на Гоголя,— сказала Таисия.— Материны деньги все истратил! Она ведь их как наскребала со своего поместья.— Таисия представляла поместье как нечто вроде продажи тарелочек.— Гоголь их в опекунский совет должен был сдать, а он на эти деньги уехал за границу. А мы читаем его «Рим» и думаем: как хорошо, что он пожил в Италии!

— Так это же Гоголь! Сравнить разве...

— Для русской литературы он Гоголь, а для своей матери он просто сын. Маша пришла с походными спальниками и застала хвост разговора.

— Петр не украл, не убил, на гитаре нас учит и ничего за это не требует,— строго заметила она.

Таисия вразумляюще сказала:

— Ну что вот так сидеть, мама? Теперь волю надо Божью принять: нетерпение тоже ведь за грехи наши. Может, надо курить бросить тебе?

Мама поднялась с пола, достала из морозильника фарш и начала его резать кошкам. Но она не могла сразу бросить бормотать. И бормотала:

— Резать-то трудно, а зло-то делать легко, все разрушительное легче дается, а добро — всегда чудо...— Вдруг она почувствовала заигравшую по всем суставам бодрость.— Если добро непредсказуемо, то оно может вот сейчас в любую секунду выскочить!

Мечты, повисшие в воздухе

Когда все в России будут богатыми, мама снова разрешит дружить с ними — ведь они будут одеты очень красиво. Она повторила слова матери Изольды, что Россия расцветет, понимая под Россией что-то большое, доброе, которое сделает за всех... для всех... Да, с ними трудно было, тяжело. В походе Маша говорит: «Слушай, Вероника, не твою конфету сейчас унес из палатки зелененький человечек?» Посчитала — точно, одной «Ласточки» не хватает. Стало так интересно, но я спросила: «Почему не остановили?» «Так он током бьет — зеленым...» Это было два года назад... Может, папа без ранения из Чечни придет, он же гаишник — на посту стоит, не так опасно. И от радости, что здоровый, разрешит дружить — еще до богатой России... Мама тоже все из мечтаний брала. Сначала взяла из мечтаний мужа, а он оказался пьющим. Тогда она замечтала о деньгах. Деньги надежнее мужа. Они не пьют... А у Таисии на дне рождения, Наташка рассказала, измеряли давление. Вечно они такую глупость интересную придумают, какой ни у кого не бывает. Не могут ничего купить вкусного или нарядного, вот и приходится тужиться головой. Хорошо, что мама запретила с ними дружить, а то пришлось бы тратиться на подарок. Наташка сказала, что Загроженко подарил Таисии открытку с надписью «Не бойся». Там пацан с пацанкой, пятилетние, в песочнице. Наташка еще сказала: «Такое шоу было вчера!» Таисия такая упорная, бьет в одну точку, в конце концов может Алешу заграбастать. А зачем он ей нужен — нам больше, помогал бы в челночных поездках. На Близкий Восток. В сочинении Таисия проговорила, будто бы в доказательство, что никакой ревизор не запретит чиновникам воровать в будущем. Она привела случай из прошлого похода: один мальчик рисовал свою фамилию на стенах турбазы. Мелом. Директор раскричался, что приезжает губернатор, надо все стереть. Мальчик стер, но сказал: «Я потом снова все обратно напишу, когда губернатор уедет...» Это был Загроженко, а у нее несколько стыда нет, рассказала, что нужно зарыть под окном у себя носки кандидата в любимые. Тогда не уйдет! От тебя не уйдет. Зимой-то нельзя было зарыть — снег растает, и носки уплывут вместе с хозяином. Сейчас бы можно, но как у Алексея его носки выманить? Может, подарить — в обмен? Одно место есть возле подвального окна, как раз без асфальта. Там и закопаю. Аварийный вариант: ящик с цветами, у нас на балконе. Но, наверное, не так будет действовать...

Таисия строила штабик на дереве. Такой был ясный день, что хотелось быть окруженным со всех сторон этим мелким золотым светом. На развилку трех толстых веток она положила доски, и папа прикрутил их многократно толстой проволокой. Получился удобный помост. Таисия решила добавить уюта, соорудив крышу из полиэтилена. Она себя уговорила, что не для себя строит, потому что для себя, такой большой, стыдно. Как будто бы она заботится о маленькой Лизке Загроженко.

— Какой штабик! — изумлялся бодрый старичок на лавочке.— Я в твоём возрасте уже в ремеслухе был. Ну... Лебедь придет к власти, всех этих толстожопых малолеток из штабиков и подвалов, где они известно чем занимаются...

он их всех сгребет и в какие нужно ремеслухи... рассует.

Поскольку старичок не к ней обращался, а как бы к невидимому митингу, который шумит все время во дворе, то Таисия ничего не ответила.

— Таисия, ты боишься смерти? — спросила Лизка. — Я боюсь! Смерть — это большое и нигде... Бабушка когда умерла, я думала, что на время. И все ждала, что она придет из магазина.

Таисия начала объяснять Лизке про рай: что он, как штабик, только там солнце никогда не заходит. Там все время такое сияние, и на райском дереве много всяких жилищ, и там ангелы и души ходят по стеклянному воздуху и беседуют. Лизка очень обрадовалась: точно, в раю все будет здоровое у нее, в животе не будет болеть.

С бодрящим аппетитом гусеница, вся в павлиньих глазках, пожирала древесные листья. Лизка с завистью смотрела на это: у гусеницы вокруг еда есть, поэтому она такая красивая и здоровая.

— Как хорошо у нас, — сказала Лизка, — как дома! Теперь давай собирать на стол.

Таисия быстро побежала в дом и принесла три бутерброда и компот в бутылке из-под колы. И Лизка начала соревноваться с гусеницей. Много жизни вдруг навалилось на штабик. Самец лимонницы шарахнулся прямо к носу Таисии, следуя по невидимой дорожке запаха. Шмель пролетел, похожий на самолет-невидимку «Стелс». Кошка Мурка наведальсь узнать, нельзя ли отсюда достать этих привлекательных птичек. Комок комаров свалился сбоку на дегустацию. Таисия взяла Мурку и начала считать пульс.

— Сто двадцать ударов в минуту, — сказала она. — А у комаров, наверно, молотит вообще... Чем меньше животное, тем чаще сердцебиение.

Лизка радовалась: два дела сошлись под крышей штабика для нее удачно. Она и ест, и слушает уж чересчур для нее умную Таисию.

К старичку прибавилась Изольда, мать Вероники, дочь Генриетты. С Мартиком, сыном Бенджамина и Лейлы. На короткое время они со старичком образовали такое судящее-рядящее единство по отношению к миру.

— Выборы-то на носу, — сказал старичок. — Лебедь-то придет! Молодец! Он молодец наш... железным крылом!

— Точно, — откликнулась Изольда. — Муж звонил позавчера из Чечни и сказал: тут такое творится! И обложил все радио и телевидение, которые тысячную долю не показывают. Мартик, не царапай дерево. — На секунду пронзительное чувство зависти у нее мелькнуло, потому что она вспомнила, как строила в детстве штабики, и тут же утонуло под тяжестью Турции...

Изольда с презрением оглядела проем между домами и вместе с ним весь мир. В этом мире, как ни трудись, как ни старайся жить достойной жизнью, приходится страдать, как всем. Хотя все-то... столько сил не прилагают.

— Толстого сейчас читаю. — Она еще прочнее обжила скамейку. — Решила «Казаков» почитать, чтобы понять, что там творится, на Кавказе...

Пришлось прочесть Толстого — вот как жизнь поворачивается, — вдруг пронзило ее изумление... Но у нее, как у делового человека, это не пропадет! Глядишь: в самолете расскажет летящим в Стамбул... или в гостинице после тяжелого дня езды по складам... Она утвердит среди челночниц свои позиции как умная.

Мартик отчаялся присоединиться к Лизке и Таисии и был уведен.

— Правда, что в походе все комары огромные, как лошади? — спросила Лиза.

— Да, прямо летающие лоси такие, причем ветер, а они, как лодки, против ветра выгрывают могуче — и к тебе!

Маша вышла из подъезда усталая, с сумками: ей еще с Вандам Вандамычем на оптовый рынок за консервами.

— Таисия, надо рюкзаки собирать, а ты в штабик закопалась. Вон Мережковский тоже на дереве домики строил, так Достоевский ему сказал: «Страдать надо!» — рыночным голосом разнесла на все окружающие дома Маша.

«30 мая 1996.

Дневник! Хорошо, что ты у меня есть! Хотела писать о главном, а оказалось, что бывает **Самое главное!** Печорин жаловался, что жизнь ему скучна, а

интересны только набеги на Кавказ. Вот я бы ему подсказала, если бы оказалась рядом, что на самом деле жизнь не скучная и интересная, а главная и **самая главная**. Идет полосками такими. И вот я это пишу. Сон про то, что Загроженко зовет меня в свое царство, видимо, указывал на... предсказывал сегодняшний разговор.

Алеша сказал, чтобы я думала об этом весь поход. Дал мне срок... Он мне сказал сначала: хорошо иметь папу, маму и много сестер, которые взрослее. А взрослые — умнее.

«Права Александра, они все ищут маму!» — подумала я. Но все-таки Алеша не до конца такой, как Димон!

Он сказал так: «Я становлюсь совсем взрослым, я зарабатываю. Но... Ты видишь, какая Лизка бледная! Денег у меня сейчас много, я старушку нанял, Кондратьевну. Она все заедается, хотя готовит хорошо, и у Лизки живот не болит. Деньги есть, Лизка просит конфет, а Кондратьевна: «Семь лет мак не уродился, и голода не было». Отдохнуть после мойки не дает. «Семь всего тысяч я потратила на рыбу!» «Спасибо, баба Валя». «Три тыщи еще осталось». «Хорошо»... И так каждый вечер. Давай, Таисия, ты веди наше хозяйство!»

Я испугалась и про другое говорю: «Кондратьевна взрослая, а я нет». Алеша: «Мне кажется, что, кроме тебя, на свете никто нам с Лизкой не нужен». Потом он подумал и добавил, что законы знает. «Когда мы распишемся и в церковь сходим, тогда будет все, как у всех. Возле меня тебе нечего бояться». «А мама где?» «Не было ее, потом сообщили... С инсультом с перепоею лежит в реанимации, меня не пускают...»

Таисия купила огромную ручку — полметра длиной, так как думала, что она будет помогать ей писать дневник, ведь ручка раскачивалась, как дерево. Но оказалось, что нужно все время тормозить. А не успеешь затормозить — ручка сама по инерции ведет линию...

«31 мая 1996.

До сих пор у меня был какой-то выход. Двойку получила — можно исправить. Да и всего один раз я ее получила! С Машей поругаюсь — можно быстро помириться. Или даже без всего: ходим-ходим, и сам собой начинается разговор. А здесь ничего само собой не случится. Что ни сделай — все равно плохо будет. Дневник, если б ты был компьютером! Ты бы смог для меня рассчитать правильный способ поведения. Мама сказала (сегодня я всю ночь кричала): «Наверное, не самая большая беда в жизни!» Это мамина любимая присказка по жизни. Я ее с детства еще помню. Мама часто к ней добавляет: «Не рак, не смерть, не украд, не убил». «Двойку получила — не рак, не смерть». А папа тут же: «Не землетрясение, не извержение вулкана».

На самом деле, если я уйду жить к Алеше, варить еду Лизке, то **беда!** Если мы в походе задержимся, я уже не могу один день терпеть. Домой хочу! Сегодня Александра умывалась и вдруг нас крикнула. Мы с Машей прибежали. И видели, как из таракана-подростка вылез большой таракан. Оказывается, они меняют шкуру и так растут. В одно мгновение. Если б я могла так мгновенно стать взрослой. Правда, вылезший таракан был весь белый, но он быстро коричневает».

Год назад Таисия была в гостях у богатого дяди Вити, маминого брата. Она вспомнила, как писала каждый день по письму: «Мама, забери меня отсюда, я уже не могу терпеть! Домой хочу!» Хотя дядя Витя был очень веселый, каждый день своим детям и Таисии покупал по ящику маленьких бутылок колы. Пепси-колы!

«Алеша сказал: решай в походе! Я вообще не люблю ничего быстрого, а поход-то быстро закончится.

Если скажу НЕТ, он найдет другую! Но так и будет. Да и родители все равно не отпустят меня. Если я скажу: подожди год? Но что за год изменится? Да и Алеша не будет ждать. Теперь хоть в походы не ходи. Все равно все отравлено. Думать, думать о супах Лизке. А чего думать, когда ничего не могу придумать».

Есть такие чувства: начинаются в тебе, а заканчиваются в родителях. Так чувствовала Таисия. Если против желания родителей она поселится у Загроженько, то эти чувства будут болтаться в пустоте. Оборванные нити уже не срastутся. Они снились ей, когда гостила у богатого дяди Вити. Похожие на длинные макароны, кудрявые, которые варила тетя Лена, очень вкусные и дорогие. Оборванные нити уже не могут срastись! Таисия у дяди Вити всех разбудила, когда выла ночью во время этого сна.

«Ну вот, старик, до похода осталось два дня!

Подошла ко мне Александра и увидела слово «старик». Говорит: по Фрейд-ду это разборки с образом отца. Если ты дневник считаешь замещением, то потом нужно символическое убийство отца. Блин, заколебали меня уже со своим Фрейдом, ну его на фиг».

— Мама, на остановке написано:

«Пусть накажет меня могила
За то, что я ее люблю.
Но я могилы не боюсь,
Я все равно ее люблю!»

— А при чем тут могила? Я не понимаю — могила какая-то...

— Таисия, могила тут для подчеркивания силы любви. Больше ни для чего. Поняла?

Таисия заметила, что если она скосит глаза и вдохнет, задержав дыхание, то вокруг все распадается, умирает и гниет на глазах. А если она вдруг задышит глубоко и посмотрит прямо перед собой, то все вокруг становится молодым, оживает, в ушах появляется веселый звон.

«2 июня 1996.

Вчера ходили просьбу Александры выполнять. К Димону! Вместо нее. Маша увидела: летит пушок одуванчика. И, пока он летел, я успела загадать желание, чтобы Димон был счастливый в жизни! Мы подошли к «Цветам», еще не успели ничего сказать. А Димон уже увидел нас, ссутулился весь. Мы его уговаривали, что вместо нее он найдет другую — еще лучше! Я сказала: «Димон, ты не горбись, чего вниз-то смотреть — там черт. Смотри вверх, где Бог». Димон купил нам по мороженке «Эскимо в шоколаде!»

Маша вгрызлась в эскимо, и чувствовалось, что для него пошли последние секунды существования. А Таисия выводила языком задумчивые вензеля на шоколадной рубашке. Они встретили папу. Он закончил урок в одном офисе и сейчас шел в другой. Новые русские сейчас учат языки, потому что у них гости то из англоязычных стран, то из Германии. И не в том дело, что каждую секунду под рукой нет переводчика, но ведь хочется соблюсти тайну сделок. Юра из Кунгура сказал вчера, что одна деловая немка заявила: «Не буду есть ничего из того, что мыто вашей водой». Холеры боится. Юра так обрадовался, что понял ее! И подарил папе американский утюг. Впрочем, оказалось, что утюг не работает, но папа и мама решили ничего не говорить кунгуряку. Он и так странный: недавно поставил памятник Гоголю во дворе фирмы. На самом деле, может, так и надо Гоголю ставить памятник — по-нелепому. Позолоченный гипс выглядел постмодернистски среди тесно растущих кустов шиповника. Они свежие, цветы, а Гоголь кричаще-золотой и уже поцербленный сыростью. Но Юра-то считал, что сделал нечто вроде святилища одного из богов литературы! Хотя в детстве он вообще не читал Гоголя, но ощущение священности писателя в душе как-то появилось. Очередная загадка русской Психеи.

А уже этот скверик стал местом прогулок и даже вроде медитаций. Иные забредают нечаянно в фирму и покупают телевизор-другой. Папа Таисии думал: неужели памятник Гоголю — сознательный рекламный ход или деловитость вошла в бессознание и подает оттуда причудливые сигналы? Когда у человека есть возможность все в выгоду обернуть, он менее агрессивен. Один покупатель подал на Юру в суд за то, что не был принят в ремонт его телевизор еще до истечения срока гарантии. Сервисный мастер уверял: прибор уронили! В суде будет свой эксперт, и Юра уже рассчитал, как превратить поражение в прибыль:

— Позову корреспондента, наверно, надо его угостить... Ну, чтобы он меня не воспевал, не ругал, а как бы дал объективное описание, что фирма безропотно подчинилась законам. И принесла извинение, хотя этого не требовалось по решению суда. Вместо сломанного я выдам новый телик, зато клиенты прочитают, узнают, придут...

Рядом с папой шли два новых русских, разговаривали по радиотелефонам и одновременно ели мороженое. У Маши осталась треть эскимо, и она отдала его папе.

— Вот и хорошо, — сказал он. — А то ты так поправляешься, уже, наверно, больше семидесяти килограммов. Надо бегать по утрам, Маша!

— Если б знала, что ты так скажешь, ты бы ничего не получил!

— А я и не просил нисколько.

— Просил — в тонком плане!

Он понял давно, что другие взрослые как-то взрослее его, но вот уже и младшие дети обращаются с ним поучительно... И он горестно свернул налево, к ядовито-золотистому Гоголю, погруженному по пояс в пьедестал. Его известные глаза были ниже среднего уровня глаз проходящих, и поэтому он как бы с шалым подобострастием заглядывал снизу в лица прохожих с немым вопросом: «Ну, как вы тут? Меня еще не забыли, люди добрые?!»

Папа Таисии вошел в вестибюль, оформленный известным пермским стилистом Сергеем А. Буддийские метровые уши с оттянутыми мочками выступали из стен. Раскрашенный алебастр призывал к сохранению секретов предприятия. Собрались уже все, а Коряков никогда не придет. Неделю назад его взорвали прямо в джипе. Тут в голову сразу залетел анекдот о гробе для нового русского с четырьмя дырками в крышке — для пальцев веером. Он подивился циничности мысленного потока.

Коряков говорил, что «если такой дурак, как Лимонов... Эдичка... знает два языка, то уж давайте навалимся, братва!». У него были какие-то пересечения в жизни с известным коммунистом. Приезжая из Москвы, Коряков базарил о Гребенщикове, который подарил ему свою раннюю картину, один раз даже принес ее показать — какую-то смесь Малевича с Макаревичем, на взгляд папы. А после смерти выяснилось, что у него в столице бизнес на стороне, и его оборот там доходил до двухсот миллионов долларов. Это как раз те большие цифры, где очень может быть, что жизнь укоротят.

Все коммерсанты стояли у открытой двери в торговый зал и всю смотрели в ряды телевизоров, которые хором показывали «Дубровского».

— Евгений Иванович, а кто написал «Дубровского»? — спросили у папы Таисии.

Ах, если бы это была шутка, можно сказать: «Писемский», — но с ними, бизнесменами, как с детьми, неловко их обманывать.

— А по-моему, Тургенев, — сказал Юра из Кунгура.

— Лермонтов или Толстой? — полуутвердительно спросила секретарша Аня.

Мифологическое сознание, подумал папа Таисии. Они считают, что есть один Автор в разных ипостасях: Пушкин, Лермонтов, Толстой; их священные имена могут меняться: вместо Лермонтова — Тургенев (но он уже на вылете из мифа). Таким образом живет литературная троица. Сказали они: «Да будет литература!» И стала литература...

— «Дубровского» написал Пушкин, — грустно резюмировал свои размышления папа Таисии.

Но ведь они тоже страдают. Юра оставил в родном Кунгуре первую жену, здесь нашел молодую балеринку. Но это еще не страдание. Дочка от первого брака звонит отцу: «Папа, ну почему бывает разрывная любовь?!» Ей шесть лет. Всего пермского кордебалета ему бы не хватило, чтобы забыть этот телефонный разговор.

А вот стоит и смотрит на борьбу Дубровского с медведем Пермяков по прозвищу «Веник», но не потому, что у него проблемы с интеллектом... Он выпустил за свой счет книжку своих стихов «Тоги», по одному экземпляру раздал братве. Все прочитали только первую страницу, потому что у деловых людей нет времени всякие книжечки перелистывать:

Веник, замкнутый сам на себя,
Стоял в углу бытия.
Эта вещь, себя возлюбя,
Просила внима-ния.

Только Таисия интересовалась бедным Пермьяковым. Она спрашивала пару раз: «Как живет Веник, замкнутый?» «Зарабатывает. Наметает три миллиона в месяц».

Он раньше думал: зашибу бабки — издам книгу, и все увидят меня! Мой за-
давленный коммунизмом талант. А ведь кто-то должен ответить за это.

Тут вмешался железный совок.
Он был, как Феликс Железный.
Один он смог разрубить замок
Базаров бесполезных...

Разместил он книжку в пяти центральных книжных магазинах, полгода прошло, купили только одну. Если б не купили и ее, было бы не так унижительно. Ее купила критик Татьяна Г. Она собрала несколько таких книжек и чохом высмеяла их в статье под псевдонимом Бомбелла Водородова. Видимо, ее посетила мысль, что люди, имеющие деньги выпустить книгу за свой счет, имеют деньги для того, чтобы сделать жизнь маловыносимой для борзых критиков.

«... близко подошел с образом веника к постмодернистским изыскам в области органов выделения... остался последний решительный бой! Таланта г-ну Пермьякову это не прибавит, зато поставит его в первые ряды штурмующих остро пахнущие вершины пермского Поэзиса». Если бы он знал, что критикесса тоже пострадала от тоталитаризма, как и он,— невостробованностью там, где бы она хотела. А она очень хотела!

— Ты устрой себе презентацию,— предлагал Пермьякову Евгений Иванович.— Раздай книжку проходим на улице...

— Это для меня удар ниже пейджера,— сказал Пермьяков и снова повел окрест взором, надеясь найти виноватого.— Я лучше сожгу!

Ему казалось, что огонь очистит какое-то пространство внутри его психических декораций для новой неподдельной жизни. А если не получится, то он так и представлял, как будет разводить руки и сокрушенно рассказывать: «Пришлось сжечь — художник никогда не востребован в этой жизни». Он хотел эту жизнь оправдать, но чувствовал, что все клонится к высшей мере... Даже звонил в редакцию газеты: «Кто эта Бомбелла?» Он хотел только спросить: до конца ли она прочла его сборник? Было бы легче, если до конца, но, с другой стороны, вина ее выросла бы в непоправимую, ведь человек, прочитавший до конца, не может так писать! В крайнем случае он затащил бы ее в одно из двух мест, где решаются дела: в постель или в ресторан, уж тогда бы она про него не так записала бы...

— Ну, бегинен вир ди штунде! — призвал папа Таисии.

«3 июня 1996.

Сегодня мы шли с маминими тарелками. Купили белых двадцать штук. Навстречу Алеша! Он был в секонд хэнде: покупал себе непромокаемый комбинезон мыть машины. Он сказал мне: «Думай в походе!» А Маша сразу догадалась, что о чем-то очень уж больном. И начала у меня выпытывать, о чем думать нужно. Конкретно! Я ей сказала: знаю такую частную фирму, которая за умеренную плату удаляет излишки любопытства. Маша по-партизански стала удаляться от меня. С гордым видом. А поскольку ей некуда было идти, да и мама ждала тарелки, то мы обе так и пришли домой. Сейчас Маша из грампластинок, размягченной на огне, делает веер.

Дневник, я кладу тебя в тайник! Прощаюсь с тобой на три недели похода».

Эти три недели были какие-то усохшие для Таисии. Все время она думала о Загроженко. Дышала чистым воздухом леса и жалела, что Алеша дышит сейчас выхлопами, моет машины. Таисия мыла посуду в Койве, ощущая ожог лода от этой солнечной воды, похожей на закипающее стекло. И представляла: Алеша сейчас берет воду из ржавых труб, которые не лучше лужи!

Когда они плыли в протоках — туннелях из схлестнувшихся друг с другом

кустов, — они их звали «Поцелуй шестиногого друга»: на них сверху сыпались голодные клещи. Маша говорила Вандам Вандамычу:

— Вадим Вадимыч, хорошо, что клещи маленькие, а то прыгали бы нам на загривки, как рыси.

После этого приходилось срочно причаливать катамараны и устраивать на поляне подробные взаимные обыски. А там были кругом сталинские лагеря. Уже одни заборы остались. Эти лагерные заборы, как перебитые члены драконов, вставали по обеим сторонам реки. Вандам Вандамыч не хотел делать ночевки рядом с ними, потому что один раз так сделали — несколько лет назад, так всю ночь были слышны чьи-то стоны и голоса. Сталин-то сейчас уже получил свой вечный лагерь, сказала тетя Люба. А Вандам Вандамыч важно кивал в ответ на рассуждения жены. Хотя как каждый учитель физкультуры он был чужд метафизики. Дежурное блюдо туристов — гитара — разогревалось под его пальцами и посылало в разные стороны звуки, которые бродили между деревьями и стонали, как заблудившиеся духи. А звезды смотрели на них всю ночь надзирательными глазами. Все почувствовали себя хорошо, когда миновали заброшенные лагерные зоны.

Бабочки садились прямо на их руки. Они, бабочки, побирались на коже рук, пробуя остатки сладкой еды. А Таисия представляла, что бабочки подключаются к ее активным точкам. Она неотвязно представляла, что по меридианам, как по мощным кабелям, идет информация, а бабочки ее считывают. А после они садятся на активные точки лося. И так передаются мысли. От одного организма к другому. Без конца. Лось, рысь, цветы, деревья — все захвачены одной вестью: проблемы живого нужно решать сообща, дружно... Правда, Таисия еще не знала, как совместить это с борьбой видов за существование...

Машу укусили два клеща, а Таисию один. Еще один клещ укусил Мишу, сына Вандам Вандамыча. Все остальные были привиты, поэтому им клещи были не страшны. Таисия считала, что им с Машей тоже не страшны, потому что они благословлены на этот поход матушкой-игуменьей. А вот Миша в опасности!.. У него недавно была операция, и прививки нельзя было делать. У Маши и Таисии тоже нашлись противопоказания...

Там, где раньше поработала золотоискательская драга, были неопрятно оставлены кучи гравия. И даже Вандам Вандамыч не мог определить, что за малиновые цветы выросли на этих кучах! Почти без листьев, похожие на городские мальвы, но мельче. И как бы ядренее. «Словно лопнула бомба с семенами этих цветов», — сказала тетя Люба. Потому что была видна резкая граница, где они остановились в своем кольцевом расширении. Вандам Вандамыч как старший турист объяснил с некоторым сомнением, что это, наверное, военные накуролесили: может, взрывы были подземные, ядерные, может, опыты в зековских шарашках...

На ночевке Таисии приснилось, что она упала на дно малиновой поляны, в глубокую яму со щебнем. И не может выбраться, потому что щебень осыпается. Тогда она стала приманивать бабочек, писать на их крыльях записки-мольбы о спасении. Мелким почерком! И просила их торопиться. Она проснулась неспасенная и поняла, что готова к разговору с Алешей.

Маша и Таисия без отдыха набирали запас впечатлений, чтобы обеспечить ими себя на всю будущую зиму (так взрослые запасают соленья и варенья). Маша нашла дерево, кора которого словно вся состояла из детских рук — они плотно обнимали мякоть ствола, вот бы мама нарисовала такое, надо ей рассказать! Таисия нашла лошину, а там сугроб не растаявший — в виде крокодила с открытой пастью, вот папе рассказать — он оценит!.. Само собой, запомнилс надолго неизбежный обряд последнего костра, когда Вандам Вандамыч с тетей Любой уже расслабились (почти весь поход позади, завтра на электричку), и можно было отмочить несколько туристских шуток вроде рассказывания страшных и смешных историй, которые только здесь трогают своей незамысловатостью.

— Тетя Люба, расскажите, как вас петух клюнул, а мама ему за это голову топором отрубила! (История о великой материнской любви.)

— Теть Люб, расскажите, как вы спасли утопающего. (История о безответной любви.)

— Лучше о том, как подделали путевку в лагерь! (История о самозванстве.)

Мне будто четырнадцать лет!
(Рассказ Любы)

Я в путевке сама исправила «11 лет» на «14 лет», крючок добавила к единичке — и все. Хотела попасть в первую группу! Мне мой высокий рост много горя доставлял. Играю с девчонками в классики, например, идет прохожий, если меня не знает, обязательно скажет: «Такая кобыла и тоже с малышкой в классики прыгает!» Я думала тогда, что обгоняю сверстников из-за рыбьего жира. Я единственная из детей его любила. От меня прятали: нельзя много, — а я воровала, на хлеб капала и солила. Вкусно! К тому же я много читала и думала, что в первой группе справлюсь, никто не разоблачит, даже наоборот — мой уровень оценят, начитанность! Я уже Мопассана прочла два тома, Бальзака шесть томов, Флобера. «Госпожу Бовари» со скрипом, но одолела. Я и тогда была волевая. А они, оказывается, четырнадцатилетние, стукалки устраивали, никакого вам Флобера! И у меня, как у плохого разведчика, все время был страх, что меня раскроют, опозорят. Явка, господа, провалена! Стукалка — это картошку привязывают... О, такая интересная вещь, почему она пропала и не дошла до вашего поколения, непонятно! Вбивается в стену гвоздь, к нему привязывается бечева с картошкой. А другой конец бечевы у тебя в руках. Ну, ты сам отходишь далеко, стучишь, а как выйдет кто — убегаешь еще дальше! А может, стукалка потому исчезла, что само слово «стучать» стало окрашенным нехорошо. Книжки-то они не читали, а сразу перешли к взрослому состоянию, следуя развитию организма. Обсуждали ночью вопросы о менструациях, которые я путала с регистрацией. И раздались жуткий стук. Девки обрадовались — внимание мужское. Выскочили и долго гонялись с воплями, всех разбудили, все палаты... А я лежала и боялась: вдруг родители приедут? Хотя была уверена, что не приедут, — очень заняты проблемами ругани друг с другом. Если бы какой-нибудь писатель жил рядом с ними, он бы — хоть сам Мопассан — ни за что не стал писать о маме с папой! О чем писать: как ругаются монтер со слесарем? Я мечтала, чтоб папа был другой — военный, капитан, а мама чтоб интеллигентная и на пианино чтоб играла... Но если приедут родители в лагерь, то будет полное разоблачение. Штирлиц, а вас я прошу остаться!

Мы в «бутылочку» играли не на поцелуи, а на откровенный ответ. Меня спросили: «Кто тебе нравится?» — и я ответила искренне: «Саша Березкин». Было такое мероприятие — прощальный костер, когда всю ночь не спали, как сейчас мы... Костер делали очень большим, об экологии тогда еще не имели понятия. Я мечтала... В общем, было соревнование, кто больше детей уместит на фанерке в один квадратный метр! Какой отряд победит? Мы там целый куст из детей вырастили — на одном квадратном метре. В три этажа: кто висел, кто на плечах у другого, некоторые на одной ноге стояли. Победили мы! Так Березкин меня буквально обнял в это время и сжимал изо всех сил, чтоб я не упала! Скульптуру бы можно такую изваять — «Дети, побеждающие в пионерлагере». Как Лаокоон. Чей он, Лаокоон, забыла... Мне показалось, что Саша не о победе думал, а обо мне. Он шепнул: «Сегодня на костре я тебе что-то скажу!» За победу нам дали право зажечь вечером прощальный костер. А я сначала стояла и мечтала, как Саша меня похищает из плена... когда он обнимал меня на фанерке. Он обещал мне сказать что-то важное. Но я никогда не узнала это важное! Потом, на истфаке, поняла, что остальным самозванцам было еще хуже, им в истории никогда не везло. Одного сожгли и пепел из пушки выпалили, других — на кол, кого-то обезглавили. Я думала: повезло! Пример счастливого самозванца — это я в лагере. Хотя сам страх быть раскрытой мучил и так измучил, что я была рада концу смены! Эта мука позади. Но я ошиблась. После обеда Саша собрал нас — элиту — шесть человек. Мы так хорошо провели эту смену, надо это отметить, купить вина — сухого. А в этот день воспиталка, которая всегда ругалась так: «Дура, куда мяч унесла, не дай Бог такую жену моему Тимочке!» — вдруг про меня говорит: «Молодец, выиграла шахматный турнир — вот бы такую жену моему Тимочке». А пойдет за вином самая умная — Любаша! Так предложил Саша. Якобы мальчишкам не дают. И мы скинулись по рублю — нам родичи дали на конверты, чтоб мы письма писали.

За водокачкой мы эту бутылку «Рислинга» открыли — пробку расковыряли. И выпили по полстакана. Пять человек. Никакого приятного опьянения я не

почувствовала. Им-то по четырнадцать, я не знаю, что они чувствовали, внешне они хорохорились. Я же через десять минут почувствовала, что отравилась: началась судорога, а потом рвота. Организм очищался, извергая остатки яда, а тот, который всосался, уже тычется, тычется в разные стороны, а выхода ему нет. Меня унесли в палату чуть ли не без сознания, во всяком случае, я сразу заснула. Эти часы закрыли все приятное времяпрепровождение в лагере! Кстати, пионерский галстук я тоже заблевала. Выглядела, как бомж привокзальный, наверное... Все ушли на костер, а я спала в палате, иногда просыпалась, думала — лучше б мне было все время без подделки одиннадцать лет, и без всяких притязаний... Конечно, Березкина уже бы не было, он ведь был бы в другом, старшем, отряде, среди полубогов! Но зато бы я мучилась по-человечески: ревностью, желанием вырасти, стать умнее, сильнее... А так я чувствовала себя старушкой во французской богадельне, которая заканчивает свои дни в тусклости. Балзака и Золя начиталась я. Ведь надо было копить ощущения на зиму, чтобы потом ими любоваться, как драгоценностями, доставая их из ящика памяти, и я копила-копила, шлифовала, а потом смешала все со рвотой. И примерно воспоминания получались такие потом: иду с Березкиным на речку ночью — ловить пескарей, а через две недели у меня судороги и пьяная икота, и он же потом меня и несет... Прижимается ко мне во время борьбы за первое место на одном квадратном метре и тут же прижимает меня, когда несет, чтоб не выпала, а я обгажена собственной слезью. Тут вся зарождающаяся чувственность, как подкошенная, валится. Дома никогда не узнали об этой истории. Тут уж я постаралась, чтобы Штирлиц в очередной раз ускользнул от Броневского.

Потом, через много лет, когда я выросла, то поняла другое! Еще хорошо, что выпили не на костре мы, а то я могла бы потерять сознание и упасть в огонь...

Пришли из похода с цветами, грибами. И Таисия несколько раз повторила шутку Вандам Вандамыча:

— Грибы без разбору можно есть все... но только один раз!

После этого они упали в пятнадцатичасовой сон. В походе казалось: все время отдыхаешь! Спали по четыре часа и то под нажимом Вандам Вандамыча и тети Любы. И мерещилось Таисии с Машей: придут домой — горы свернут.

А проснулись угрюмые, до предела уставшие, стали Зевса кормить, говоря ошипшими голосами:

— Кушай, Зява, молочко-вкуснячкб!

Мурке они тоже налили, но молча, и животное поняло, что есть разница между справедливостью и любовью. Мурка подошла и укусила Зевса за хвост.

Маша схватила пластинку, начала ее гнуть, размягчив. Она все делала отшлифованными движениями, так что пламя газа словно выполняло работу подмастерья. Поверху пустила какой-то перепончатый гребень, вроде хребта дракона, в мягкую плоскость воткнула пучки мелких гвоздей. Потом все покрасила в грязно-серый цвет метели с белыми прожилками вихрей.

— Это сталинский лагерь,— сказала она маме.— Мы там не ночевали, нечистое место — надо будет его освятить.

— Видимо, ваше поколение уже не будет голосовать за коммунистов... хорошо!

Мама вся была в волнениях по поводу выборов президента, она хотела включить телевизор, но сели батарейки у пульта. Мама сначала их мыла с мылом и сушила на батарее — есть такой рецепт. Телевизор поработал минуту, и снова пульт отключился, нельзя программу переменить. Мама стучала батарейками друг о друга — тоже есть такой рецепт. Рецепт не помог, и мама села расписывать тарелку — портрет Ельцина запустить придумала, может, это будет ее вклад в демократию...

В тишине Маша решила пришить пуговицу к джинсам: в последний вечер у костра она так смеялась, что пуговица отлетела. И тут послышались звуки большого толковища людей и зверей, разворачивавшегося во дворе. Таисия выглянула в окно: люди стояли с радостно-нервным видом, а собаки радостно общались друг с другом (это были все знакомые собаки — с Комсомольского проспекта, Таисия и Вероника с ними часто выгуливали раньше Мартика). Над всем этим сборищем витала тень мероприятия, рассыпая искры общения. Заря-

женные всем этим Маша и Таисия выбежали во двор. К ним победительно кинулся Мартик: «У нас радость, радость огромная!» Наташка подошла и спросила:

— Дядю Гошу видели? Ранило легко в Чечне! Очень легко! Он вернулся домой вчера... на костылях, но ранен очень легко!

Девочки сели возле своего подъезда вместе со старушками — солидно так, как бы безотносительно ко всему, что разворачивалось у дома напротив. Но плечо, бок, щека, обращенные в ту сторону, превратились в сплошную воспринимающую плоскость.

Дядя Гоша, пьяный своей не отнятой в Чечне жизнью, выходил из подъезда с большим подносом. Он приговаривал:

— Ну, Мартик, счас дадим шороху! Неудобняк получается: с костылем и с подносом, но счас...

Знакомые собачники затолкались вокруг, принимая угощение. Их лица и тела, здоровые от прогулок по утрам с собаками, излучали честно выполнимый долг. В выражении этих лиц, как поняла Таисия, было что-то от мечты об отдельно взятой планете, населенной четвероногими друзьями и их хозяевами. Ну, может, должна там еще жить пора жертвенных существ для веселья зубов собачьих.

— Кто у нас во дворе хорошие люди? Да те, у кого собакам хорошо живется! — говорил дядя Гоша, вынимая из кармана брюк бутылку вина.

Вышли Вероника, ее мама Изольда, а бабушка Генриетта несла коробку с тортом. Маша и Таисия привыкли уже, что Вероника вычеркивает их из поля своего зрения, и вздрогнули, когда она закричала:

— У нас день рождения Мартика — идите есть торт! Маша, Тася!

Вероника почувствовала самой своей серединой, что за сегодняшнее перемирие с сестрами ей ничего не будет. Ведь Мартику исполняется два года!

Превратившись в достойных светских девиц, Маша с Таисией медленно подошли к скоплению живых тел, издающих разнообразные звуки:

— Ты своего ротвяка к астрологу своди! Я водил Хелму, сказали, что подверженность влиянию этого... Меркулия... Меркурия...

— Мочу Алисочки на анализ только в человечью больницу ношу!.. Даю двадцать баксов — хорошо делают...

— Гав-гав!

— Двадцать — это многовато...

— Р-р-р...

— Подставку под собачью миску мы сделали из красного дерева!

— А мы зrazy особые готовим Хелме!

— Ску-у, ску-у, ску-у-у-у...

Разевая чистые красные пасти, шерстистые друзья изо всех сил общались друг с другом и с людьми. Шенок-боксер (был чудо — мордочка вся в морщинах, словно маленький Сократик, как говорил папа Таисии), вырос таким злым, что один раз чуть не покусал папу Таисии (и тогда тот сказал, что у такого Сократа Платон бы ни за что не стал обучаться философии!); сейчас он словно мучительно решал: кто здесь главный? Ему хотелось стать главным, но «були» — две горбоносых увесистых крысы — оглядывали его взглядом новых русских: «Мы главные».

— Ну, что новенького? — спросила Вероника у сестер, выделяя им по большому куску торта.

— Да вот я решила, — отвечала Таисия, — вырасту — тоже свою фирму открою... Собаку куплю!

На самом деле Вероника понимала, что не будет у Таисии никакой фирмы, но она хотя бы соблюдает правила игры и говорит о том же, о чем говорят все дети двора. И то хорошо.

На торте были изображены имя Мартика и большая цифра «2». Так Вероника дала Маше кусок с буквой «М», а Таисии — с буквой «Т». И Таисия подумала: а какую букву она выдаст Алеше? Букву «А»? И точно: кусок с буквой «А» Вероника никому не выдала. Ждала. И Таисия тоже с тревогой ждала. Но Загроженок нигде не было. Обычно вечером он выходил покурить во двор с обычным снисходительным видом насчет собравшихся. Но сегодня не видать его сухой фигуры.

— Подходите, берите! — любезничала со старушками на скамейке Изольда, дочь Генриетты.

И Генриетта живо двигала лицом и руками, приглашая полакомиться за здоровье Мартика.

— Очень вкусно,— сказала Таисия, продолжая высматривать Алешу.

Маша, хотя ей ничего не было сказано сестрой, все видела внутри нее ясно, будто прочитала в подробной глуповатой книге, не становящейся от своей глуposti менее интересной.

У Таисии не было радости от временного перемирия с Вероникой, ведь завтра... прощайте снова! Об этом говорил ее маслянистый взгляд. «Не каждый день из Чечни возвращаются люди!»

Уже звучали предложения добавить — купить в киоске и... Но псы были дисциплинирующей силой: кому надо догулять, кому особый ужин приготовить,— так что все распрощались, договорившись встретиться таким же образом в день рождения Хелмы. Таисия вспомнила, как они с Вероникой начали выводить Мартика на Комсомольский проспект. Он сильно боялся взрослых собак, так что слюна беспрепятственно шла изо рта, и когда он мотал головой, то слюна веревкой словно обматывала всю его мордочку, и Вероника каждую минуту вытирала его специальным платком. Но и тогда уже любимицей Мартика была Хелма. И сейчас его от нее не оторвать — так и рвется вслед. А Таисия уже твердо решила отказать Алеше: не будет она вести их хозяйство! Не готова она к семейной жизни... Но нужно увидеться и все разъяснить...

Вечером, когда Таисия мучила немецкие глаголы, а Маша выгибала над газом из грампластины нос Гоголя, позвонили в дверь. Это была Вероника. Таисия сразу почувствовала, что случилось что-то с Алешей, хотя потом не могла понять, почему она это почувствовала.

— К папе заезжал его друг из отделения милиции, нашего... Там арестован Загроженко!

Говорит это Вероника, а вид у нее плачевный: ведь для нее Алеша становился уже не чужим, а вымечтанным партнером-челноком, но теперь... Порог квартиры Вероника так и не переступила, а когда уходила, то снисходительный ее взгляд говорил Таисии: «Получила?» Это уже завтрашняя Вероника, аккуратно уклоняющаяся от касаний с секундхэндным человеком.

Поздний вечер в светлых пропешинках ночной уральской зари очень помогал успокоиться. Но слезы лились сами. Таисия села писать в дневник, но не вывела ни одного слова... Родители были на высоте на сей раз. Они сказали, что знают одного человека, который в детстве сидел в колонии, а теперь доктор наук! Потом они пошли узнать, где Лизка, но ее, оказывается, уже инспектор по делам несовершеннолетних увезла в детдом. Или в детприемник. Никто точно не знал.

А случилось вот что. Алеша шел по Комсомольскому проспекту. Он только что был на сходняке мойщиков, они вновь распределяли участки. Количество машин, особенно иномарок, увеличивалось. И теснины уличного движения выдавливали машинный поток на ранее захолустные улицы. Одним мойщикам становится выгодно, а другим завидно. Приходится собирать такие съезды, чтобы не было войн у пацанов. Тем, кто зарабатывает своим трудом, не пристало воевать по пустыкам!..

От белой ночи лицо подошедшего подростка было словно покрыто прозрачной грязью:

— Без базара, Леха,— сказал он,— надломим ларек — сигнализации на нем вообще ёк!

Вавилон, одноклассник, но бывший, он уже два года как бросил школу, говорил так, словно боялся отказа, вплетал одно слово в другое. А в Алеше что-то на уровне журнала «Родина» глухо жаловалось, что мать после реанимации будет нуждаться в уходе. Но... потом ведь она опять примется за старое, и сколько бы бабок он не ковал, мать будет волочиться за ним через всю улицу жизни...

Леша потянулся, томя Вавилона, причем лунная тень превратила его движение в первобытный обряд. Одно только томило Загроженко: шли они вскрывать несчастливый ларек на углу проспекта и улицы Чкалова, где зимой была

убита и закопана рядом в сугроб ночная продавщица. Ее зловещее, жаждущее отмщения присутствие ощущалось то тут, то там.

К облегчению Загроженко, Вавилон вдруг взял наискось через бульвар.

— На Хасана фонари сейчас отключили,— говорил Вавилон.— Хозяин ларька жадный, опять вчера от него ушла ночная продавщица.

Слова бывшего одноклассника звучали кругло и успокаивающе, а как принялись за дело, Алеше все казалось, что наклонившийся над ними старый дом жестких сталинских линий кишит многоглавой бессонницей. Стон выдираемых петель донесся, кажется, аж до Башни Смерти — гнездилища УВД. На что они надеялись: что пачки денег будут везде раскиданы?! Вавилон захватил из дома наволочки, в них вяло набрали без разбору (внутри было темно, а о фонарике не догадались позаботиться) шоколадок, курева, каких-то бутылок, чтобы потом можно было продать их алкашне. Ничего не мешало, и все замолчало вокруг, но это было самое неприятное. Вышли, неся на плечах по две дрябло набитых наволочки. Самые алмазные мечты Вавилона выродились в усталый марш мимо предутренних домов. И надо же — в это время в милицейской машине оказалось еще несколько литров бензина, и решили сделать еще один кружок. И увидели две подростковых фигуры с узлами. А мертвая продавщица тоже продолжала свой незримый патрульный облет.

В участке шла бесконечная ночная работа. Сосредоточенные милиционеры ходили со своими подопечными, устало, незло охаживая их иногда по шеем и плечам. Вавилон несколько раз принимался рыдать, стараясь разжалобить, потом шептал Алеше, что постарается подкупить своего мильтона... И тут Алеша увидел Димона, того самого, что ходил раньше часто к Александре, сестре Таисии...

В эту же самую ночь у Димона было патрулирование по Свердловскому району. Их узик въехал во двор и затаился. Напарник шепнул шоферу: «Будь!», и они из-за угла дома на улице Пушкина стали наблюдать за проезжей частью. Димон раньше слышал по рации: есть звонок — посреди улицы Пушкина лежит труп мужчины. И тут же он увидел, как к трупу подъехала милицейская машина.

— Это из Ленинского района. Наши районы... граница по улице Пушкина,— терпеливо втолковывал сержант, у которого сердце закипало от раздражения на контуженного Димона.— Сам смотри!

Сначала два обесцвеченных луной и ночной зарей милиционера ходили взад-вперед по проезжей части, видимо, желая получить указание от великого поэта Пушкина. Затем они перекатили тело мужчины через невидимую линию. Как кукла, наполненная тяжелой жидкостью, терпеливо кувыркалось тело. В голове у Димона однообразно вспыхивало: «Пропали медведи!» Только сейчас он понял, что никогда не выйдет за него Александра, что никогда ему не будет в жизни безопасно и уютно!

— Здравствуй, Петя! — сказал сержант Мартемьянов, выходя на дорогу. Он выглядел очень довольным, и Димон тоже почему-то стал спокойнее.— Что же ты нашему району статистику портишь, бля?!

— А на шестьдесят процентов тело было на вашей стороне,— нисколько не смутился Петя.— Я только окончательно высветил... просветлил ситуацию! Статистику нашего района мы поганить тоже... знаешь... не дадим!

Когда Мартемьянов и Димон приехали в участок, Алеша думал о Таисии, что она теперь подумает... Он не знал, что о ней же вспомнил в эти минуты Димон: «Не пропали медведи — растут в той семье еще девочки... Таисия очень хорошая будет... жена...»

«Ну что, дневник! Посадили нашего Алешу! Папа говорит, что чувство стыда за мать толкало... к воровству. Или к другому... Папа все по Фрейду: Алеша хотел сменить это чувство. Он лучше будет теперь стыдиться, что украл... чем матери.

Не верю я в этого Фрейда! На выпускном вечере была дискотека. Алеша хотел со мной танцевать. Заиграли «медляк» (медленный танец). Он меня пригласил. А я отказалась. Просто мне нужно было сходить в одно место. Я ни в чем не виновата. Так Алеша стал сразу со зла исчеркивать все плакаты веселые, которые висели у нас на празднике. Когда я вернулась в класс, девчонки

мне зашептали: «Скорее соглашайся на танец, а то он все испортит, весь праздник». Такой он мог быть раздражительный!.. Наверное, что-то его сильно раздражало, и он назло пошел воровать...»

Мама рассказывала свой сон:

— Будто мы красим небо — оно же наш потолок. Но не потолок, а небо! Белила такие, как шпакрил — темно-сиреневато-сероватые. И мы белим ведь всей семьей! Вот такой круг выбелили и видим, что ракеты (а в Чечне все война) не проходят сквозь этот выбеленный нами кусок неба! И мы понимаем, что Бог услышал наши молитвы, что войне скоро конец...

— По-моему, что-то у тебя сгорело на кухне, дорогая! — сказал папа. — Все стремишься мир переустроить, а на кухне еда в это время пригорает...

Мама пошла на кухню: там ничего не стояло на огне вообще! Тогда стали принохиваться и поняли, что дым и запах идут с улицы. Выглянули в окно: дом напротив весь в дыму.

— Пожар! — закричала мама. — Девочки, бегите узнайте, вызвали пожарных или нет! Если что — сами по ноль-один звоните!

«Ну что, дневник, сгорела квартира Вероники! Она спасала Мартика и так измазалась в саже, что пришла к нам и просит: «Дайте вашей одежды переодеться!» Мы, конечно, сразу дали ей платье мое! Из сэкондхэнда, но она не поморщилась даже! Вот так: дружба — это то сокровище, которое не может уничтожить пожар, так ведь, дневник?

Конечно, ты скажешь: скоро Вероника, ее мама Изольда и бабушка Генриетта снова накопят много денег и запретят нам к ним подходить... Ты прав, но... как оптимист оптимисту я тебе скажу вот что: пожар ведь может случиться в любое время!»

На этот раз мама случайно заглянула в дневник дочери и вся вспыхнула: что же это за подлость такая! Сгорела не квартира Вероники, а дочь пишет... словно она желает восстановления дружбы любой ценой! Это плохо: **любой ценой!** Мама закричала: «Грех-то какой, доченька моя! Что ж ты написала?! Слова ведь имеют такое свойство — сбываться. Ты накликать беду хотела? Даже если не хотела, то... накликать можно запросто».

Папа включился тотчас в педагогическую струю: по-французски «слово» — «пароль», пароль! Слово такой отзыв может в жизни вызвать, что!.. Конечно, я понимаю, ты думала, что Вероника после пожара будет добрее, но поверь: они бы еще больше стали сил тратить на то, чтоб быстро восстановить прежний уровень богатства... еще дороже бы продавали вещи...

— Какой ужас, — повторяла тихо мама Таисии. — Мои дети... чтобы Таисия так могла написать: пожелать злое... Боже мой!

Таисия в смятении чувств хотела выйти и закопать дневник, спрятала его под футболку, но чувствовала, как дневник жег ей кожу. Он там лежит, такой доверчивый, и не знает, что его ждет!.. Как же быть? Надо, чтоб родители ничего не знали... Она выбежала на балкон и сбросила: потом, мол, выйду и закопаю. На том месте, где он упал, началось мелкое мерцание. Таисия заметила, как приподнялись и взлетели вертолетики кленовых семян. Или показалось? Но в самом деле: этот воздух, который взбаламутил дневник, был последней каплей, которой не хватало для зарождения кругового ветра. Пока Таисия сбегала вниз с четвертого этажа, вспоминала, как летел ее дневник, кувыркаясь и перелистывая сам себя, как бы просматривая на прощание текст... или предлагая себя всем? всему свету свои страницы, чтобы вычитали из них некое название птицы и бабочки, стрекозы и мухи, осы и шмели, чтобы запомнили его навсегда... Но лишь пара неграмотных стрекоз равнодушно пролетела мимо, и в их множественных глазах раздробились изображения букв... Пока она так вспоминала, уже начали в том месте подниматься и опускаться мертвые бабочки, сухие листья прошлогодней зелени, с каждым разом все выше и выше, и вот уже поднялся маленький серый хобот, который хотел схватить дневник, но тот сопротивлялся всеми страницами. Таисия намеревалась успеть схватить свое сокровище и закопать рядом с Куликом, но... хотя дневник и отмахивался всеми страницами, отказываясь от предложения ветра попутешествовать, хобот урагана усилил свое всасывание, и дневник уже прыгал на спине обложки, едва

удерживаясь от полета... Таисия подбежала и протянула руку, чтобы схватить, но в этот миг дневник уже захлопал своими крыльями-страницами, сделал несколько переворотов, показав высший пилотаж, и начал взбираться по невидимой спирали...

Таисия вспомнила: если внутрь вихря попадет тело, оно может распасться. А дневник уже летел от теплотрассы по улице Чкалова. Хлопали двери подъездов, зазвенел лист на крыше, но не отпал и не пустился в путешествие, ибо не пришло еще его время — не все гвозди прогнили... Таисия бежала за дневником — вдруг земля подкосилась и отделилась от ног, потом пошла вбок, после — вниз, ее закрутило... Но это не смутило дневник: он летел, переворачиваясь вокруг своей оси, как лихой голубь, и радостно поднимался еще выше. Она изо всех сил перебирала ногами, но не смогла его догнать. Скоро он исчез из поля зрения своей хозяйки...

— Сейчас анекдот расскажу! — крикнул Петр, с треском врываясь в квартиру. — Слышали: победил Ельцин!.. Про новых русских анекдот. Сидят двое, выпивают, один, который гость, спрашивает: чего это видак крутит одну кассету — «Одиссею капитана Кусто»? «Это не Кусто, это аквариум».

И что же? Разве хоть кто-нибудь из семьи показал движением бровей, что слышал?! Папа тихонько бряцал на гитаре, мама действовала на кухне, а Таисия — вечная зубрилка — вообще будто спряталась за обложкой «Истории мировых цивилизаций». Одна Маша поняла брата: равнодушие — сплошное равнодушие к анекдотам. Наконец папа отложил гитару, вздохнул и сказал:

— Все же неплохо, что анекдоты о новых русских появляются в изобилии. Была, была зловещая пауза в производстве фольклора, уж не знал, что и думать...

— Что же хорошего, папа? — удивилась Таисия. — Новых русских дурачка-ми представляют в анекдотах, им это не понравится...

— В сказках Иванушка — тоже дурачок. На Руси дурачков любили! Значит, и новых русских стараются полюбить. Значит, что?

— Что? — не поняла вывода Маша.

— Значит, революции не будет! — догадался Петр. — Не будут их жечь и резать, как в семнадцатом году жгли помещичьи усадьбы...

— Возьмем также средства массовой информации...

Папа явно зарпортовался. Чтобы понизить траекторию его умственного полета, Маша вклинилась своим острым голоском:

— Но в жизни-то, папа, этих новых русских многие не любят!

Папа отвечал: миф — фольклор — анекдот — это и есть регулятор поведения! Не любят, но уже **хотят полюбить!** Отсюда и теплое, почти покровительственное отношение к ним, как к Ивану-дурачку...

Папа, похоже, уже писал вслух эссе по культурологии: подспудно народ хочет полюбить этих богачей противных, показывает в анекдотах: **какими не нужно им быть!** Миф регулирует поведение!

— Папа, папа, остановись, мы тут не поняли! — закричали девочки.

Папа привел остекленевшие глаза в человеческий вид, немного постоял посреди комнаты, видимо, соображая, куда его занесло. Таисии даже захотелось поводить ладошкой перед его глазами.

«Революции не будет? — подумала она. — Так, запишем это сейчас в дневник, а потом проверим, будет или не будет. Прав папа или нет».

И тут она вспомнила, что дневника нет, он улетел неизвестно куда. «Эх, зря я его сбросила с балкона! Если б закопала, то сейчас бы могла выкопать, записать папины слова...»

— Анекдоты говорят о том, что нравственность русского, то есть... российского народа — жива! — продолжил папа. — Возьмем хотя бы СМИ! Что такое СМИ?..

Он говорил: «СМИ», «СМИ», а Таисии слышалось: змий. Какой змий?

— Не змий, а СМИ — средства массовой информации... они тоже стали на место фольклора. В сказке все начинается с недостачи, да? Ну, яблоки у царя в саду кто-то ворует, нужно послать сторожей, это «Конек-Горбунок»... Газеты и тиви наперебой нам про криминал: убийство, конечно, тоже недостача, правда? Надо искать преступника, как в сказке.

Петр прервал отца: а как же **чудесные, волшебные помощники?** В сказке напиток или яблоко, которое надо откусить... а в СМИ что?

Папа на секунду задумался.

— Ну, сами СМИ и есть волшебники: могут и собственное расследование вести, могут помочь, объявив, чтоб звонили по телефону, если кто что знает... Ну и, конечно, они регулируют наше поведение. И заметьте: даже писателей журналисты недолюбливают, как сказители народные тоже недолюбливали представителей культуры.

Таисия слушала папу, слушала дождь, который лил уже второй день, и у нее само появилось в голове стихотворение:

— Дождь льет, льет, льет,
Дождь льет, льет, льет,
И сильный поворот
Сделала машина...
Дождь льет, льет, льет.
Дождь льет, льет, льет,
И сильный поворот сделала Россия...

— Само появилось? — переспросила мама.— Ну, значит, ты в отца, пойдешь по филологической части.

— Только не надо много думать о политике, о выборах, господа,— сказал на это папа.— Сейчас само написалось про Россию, а потом, может, напишется про другое, более важное... Так я о фольклоре: заметили притчевые истории?

— Пап, ты меня любишь? — спросила Таисия вдруг.

— Что? Ты о чем? Да, конечно... люблю, а что? Я не то что-то сказал?

Просто папа улетал куда-то в холод словно, когда размышлял вот так. Нет, когда Таисия вырастет, она не поступит на филологический, а найдет литературно-ветеринарный институт! Обещала ведь Кулику, что лечить будет! Литературно-ветеринарный с... элементами гитары! А тарелки? Она их будет распиливать в свободное время... Да, решено! Где же есть такой институт? Ну уж где-нибудь да есть же, подумала Таисия.

Папа Таисии ушел заваривать чай и подумал в одиночестве: не Бог ведь какие гениальности изрекаю, а уже детям показалось, что я не с ними, что забыл в это время любить Таисию... И вдруг его осенило: зря напали тогда на нее за красочное описание пожара якобы в квартире Вероники!.. Бальзака тоже в жизни не очень любили женщины, зато его героев в романах сильно любят!.. Таисия повела себя, как писатель: в жизни у Вероники не случилось пожара, а в дневнике случился. Не надо быть Фрейдом, чтобы это понять.

С тех пор прошел почти год. Алеша Загроженко недавно написал Таисии из колонии очередное письмо: по баллам он обогнал всех, и за это его досрочно выпустят на свободу. «Я мечтаю день и ночь об этом»,— пишет Алеша. Как Кювье по одной кости восстанавливал все лицо (тело), так и по одной этой фразе можно рискнуть представить его, Алешу, будущее. Но, к счастью, будущее не нуждается в этом, оно придет само собой.



Три стихотворения

* * *

Так тонко, так чудно, так мудро
И вполоборота в ночи
Просторное звездное утро —
Как жизни вселенской зачин.

Светает, и жаль его: канет...
И я постигаю, что «я» —
Морщинка в узорчатой ткани
Божественного бытия.

* * *

Дуб шелестит
не опавшей за зиму листвой,
заячий след,
зеркальца — синевеющий наст,
и надо мной и ветвями
веселый простор голубой
смотрит пустыми очами
на речку, на лес,
на всех нас.

Дикие гуси канадские
плавают в полынье,
знает меня и овчарку
весь настороженный слет,

хочет охотника видеть
этот народец во мне,
тихо гогочут
и вылезают на лед.

Мерзлой калины
поклевана птицами гроздь,
там можжевелник,
а на берегу — краснотал;
вот и в природе гармонии нет —
все мы врозь,
но не о том я
из Песни Небесной узнал.

* * *

Зыбка наша память, но остов-то забываем,
Забытые тени из прошлого мы вызываем —
Волшебницы-гостьи из детства мелькнуло лицо,
Еще две-три мили — а там и золотое крыльцо.

Очнулся — рука на руле, чуть тусклее лазурь.
Легла меж полей кукурузных дорога, что скатерть.
Мы едем на запад, и вся мимоезжая дурь,
Должно быть, от солнца, слепящего нас на закате.

Все дальше на запад, просторный закат отпылал,
И небо меняет свои светлокрылые краски.
Оттуда на память сверкнул нам опал или лал
В неброский пейзаж кукурузной дорожной Небраски.

Константин ВАНШЕНКИН

Простительные преступления

ПОВЕСТВОВАНИЕ, СОСТОЯЩЕЕ
ИЗ НЕСКОЛЬКИХ ИСТОРИЙ

В жизни существуют такие преступления — они наказуемы по закону и порою безжалостно, но по-человечески они простительны и почти или даже совсем не оставляют угрызений совести.

1. ЛИЦО ОТЦА

Мы жили в заводском поселке на третьем этаже четырехэтажного дома в общей квартире. Соседей не помню, наверное, потому, что у них не было детей. Комнату мы занимали большую — тридцать метров. Правда, квадратных. Но я этого не знал и не учитывал. Когда мать говорила кому-нибудь: «В нашей комнате тридцать метров», — я недоумевал и не верил. У нас имелся желтый складной метр, и однажды, развернув его и поочередно передвигая по полу, я измерил комнату в длину. Получилось без малого семь метров. В ширину — еще меньше. Потом отец объяснил мне, но разочарование осталось.

Комната была обставлена скудно, мы же часто переезжали. Я спал на детской никелированной кровати с панцирной сеткой. Впрочем, я уже вырастал из нее и иногда, потягиваясь, просовывал ноги сквозь стальные прутья спинки. Хотя я еще не ходил в школу, — тогда принимали с восьми. Вечером мою кровать загораживали ширмой, чтобы мне не мешал свет. Я отключался сразу.

Отец спал на узкой длинной кушетке, а мать на деревянной казенной кровати с прибитой в изножье табельной жестяной биркой. Изредка, к моему удивлению, я обнаруживал утром отца и мать спящими вместе. Особенно по выходным, когда отец вставал позже. Тогда ведь не было воскресений, а были выходные, всегда по одним и тем же числам: 6, 12, 18, 24 и 30. А про воскресенья знали только старушки, как сейчас про престольные праздники.

Был еще четырехугольный стол, за которым мы ели, а отец часто занимался (но читал он обычно, лежа на спине, на своей кушетке), и четыре стула — тоже с жестяными овальными бирками.

А вот шкафа-гардероба не было и даже вешалки, вместо них в торцовую стену было вбито несколько толстых гвоздей, а чтобы одежда не пачкалась о побелку, место под ними обклеивалось до полу газетами. Здесь висели пальто — у матери перелицованное, с пуговицами по правой стороне, как на мужском, — и «выходной» коричневый отцовский костюм, сшитый лет десять назад и то выходящий из моды, то возвращающийся в нее.

Остальные вещи лежали в наспех сбитом дощатом ящике — прежде всего несколько легких платьев матери, которые она время от времени перекрашивала, и я принимал их за новые. Тогда продавались для этой цели порошковые краски в бумажных пакетиках, но очень опасно было изменившие цвет платья потом стирать — только в холодной воде и еще с дополнительными предосторожностями. Я вспомнил об этом много лет спустя, когда мать начала красить уже не платье, а волосы...

А дополнительно раздвигали комнату два широких окна.

Завод стоял за железнодорожным полотном и был хорошо виден, особенно по вечерам, когда ярко и ровно освещались его корпуса. Отец рано утром уходил в завод и целый день проводил в заводе. Кругом все говорили только так, и меня резануло, когда я впервые услышал: «на завод», «на заводе».

Я любил наблюдать, как люди идут на работу и как этот все густеющий поток перетекает через железнодорожный путь. Так же они и возвращались: первые по одиночке и отдельными группками, а вскоре уже сплошным. Мне часто удавалось различить отца — по особой его походке. Он шел-шел и вдруг делал правой ногой еле заметный финт, будто хотел кого-то обвести на футбольном поле. Время от времени общее движение пресекалось, чтобы пропустить поезд. Составы шли к Москве или от нее — пригородные паровики, товарняк, реже — дальние скорые, где на каждом вагоне мелькала, если стоять вблизи, надпись — откуда они, а раз в неделю — преодолевавший всю страну роскошный экспресс.

Я всегда немного тревожился: как бы отец, задумавшись, не попал под поезд.

А мать, как все хозяйки, часто моталась в Москву или здесь, в округе, шастала по магазинам и рыночкам: время было голодное, карточки — их отменили только в тридцать пятом.

Одно из двух главных впечатлений. Дирижабли. Они летали почти каждый день и очень низко. К ним привыкли, но на них никогда не надоедало смотреть. Издали они были похожи на серебристые кабачки, которые тяжело валялись на хозяйской грядке, когда мы постоянно жили на даче. Но вот дирижабли приближались, укрупнялись, на блестящей оболочке можно было прочесть — я уже умел это — их имена: «Клим Ворошилов» или «Вячеслав Молотов». Порой была слышна работа их двигателей. Дирижабли почти заглядывали в окна. Откуда они брались? Отец объяснил, что поблизости расположены эллинги, крытые места их стоянки, и облеты дирижаблями нашего поселка — это, наверное, что-то вроде их небольших тренировок. Он многое знал, мой отец.

Особенно красивы они были в начале вечера, когда уютно освещались изнутри их удлинённые подбрюшные гондолы, и там хорошо были видны пилоты, а может быть, и пассажиры.

Иногда они бросали вниз густой прожекторный свет, проходивший по дворам и стенам домов и так же неожиданно исчезающий. Однажды исчезли и они сами. А возможно, это мы же переехали оттуда.

С самого утра я уже рвался на улицу. Да и днем, понятно, тоже. Тогда часто выходили во двор, гулять — с куском. Обычно это был кусок хлеба, иногда сдобренный горчичкой или намазанный повидлом, порой хлеб с огурцом или яблоко. Чем же это объяснялось? Скорей, скорей! — не дотерпеть, не досидеть до игры, до приятелей? Но ведь так выходили и когда никого внизу не было — спокойно, не торопясь. А может быть, здесь присутствовало и желание родителей показать, что в доме хоть малый, но достаток?

Когда отменились те довоенные карточки, меня часто посылали за хлебом. Хлеб продавали по большей части вразвес, не формовой, а подовый. Утиные носики весов, черные гири и гирьки. И почти обязательно довесок, аппетитный, душистый, поджаристый, сунешь в рот и жуешь с ответной обильной слюной, пока идешь к дому. Теперь у детей этого наслаждения нет — только мороженое или жвачка.

С другой стороны дома, совсем рядом, был пруд. В середине лета он почти пересыхал, но весной наполнялся талой, а дождливой осенью обильной небесной влагой. Зимой он превращался в каток — тогда стояли крепкие, звонкие зимы. Со льда регулярно сметали снег, а вокруг даже светило несколько фонарей, так что кататься можно было и вечером.

Впрочем, каток не пустовал никогда. У меня, как и у большинства таких же, были обыденные «снегурочки» с загнутыми беспечно носами. Я прикручивал коньки веревками к валенкам и носился в общей кутерьме. Катались там и взрослые.

Я упоминал уже об одном из двух тогдашних ярких впечатлений. И вот — второе. Там постоянно, особенно по выходным, каталась высокая миловидная девушка. Было известно, что это учительница физкультуры. Здорово она каталась. Поражали ботинки с настоящими острыми «ножами», или «норвегами». А сама она была не в мешковатых шароварах, а в плотно облегающих черных свитере и трико. Она плавно двигалась по большому кругу, по самому краю, низко нагнувшись, закинув одну руку на поясницу и ритмично отмахивая другой. Она, казалось, не прилагала никаких усилий, только легко выбрасывала вперед, то один, то другой сверкающий конек, и ее несло над льдом.

Я непроизвольно останавливался и замороженно смотрел на нее, как иногда смотрят мальчишки на молодых красивых женщин. Я не думал при этом: вот я вырасту... Или: неужели такими же станут теперешние голенастые девчонки, неуклюже проезжающие мимо на прямых ногах и ежеминутно шлепающиеся на попку?.. Я просто смотрел на нее. Я только из-за нее мечтал поскорее сделаться школьником.

Я замечал не раз, как замедляют или приостанавливают шаг проходящие мимо мужчины и задумчиво смотрят на нее. Было замечательно, что она долго не уходила с катка.

В тот день я вышел без особой охоты, скорее по привычке. Толкнулся и проехал метров десять на одном коньке, но это не доставило удовольствия. Мне стало

холодно. Я повернул обратно и вскоре уже шел к дому. «Снегурки» вонзались в утоптанную дорожку, и идти было нелегко. Самое странное, что это не удивляло. В подъезде у меня не хватило сил снять коньки с валенок и нести их в руках. Я поднялся прямо в коньках, цепляясь, как пьяный, за перила.

Квартира была общая, и днем наружная дверь изнутри не запиралась. Я прошел по коридору в нашу комнату, сбросил валенки с коньками и шубейку прямо на пол, лег на свою кровать и закрыл глаза. Мать, наверное, была на кухне. Вот она вошла.

— Ты что? — спросила она добродушным будничным тоном. — Устал?..

Она села на край моей кровати и только тут встревожилась. Коснулась моего лба и почти отдернула руку, будто обожглась. Она сунула мне под мышку ледяную свечку термометра и, как мне показалось, тут же вынула ее.

— Не может быть! Перемерь!.. — Она суетливо сбивала ртуть и снова ставила градусник, бормоча: — Нужно доктора, доктора!..

Я остался один. Я, уже раздетый, лежал в постели и кого-то ждал. Прямо передо мной на стене висели наши часы. Обычно я обращал на них внимание, только когда просыпался. А сейчас заинтересовался и стал смотреть пристально. Часовая стрелка двигалась так медленно, что наблюдать за ней не имело смысла. Но минутная жила очень напряженно. Вот она незаметно спустилась по правому выражу циферблата и оказалась на шестерке. То есть часы показывали ровно половину. Какое-то? Да не важно! Ну второго...

Потом минутная полезла влево, вверх. Это было ей очень трудно. Она ползла страшно медленно и на девятке совершенно выдохлась, а ведь она преодолела лишь половину подъема. Она почти остановилась, но нашла в себе силы и добралась до двенадцати. Ну а дальше будет легче — вниз, под уклон. Но ведь впереди опять му-чительный подъем... Поднималась и температура.

Потом меня поили из чайничка чем-то отвлеченно вкусным. Мать разговаривала с незнакомым человеком и тихо плакала. За окнами было темно. Отец с топори-ком принес в кастрюльке лед.

— С катка! — объяснил он мне, подмигивая.

У нас был плоский резиновый пузырь оранжевого цвета с черной отвинчива-ющейся пробкой посередине. Туда набили льда и положили пузырь мне на лоб.

— Лучше?..

Отец предложил поехать покататься на лошади: есть такая возможность. Это показалось заманчивым, и я согласился. Меня начали одевать, очень медленно, ведь я был почти не в состоянии помочь.

Наконец, когда я оказался уже в валенках и в шубейке, меня с головой укрыли одеялом. Я запротестовал: а как же смотреть? Отец возразил: на что смотреть? Все равно темно. Главное — ехать... Это показалось убедительным.

Меня снесли вниз и уже в санях продолжали дополнительно укутывать. Сани мчались по укатанной дороге, иногда их слегка заносило или явственно поднимало на ухабе. Меня то бил озноб, и я стучал зубами, то обдавало нестерпимым жаром. Временами я проваливался куда-то, уже без саней. Съехали с хорошей дороги, лошадь пошла медленнее, труднее, потом опять рысцой и вдруг остановилась. Чей-то близкий голос сказал: «Приехали!» — и я решил, что мы опять около нашего дома.

Отец привычно взял меня на руки и понес — и тут мы оказались в длинном ко-ридоре. С меня сбросили одеяла, и я с удивлением увидел вдали каких-то мужчин в кальсонах. Быстро прошла женщина в длинной ночной рубашке, с чашкой в руке. Я не стал спрашивать, но почему-то подумал: «Больница».

Врач смотрел меня в маленькой комнате.

— Сейчас послушаем, — сказал он, но стал слушать не то, что я скажу, а то, что он мог услышать в моей груди через трубочку.

Смерили температуру. Он сказал:

— Ого!..

Я запомнил, что его зовут Алексей Петрович, к нему беспрерывно так обраща-лись — и его сестра, и моя мать. И еще врезалось неизвестно для чего прозвучавшее слово: рож а. Какая рожа? Чья? Это интересовало не только меня.

Мать:

— Алексей Петрович, но откуда, почему?..

Доктор:

— Сковырнул безобидный прыщик, и попала инфекция...

Мать:

— Но откуда она?..

Доктор:

— Этого добра вокруг сколько угодно...

Неприятная новость: меня оставляют в больнице. А матери — нельзя.

— У нас нет ни одной лишней койки.

— Я буду спать на стуле, сидя. Умоляю!..

Он разрешил. В дверь заглянул кучер с кнутом, недовольный задержкой отца.

Вы заметили? — отец за все время не произнес ни слова. Он потискал меня за плечи, поцеловал мать, сказал, что придет завтра, поклонился врачу и вышел.

Доктор велел остричь меня. Я ничуть не пожалел своих золотистых падающих кудрей, как и десять лет спустя — в военкомате.

Не помню, как я очутился в палате. Я уже терял сознание.

У меня оказалось рожистое воспаление лица и головы. Рожа. Но этого мало: в маленькой сельской больнице у меня обнаружили общее заражение крови. Это был смертельный номер — ведь тогда не существовало антибиотиков. Мне кололи только камфару — поддерживая работу сердца. Я оставался без сознания, но и сквозь пелену тело запомнило бесконечные укусы тонкой иголки. Я получил более двухсот уколов. А голову и лицо густо мазали черной ихтиоловой мазью. Я имел страшный вид. Мать рассказала мне потом, что голова моя распухла. Как может распухнуть голова? Ну не кости, конечно: между черепом и кожей накопилась жидкость, она и раздула голову вверх, как кувшин. Глаза затянуло огромными желтыми желваками, и непонятно было — есть ли они там вообще.

Мать поила меня из заварочного чайничка клюквенным морсом, засыпала, сидя на стуле, а порой, не выдержав, пыталась прикорнуть на полчаса у меня в ногах. Иногда, ночью, ей казалось, что мое сердце останавливается или остановилось, она, полуодетая, бежала через больничный двор — доктор жил рядом, во флигеле, — стучала в окно, кричала: «Алексей Петрович, он умирает!» — и врач приходил. Он находил мой едва ощутимый пульс, велел сделать еще укол камфары и удивленно говорил, имея в виду не себя и мать, а меня: «Боремся!..»

Некоторые женщины упрекали ее, а она сказала мне как-то впоследствии: «Одна мама стеснялась потревожить доктора ночью, и девочка у нее умерла. В той же палате. А я не такая...»

Я был без сознания три недели.

И вдруг температура стала постепенно снижаться, опадать опухоль. Прорвались желваки, и сквозь их ошметки и присохшие клочья черной мази на мать и доктора посмотрели очнувшиеся осмысленные глаза. Следом прорвалась на затылке и бесформенно осела наружная опухоль головы.

Меня продолжали колоть, это воспринималось особенно болезненно. Отец привозил морс, мандарины, шоколадки. Помню, мать трясущимися руками («да вы не так, не волнуйтесь», — говорит ей нянечка) протирает мое лицо остро пахнущей ватой. Помню, меня купают в цинковом корыте и свои тонкие руки и ноги. Мать вытирает меня, вот на мне длинная рубашка, мать берет меня на руки:

— Какой ты легонький!..

А потом я вижу за окном яркий снежный склон, ребятишек на санках, деревушку вдали. Спит глаза.

Вдруг мать говорит:

— Посмотри, папа приехал...

Она подносит меня к окну, и я вижу лицо отца. Чтобы достать до окна, он на чем-то стоит, держась за наличник, ему неудобно и плохо видно со света, он всматривается, растерянно улыбается, а по его лицу текут слезы... Ни раньше, ни потом я никогда не видел отца плачущим.

Уезжали домой мы уже не в санях, а в повозке. В полях, особенно по низинам, снег еще лежал, но дорога совсем протаяла.

После палатной тесноты комната казалась огромной. Я устал и сразу лег. Стрелки на часах меня уже не интересовали.

Жизнь вернулась, но она оказалась не совсем такой, как прежде. Исчезли дирижабли. Сколько я ни ждал, они не появлялись. Но, может быть, их и прежде не было и они просто приснились? Да нет, были, это я так.

Я снова часто стоял у окна, смотрел на идущих к заводу, опять иногда различал отца и опять за него боялся.

Однажды мать сказала:

— Завтра придет Алексей Петрович.

Я удивился:

— Откуда ты знаешь?

— Мы его пригласили.

Был выходной день. Доктор выглядел немного странно — как знакомый командир не в военной форме, а в гражданском костюме. Я его даже не сразу узнал. А ведь на нем всего-навсего не было белого халата. Но трубочка с собой была, он долго выслушивал меня и остался доволен:

— В футбол будешь играть...

Это он как в воду смотрел. Он еще не догадался, что я с парашютом буду прыгать.

А отцу и матери он сказал:

— Как это вы такого выродили?.. (Мать зарделась, польщенная.) Но худышка! — продолжал он. — Нужно бы его подкормить по возможности.

Мать:

— Бешеное питание?

Он улыбнулся:

— Хотя бы усиленное.

Я чувствовал, как это мучительно было слышать отцу. Он только и думал об этом. Но и доктор понимал, что мы живем скудно, едва только глянул, как примащивают на обклеенной газетами стене его пальто. Но сказать нужно было.

Сели к столу, тут и четвертый наш стул пригодился.

Была селедка с луком, отварная картошка, поджаренная колбаса и графинчик с настоянной на корочках янтарной водкой.

Раньше водку подавали на стол не в бутылках, а в графинах. И настойки, и чистую. Графины были в каждом доме, в них, перед тем как подать, переливали из бутылок. А бутылки выпускались не только пол-литровые и четвертинки, но и литровые, и даже трехлитровые (четверти). До войны они продавались в любом магазине. Реже встречались шкалики, «мерзавчики». Это уже был в некотором роде изыск. Самая ходовая была водка «хлебная» с колосьями на этикетке — как на гербе.

Еще в широком ходу были всякие наливки для женщин: «Вишневая» («Запеканка»), «Спотыкач» и прочие. Сухих вин и коньяков на российских столах почти не встречалось. Понятное дело, я стал это все замечать несколько позже.

Они налили и выпили по порядку: за меня, за доктора, еще за каждого из родителей. Отец вынул из картонной коробочки давнюю свою вещь — несколько сильных оптических стекол, укрепленных друг над другом на трех металлических ножках. Каждое стекло можно было, вращая, отдельно настраивать, и эффект получался поразительный, увеличение многократное. Отец извинился, что больше нечего подарить. Алексей Петрович восхитился: что вы, спасибо, это великолепная штука!

Отец сказал: на память, чтобы не забыли. Доктор: этот случай я и так не забуду... И сообщил, что написал обо мне и моей болезни в медицинский журнал и скоро статья выйдет. И статья действительно появилась. Это была первая рецензия, касающаяся моей скромной персоны. Алексей Петрович прислал экземпляр журнала и нам. Мать была разочарована, что я обозначен там только одной буквой. Но ведь речь шла не столько обо мне, сколько о редком случае в практике врача сельской больницы. Да и написана статья была специальным языком, сплошные термины. Когда я, вернувшись с войны, узнал, что журнал затерялся, это меня ничуть не огорчило.

А теперь я сидел со взрослыми за столом. Прежде я не любил сидеть с гостями. Но то прежде. Сейчас я не уходил из-за стола, потому что есть очень хотелось.

И отец придумал, как быть.

В середине двадцатых в Союзе была проведена денежная реформа. Вышли в оборот золотые советские червонцы. Правда, к этому времени их уже давно прибрали к рукам. Но серебряные целковые изредка еще попадались. Полтинники с изображенным на них мощным молотобойцем — чаще. А серебряная мелочь — гривенники, пятиалтынные и двугривенные — была в полном ходу, вместе с новыми, штампованными из обычного белого металла. То есть те и другие находились на равных правах. И отец придумал — выделять серебряные из общего потока.

Зачем? Недавно открылись ошеломившие голодную Москву магазины Торгсина Торговля с иностранцами. Там было все! Вещи тоже. Но прежде всего людей привлекала еда. Те, кому посчастливилось иметь за границей хоть чуть-чуть состоятельных родственников, могли использовать присланную валюту. А бедный городской народ понес кто ложечку, кто цепочку, кто колючку. Художественная ценность не учитывалась — только вес. Взамен выдавались особые бонны.

И отец придумал — выплавлять из серебряных монет чистое серебро. Из текущей через руки мелочи, в двух-трех случаях из десяти, а в одном-то уж точно, бросались в глаза серебряные монетки — тусклые среди блестящих. Впрочем, они замечались только теми, кто обращал внимание. Однако отец вскоре понял, что этого слишком мало, прииск себя не оправдывает. Прииск или риск? И то, и другое.

Он подключил нескольких верных московских друзей, и они откладывали для него попадавшиеся нужные монетки. А он выплавлял из них драгоценный металл. Голь на выдумку хитра — он нашел в заводе такую возможность и пригодные для этого тигли. К тому времени стала поощряться мода не уходить с работы точно по гудку, а еще оставаться, демонстрируя преданность делу. Он тоже подолгу задерживался, но производство шло у него медленно, выработка была низкой.

Я недавно поинтересовался у старого знакомого адвоката: существовала ли статья, по которой отца могли привлечь в случае его неудачи? Он задумался и ответил, что статьи такой не припоминает. Но предъявили бы обвинение по какой-нибудь другой: шутка ли, нанесение ущерба денежной системе страны в личных корыстных целях! А в чем, собственно, ущерб для системы? Он опять поразмышлял: ущерба вообще-то нету, но что, ты не знаешь, как это бывало?..

И вот отец изготовил первую порцию и послал с нею мать в город. Он очень

волновался, я, правда, этого не заметил, только удивился, когда он, уходя утром, вдруг поцеловал ее в лоб и сказал: «С Богом!»

Но моя мать не была бы моей матерью, если бы она тут же не рассказала мне все как есть. У нее просто зуд был какой-то. Показала она мне и сли то к, несколько раз произнеся это пиратское волнующее слово. Впрочем, он выглядел не так, как я ожидал. Я думал, что это будет аккуратный брусочек с выбитой на нем маркировкой, а он оказался похожим на несколько соединенных веточек, на часть маленького букета. Сейчас, когда я пишу это, он скорее напомнил бы мне пучок вереска.

Отговорившись, мать взяла сумки и поехала, веселая и беззаботная. Вернулась она во второй половине дня с полными сумками. Глаза ее сияли.

Она начала выгружать на клеенку такое, о чем я уже давно позабыл. Две длинные хрустящие булki с румяными гребешками вдоль спинки, целый батон ошеломительно пахнущей колбасы, серебристые пачки сливочного масла, полголовки сыра в красной искусственной коже и еще многое. Из другой сумки она подняла и тяжело поставила на стол большую, но изящную эмалированную кастрюлю с подвезанной под дно пестрой крышкой. Раньше у нас такой кастрюли не было.

— А теперь,— сказала мать,— закрой глаза и не подглядывай. Ну как?..

Необыкновенный запах наполнил комнату. Стойкий аромат цветущего луга, а может быть, и сада перебил все остальное. Я не буду говорить, что явственно и монотонно загудели рядом со мною тяжелые пчелы. Пусть другие так пишут. Мне было достаточно запаха.

— Ну смотри, смотри, уже можно...

Кастрюля была наполнена густым золотым медом. Я приблизил голову и полной грудью вдохнул его благоухание.

— А вот сливочное печенье,— продолжала мать.— Кажется, французское.

На каждом была рельефно выдавлена благостная корова.

— Бери ложку, намазывай. Я сейчас чай заварю...

Это было даже несколько утомительное разнообразие, требующее усилий выбора.

Потом мы сидели втроем и ужинали. Счастливая мать в своем крашеном платье, уже потерявшем цвет под мышками, была очень горда — не столько отцом, сколько собою. А отец не любил выставлять собственные подвиги. Просто он был доволен, что никто не поинтересовался, откуда у нее это изделие, но как всегда сдержан.

Однако мать отметила его неожиданной премией — выставила бутылку с тремя вишенками на этикетке и надписью на нерусском языке. Первый и последний раз я видел, чтобы она предлагала отцу выпить в отсутствие гостей. И сам отец, по-моему, удивился. Он изучил этикетку и небрежно заметил, что предпочитает брать более сильные крепости. Причем решительным штурмом. Но, как говорится, дареному коню...

Я ничего не понял. Не уверен, поняла ли мать. Она, между прочим, тоже выпила. Не знаю, как они, но я опьянел — от еды. Это был один из главных пиров моей жизни.

— Пойду лягу,— сказал я.

— Вытащим тебя, вытащим,— отвечал отец, подмигивая.

И вскоре вслед за первым он выпустил еще два серебряных вересковых пучка. Был долгий волшебный отрезок. Я много спал днем. Я был слаб, никуда не хотелось идти. Поем, попью чайку — и опять клонит в сон.

Потом, постепенно, я начал спускаться вниз. Не было не только катка и учительницы физкультуры, чертящей в своем черном трико правильные круги,— не было и пруда, он почти высох, обнажив на дне ил, грязь, ржавую проволоку и камни.

Зато мальчишки играли рядом в футбол, и я испытал потребность к ним присоединиться.

2. ТИРЛИ ТАНКИСТА

В этой главе будет много песен. Вы их, возможно, слышали, даже сами пели когда-то. Кое-кто их помнит и сейчас. Но ни в одном репертуарном сборнике или песеннике вы их не найдете.

До войны, как известно, не было телевидения. Радиоприемники тоже были редкостью. У большинства имелась точка, однако не на кухне, как сейчас, а у каждой семьи в комнате. И хотя слушали все одно и то же, существовало чувство собственной причастности к передаваемому. Это как привычка к своей мебели или посуде, которые тоже были у всех почти одинаковыми.

Ну и, конечно, великая роскошь того времени — патефон. Он воспринимался по значительности, почти как велосипед. Изо всех наших знакомых патефон был

только у одних. О, эти патефоны!.. Раздолбанные бороздки пластинок; тупящиеся иголки, не берущие или искажающие звук; боязнь перекрутить пружину. Но ведь из радиоточек и с патефонных дисков пришли и коснулись нашего слуха волнующие банальные романсы, жизнерадостные, а то и грустные песни. А еще с танцплощадок и из кино. Ни одна картина не обходилась тогда без песен.

Однако вот что поразительно! — слова многих из них неведомо кем доделывались, почти перелицовывались и тоже становились общеизвестными.

И тот, кто с песней по жизни шагает,
Тот никогда и нигде не пропадет,—

пелось в «Веселых ребятах». А мальчишки горланили:

Тот никогда под трамвай не попадет.

Это казалось остроумным, возможно, потому, что при переходе через улицу надлежало быть особенно внимательным, а не песни распевать.

Или «Катюша»:

Пусть он землю бережет родную,
А сосед Катюшу сбережет.

Эта явная двусмысленность слегка щекотала нервы. Действительно сбережет, или же это сказано иронически, с издевкой? Но другое измененное место:

Выходила, песню заводила
Про степного сизого орла,
Про того, которого любила,
Про того, которому дала,—

грубо переворачивало все, меняло весь ее образ и в то же время тайно нравилось предельной правдивостью и небывалой отвагой.

В связи с работой отца нам случалось жить в разных местах России, порой очень далеких, и везде были одинаковые песни. Это понятно. Но повсюду были одни и те же переделки, сейчас бы я сказал: пародии. А это каким образом? Их же по радио не разучивали!

Начало перекроя знаменитейшей песни «Широка страна моя родная» выглядело так:

Широка кровать моя стальная,
Много в ней подушек, простыней.
Приходи ко мне, моя родная,
Будем делать маленьких детей.

За этим заманчивым приглашением маячило нечто воистину неизведанное. Возможность участвовать в подобном совместном процессе тревожила и волновала. В самой песне было еще такое:

За столом никто у нас не лишний...

Неизвестный соавтор переправил здесь только одно словечко. Вместо «за» поставил «под»: «Под столом никто у нас не лишний».

Товарищи, да ведь это же кощунство! Тем более что следом шло про золотые буквы и «всенародный сталинский закон». Но что за нелепица! Люди пропадали, гибли по ложным обвинениям, а здесь такая громкая, не скрывающаяся агитация! Никто внимания не обращал? Как это могло быть? Конечно же, обращали.

Мой сосед и одноклассник, верный друг Леняка Затевахин любил военные песни. Например, «Три танкиста».

Над границей тучи ходят хмуро,
Край суровый тишиной объят.
На высоком берегу Амура
Часовые с палками стоят.

Вместо «часовые Родины». Ничего себе! Это что же, у нас армия палками вооружена? Да за это...

Он пел с удовольствием, упоенно дурачась:

Тирли танкиста, тирли веселых друга,
Экипаж соленых огурцов.

Почему огурцов, да еще соленых? Но казалось — смешно.

Во дворе нашего дома была волейбольная площадка. Настоящая, туго натянутая сетка. Для нас еще высококотовая. А взрослые играли с охотой, особенно в выходные. Играли навывлет, тут же составлялась новая команда — против победителей. И директор играл. А мой отец любил, когда случалась особенно высокая свеча, при-

нять мяч не руками, а на голову и под всеобщее одобрение переправить его на другую сторону.

Играли в основном мужчины, но иногда в команду вставала женщина, чья-нибудь старшая сестра или молодая мать. Мне это особенно нравилось.

Дом был заводской, все друг друга знали. Но одну квартиру занимали посторонние. Она была выделена для командиров НКВД — так это называлось. В двухкомнатной квартире жили две семьи, в каждой по мальчишке. Рудик и Адик. Рудольф и Адольф. Тогда регулярно попадались такие имена. Их отцы ходили в штатском, но порою и в форме, не скрывая, кто они. Уезжали по утрам на машине, а где была их работа, я не знал, хотя городок-то маленький.

Мы с Ленькой сидели раньше за одной партией. Но учителя считали, что мы много разговариваем. Леньку отсадили, и теперь он находился прямо передо мной. Я все время видел его затылок и воронкой растущие на макушке белобрысые волосы.

В школу мы, конечно, отправлялись всегда вместе. И эти двое иногда выходили с нами, так подгадывали, что ли? Мелюзга, не жалко. Мы, например, были в седьмом, они — в третьем или в четвертом.

Их держали строго. Рудик где-то потерял варежки и то ли побоялся признаться, то ли родители так наказали, но он ходил в мороз с голыми руками. Портфельчик его на шнуре болтался сзади, а пальто у него было почему-то без карманов, он, расстегнув нижние пуговицы, засовывал руки в карманы штанов и тем спасался. Потом, в раздевалке, растирал замерзшие ляжки и живот. Хорошо, что зима скоро кончилась.

Опять около дома играли в волейбол. Однажды мы с Ленькой устроились на лавочке и смотрели. На площадке был его отец. Мы тоже собирались пойти поиграть, но только в футбол, поблизости, на нашей полянке. Тут мать позвала меня пить чай. Мы договорились встретиться через пятнадцать минут.

В подъезд вошли Ленькин отец и отец Рудика, а следом за ними мы. Стали подниматься. И Ленька запел:

По военной дороге
Шел козел хромоногий,
Выбивался, бедняга, из сил.
Он зашел в рестораник,
Чекалдыкнул стаканчик...

Вдруг отец Рудика повернул голову и спросил миролюбиво:

— Это что же ты поешь?

Ленька растерялся:

— Песню.

— Песню? Но это песня о гражданской войне, о товарищах Буденном и Ворошилове, а не о козле. Согласен?

Ленька выдал:

— Все поют...

— Все? Не надо, Леня.

Тут Ленька с отцом свернули в свою квартиру, и Ленька крикнул мне:

— Сейчас выйду!

Он не вышел в тот вечер, что назавтра никак не объяснил.

Мне же эта сцена не очень понравилась, и я решил рассказать о ней отцу. Тот выслушал очень серьезно и сказал:

— Нужно быть осмотрительней.

Тянулось бесконечно длинное лето — с футболом, рекой, бездельем. Осенью — удивленные поглядывания друг на друга. Мальчишки загорели, похудели, девочки, наоборот: у них изменился не только силуэт, они сделались сдержанней, мягче, они становились девушками. В жизни словно произошел перелом, тревожили предчувствия.

Исчез отец Рудика. На это не сразу обратили внимание: ну мало ли что, командировка. Однако бросалось в глаза потухшее лицо его жены, да и Рудик стал ходить в школу отдельно от своего приятеля. Вскоре незаметно пропали и они. В их комнату прибыл другой, молодой, молодой, командир с женой, но без ребенка. А нам-то что?

Ну а потом война. Затемнение, призыв, голод. Втянутость во все это, скорое привыкание. В волейбол уже никто не играл, да и сетку сняли.

Бедняга Адик, ох, и били же его в войну мальчишки! «Адольф! Адольф! Гитлер!» — кричали они, едва его завидев. Дорого приходилось ему платить за легкомыслие родителей. Отец перевел его в другую школу и имя ему поменял на Аркадий, но и там вскоре узнали, и детское радостно-жестокое развлечение продолжалось.

А моего отца послали на другой — оборонный — завод, и мы уехали. В армию уходил с нового места, из десятого класса, даже друзьями еще не обзавелся. Друзья появились уже там, во взводе, не сразу, конечно, а лучший из них остался лежать на

весенней венгерской равнине. Но двое, слава Богу, и сейчас живы. Об одном из них будет еще речь впереди.

Если бы я стал писать здесь подробно о войне, то мое повествование ушло бы далеко в сторону, все более и более разрастаясь. Впрочем, о войне у меня немало написано, и в стихах, и в прозе. Я хотел было сейчас перечислить некоторые рассказы и повести о своей войне, о себе тогдашнем, безжалостно юном, но потом подумал: зачем? Кому нужно, сами отыщут...

Давно я вернулся, давно отменили карточки. Вы заметили, что я не раз говорю о карточках, о тех, довоенных, и о последующих. Что поделаешь, если забыть невозможно? И опять, как из анкеты, из личного листка по учету кадров: окончил институт, женился...

Шел однажды по Арбату, по тому, настоящему Арбату, и у табачного ларька обнаружил боковым зрением капитана с общевоинскими погонами. Перед ним были два человека. Я встал сзади него. Если бы не офицерская фуражка, я наверняка увидал бы на его макушке растущие воронкой белобрысые волосы. Я приблизил губы к его уху и пропел шепотом:

— Тирли танкиста, тирли веселых друга...

Он живо обернулся, засмеялся и спросил, тоже тихо:

— Экипаж соленых огурцов?

Это было как пароль и отзыв.

В ту пору мужчины целовались только с женщинами, а не друг с другом. Мы удовлетворились радостным рукопожатием.

Ну что, капитан Затевахин? Он только что окончил академию, уже получил назначение. Уезжает через два дня. С женой, детей пока нет. А ты?

Дочке четыре года. Я здесь живу рядом. Зайдем!

Он смотрит на часы: не могу. Телефон у тебя есть?

Нет. Запиши адрес.

Давай. Как же мы раньше не встретились?

Тирли танкиста, тирли веселых друга...

Два. И раньше было два!..

Далеко едешь-то?

Порядочно...

Больше я его не видел.

3. ДАМСКАЯ ФИНОЧКА

Я заметил ее в лесу, неподалеку от опушки. До войны оставалось чуть больше месяца. Лес уже ярко и светло зазеленел, но трава была еще невысокой. Я едва не наступил на свою находку. Она была маленькая, аккуратная. Ножны, а скорее футляр, сделаны из плотной кожи и простеганы по краю ременной дратвой. И рукоятка обтянута кожей — поочередно белыми и коричневыми полосками. Вдоль по лезвию шла четкая ложбинка, остро выделялся носок. Лезвие было холодным на ощупь и обсыпано редкими веснушками ржавчины. «Холодное оружие,— подумал я.— А какое еще бывает — горячее? Нет, огнестрельное...»

Потом у нас были настоящие десантные финки, большие, с черными пластмассовыми рукоятками и такими же ножнами. Но особым шиком представлялись наборные из разноцветного плексигласа ручки, по заказу изготавливаемые умельцами. Финка числилась за каждым и была записана в красноармейскую книжку наряду с карабином или автоматом. Однако во взводе всегда имелись две-три бесхозные зарпашившие финки, ими при надобности скоблили пол в землянке или кололи лучину для растопки.

Но все это будет потом.

А сейчас я сунул финочку в карман и огляделся. Ее же кто-то потерял, обронил и, может быть, уже ищет. Не выбросил же! А если он с собакой? Я, петляя, перешел по влажной траве с одной тропинки на другую, оттуда на дорогу и тоже не сразу — домой.

Дома никого не было. Я еще раз внимательно и с удовольствием осмотрел финочку. Потер лезвие наждачной шкуркой, веснушки не исчезали. Попробовал керосином — тот же результат. Хорошо бы ее наточить! Подкараулить точильщика около магазина и попросить. Сколько там это стоит! Но — нельзя...

У отца был оселок, на котором он правил свою опасную бритву, я слегка смочил его, как делал он, и пошаркал финочкой. Особого толку не было. Но все же после длительных повторных усилий она приободрилась и слегка даже, как мне казалось, засияла. Я засунул ее в свой стол под тетрадки и вытаскивал лишь изредка.

Однажды, уже к осени, зашел за мной мой друг Олег Сеницын. Мы собирались

в клуб, но зарядил дождь, и мы не пошли. Сидели, болтали. И черт меня дернул показать финку ему.

Он покачал ее на ладони и сказал:

— Дамская финочка.

Я ответил:

— Так маленькие револьверы называют — дамский браунинг.

— Вот и я говорю: дамская финочка.

Ближе к зиме сильнее ощутился голод, и люди стали ездить за хлебом. Но это только так называлось. Ездили не за печеным хлебом, а за мукой, пшеном, салом.

Поблизости находилась ткацкая фабрика имени Клары Цеткин. Там производилась бязь и тоже плотная, но черная материя, которую для понятности так и называли — чернота. Достать то и другое было не слишком сложно. С этим и отправлялись — менять на продукты.

Отъезжали в еще сытые места, к югу, километров за триста; станции, где нужно слезать, были заранее известны, а там кто как изловчится: одни, не рискуя, производили обмен тут же, другие, ища выгоды, тащились в окрестные деревни.

Первым из наших поехал за хлебом Митька Акулов, спокойный, степенный парень. Я всегда удивлялся, какой у него широкий шаг, с ним невозможно было ходить в ногу. Не понимаю, почему он поехал один, обычно собирались по двое — по трое.

Мы с Олегом пошли его провожать. Появился поезд, в составе было только три зеленых пассажирских вагона, остальные — товарняк. И против нас тоже остановился телятник. Откатили дверь, и мы увидели, что он, как автобус, набит стоящими людьми.

— Нет места! — раздались женские голоса из глубины.

Но мы посадили и втиснули Митьку в теплушку. Правда, он не смог развернуться и так и уехал, стоя к нам спиной, со своим «сидором» за плечами.

Через неделю в классе стало известно, что Митька уже дома и съездил хорошо. Но на другой день он не появился. Выяснилось, что он в больнице и у него сыпной тиф. Мы сплур хотели его проведать, но внутрь, понятно, не пускали, а с койки он не вставал. Не скоро еще увидели мы его в окне, худого, остриженного, улыбающегося смущенно.

Мы с Олегом тоже собирались поехать, но после случившегося родители мои стали стеной: ни за что! Проживем и без этого. Ты знаешь, что это такое — сыпняк? Акулову еще повезло. А если бы он там свалился?..

Синицын поехал один. А перед этим небрежно так, наивно даже, попросил:

— Слушай, дай мне с собой ту финочку.

— Какую финочку?

— Ну дамскую. Мало ли что...

И я дал. А как не дашь?

Прошло всего несколько дней, и отец сказал:

— Вечером будь дома, пойдем по важному делу. Тогда и узнаешь. Маме ничего не говори... — И объяснил, когда мы уже шли по темной, подсвеченной только свежим снежком улице: — В милицию вызвали.

— Кого?

— Ну не меня же.

— За что?.. А ты почему?..

— Начальник разрешил. Я ему по другому поводу нужен...

Пожилой начальник — в милицейских званиях я не разбирался, они тогда не совпадали с воинскими, да и погон еще не было — сухо кивнул отцу. Убедившись, что перед ним тот, кто ему нужен, и предупредив меня, что отвечать я должен только правду, он задал первый вопрос:

— Синицына Олега Андреевича знаете?

Я ответил утвердительно, а также объяснил — откуда и как давно.

— Передавали ли вы ему, а если «да», то с какой целью, холодное оружие, именованное как «нож финский»? Известно ли вам, что хранение холодного оружия карается законом? Откуда оно у вас?

Я ответил, что передавал по его просьбе для большей его уверенности, но что на самом деле финочка дамская, крошечная, игрушка, никакое не оружие. А нашел я ее в лесу...

Тут он задумчиво помолчал и сказал, обращаясь ко мне уже на «ты»:

— Послушай, парень, кто же тебе поверит? Так все говорят: «нашел». Ты лучше скажи: дал мне ее один знакомый, он сейчас в армии. И точка.

Но вступил отец:

— Пускай он говорит, как было. А придумает другое, потом забудет, начнет путаться.

Милиционер не возражал: как хотите.

— А где сама финка? — продолжал отец. — Должно быть вещественное доказательство.

Начальник усмехнулся:

— Кто-нибудь себе взял. Дамская, говоришь, финочка?..

И разъяснил: Синицын этот, Олег, был задержан по подозрению. Спутали его с кем-то. Стали обыскивать, а в валенке у него эта финочка. Но подозрение не подтвердилось. Самого отпустили, финку изъяли. И точка. По месту жительства сообщили, как положено. А тебе тоже нужно хороший вывод сделать. И к отцу:

— Значит, можно? Когда позвонить?

— Хоть завтра. Какого размера?

— На этот стол. Вот цифры, я измерил.

— Хорошо. А с ним я еще поговорю. Но он сам уже понял.

Мы поднялись, и начальник пожал отцу руку.

На улице отец сказал:

— Как они все-таки четко работают.

— Что он от тебя хотел?

— Просил лист стекла на письменный стол вырезать в заводе, — отвечал отец снисходительно. — Для того и приглашал... Но откуда они о тебе узнали, это хоть дошло?

Олег появился только дня через два. Невыспавшийся, стоял у окна в коридоре и рассказывал, что поезд прибыл вчера ночью, а ходить-то после одиннадцати нельзя, но он насыпал в правый карман стеганого бушлата доверху махорки, а в левый — семечек. Первый милиционер попался, он ему: подставляй руки, — и одарил от души, а второму, уже около дома, — так же семечек.

Все с интересом слушали, а он довольно посмеивался. Иногда он вскидывал на меня — нет не настороженный, не виноватый, а наивно-доброжелательный взгляд.

Он ни слова мне так и не сказал. И я тоже ни о чем его не спросил. Зачем? Я уже все знал сам.

Но ведь не ведал я, что и со мной когда-нибудь случится похожая история — с чужой финкой.

4. САМА СУШЛА!

В начале декабря сорок третьего года наша бригада вернулась из Донбасса под Москву — на отдых и переформировку. Осели в лесу, в готовых землянках, откуда только что снялась другая часть. Как всегда в таких случаях, что-то пришлось за ней поправлять, но с этим управились быстро. И тут наш взвод посылают на соседнюю станцию — охранять парашюты. Сейчас названия этих мест известны каждому, тогда они нам ни о чем не говорили.

Тихий дачный поселок в снегу. Некоторые домики пустуют, хозяева то ли в городе, то ли еще в эвакуации. Но во многих есть жители, те сразу выделяются дымками из труб, расчищенными дорожками от калиток.

Мы разместились в пустой даче, она же была и нашим караульным помещением. В доме не оказалось никакой мебели: ни кровати, ни стула, ни стола. Спали вполвалку на полу, там же и ели, приспособившись перед котелком на боку или держа его на коленях. Не привыкать.

Охраняли склад — ночью часовой с подчаском, днем один часовой, ибо днем сарай бывал открыт, там бригадные пэдээсники* возились с парашютами. Тишина вокруг, только поезда слышны вдали.

И вбилось мне в голову: надо бы съездить домой, родителей повидать и, конечно, Иру, прежде всего, конечно, ее. До Москвы на паровике — километров тридцать, да и там электричкой столько же, ерунда. А семнадцатого у меня день рождения. Восемнадцать лет.

Я служил уже целый год, успел кое-чего хлебнуть и многому научился, но я, наверное, еще не был вполне настоящим солдатом. Настоящий молодой солдат — это тот, кто перестал тосковать по дому, по родителям. А только — по еде, теплу, сну. По любому дому, крову, постели, полу.

А мне ужасно хотелось именно домой.

Взводный наш еще не появился после ранения. Командовал помкомвзвод, человек сообразительный, легкий, блатной, в меру справедливый. Кончил, правда, трибуналом, но это совсем другая история.

Я подошел к нему и коротко объяснил все как есть. До Москвы тридцать, от Москвы тридцать. День рождения семнадцатого...

Он задал первый, кардинальный, вопрос:

— Два пол-литра привезешь?..

Как он точно спросил! Не три! Именно два, чтобы влезли в карманы шаровар под шинелью.

* ПДС — парашютно-десантная служба.

Я твердо обещал.

Он подумал и сказал:

— Тебе нужно командировочное удостоверение выписать.— И задал второй вопрос, второстепенный: — За чем же тебя послать?.. — Опять помолчал и сам ответил: — За материалами для красного уголка. А? Они это любят. Привезешь какую-нибудь мандистку, ну там картинку... — Поискал глазами и позвал: — Гурков!

Чуть вразвалочку, враскачку подошел Боря Гурков, доложил. Вид у него был настороженный, недовольный. Он подозревал, зачем его окликнули.

Боря был человек северный, мягко окал. Но это все пустяки. Главное, у него были золотые руки. Он умел изготовить не только нужный штамп, но при надобности и круглую печать. Помкомвзводу было это хорошо известно. Штамп-то не фокус, я его и сам делать научился, вернее, научили. Но он годился для ближней увольнительной либо для направления в бригадную санчасть. А на командировочном предписании должна стоять внизу круглая гербовая печать. Ее может нарисовать только настоящий мастер.

Мы пошли вдоль дачного штакетника. Неизвестно, чем руководствовался помкомвзвод, выбирая калитку.

В доме было уютно, тепло. Девочка за столом готовила уроки.

Помкомвзвод обратился к бабушке:

— Мамаша!.. — И очень официально попросил помочь армии, разрешить специалисту позаниматься в доме с важными документами. Часа два..

Бабушка, понятно, разрешила. Девочку согнали с места. Боря сказал ей:

— Ну-ка покажи, какие у тебя есть перышки.— Он был мрачен — еще бы! Вальсю я — не пощадят и его.

Помкомвзвод порылся в полевой сумке и дал ему два чистых листа и какие-то служебные бумаги — для образца.

Следом возникла еще такая подробность. Сразу после приезда нам стали менять красноармейские книжки: у одних отобрали, а новых пока не выдали, у других еще оставались старые. Красноармейскую книжку всегда полагается иметь при себе, особенно за пределами части,— это как солдатский паспорт, в войну, правда, без фотокарточки. Так вот, документа у меня сейчас как раз не имелось, и помкомвзвод вручил мне красноармейскую книжку Генки Гаврилова, взяв ее у него без объяснения причин. На его имя была выписана и командировка.

Документ вроде бы выглядел убедительно, но резануло, что срок его был обозначен с четырнадцатого по семнадцатое. Таким образом, я должен вернуться в самый день рождения. Впрочем, последний поезд прибывал сюда поздно, около часу.

Тут мне попался Валя Козлов, тихий большеглазый парень. У его финки была очень красивая ручка из синего и оранжевого плексигласа. Я попросил на время — только съездить. Он поколебался мгновение, но дал. И, пока мы обменивались, вдруг отчетливо отозвалась в душе та несчастная дамская финочка.

Место в вагоне нашлось. Напротив меня сидели две женщины — пожилая и помоложе. Они разговаривали. Тогда люди не стеснялись вести при посторонних самые откровенные беседы. Это еще и после войны долго было. Народ от себя ничего не скрывал.

Если бы сюда затесался немецкий шпион, он многое сумел бы услышать. Но он мало бы что понял.

Старшая рассказывала о своем сыне, который находился на фронте, и о невестке. Она говорила:

— Женился бы, дурак, на Нинке, уж как она его любила..

Младшая спрашивала:

— Нинка, это родинка у ей на бороде?

— Ну да. Нинка-то скромная.

— Да уж не грубая.

— А Клавка, знаешь, изменяет его.

— Сама сушла!

— А ведь ребенок у ей, бесстыжей!

— Ты Кольке-то не пиши.

— Да ты что! Может, его убьют: зачем ему маяться.

А младшая свое:

— Сама сушла..

Даже я не сразу сообразил, что она говорит. Ах, это она хочет сказать: «с ума сошла», — но у нее буквы так перескакивают.

И неожиданно я подумал с изумлением: да это я с ума сошел! Помкомвзвод — ладно, мне известно его блатное легкомыслие, но я сам действовал совершенно несерьезно, бездумно. Рисковал только я. Будто не знал, что за это бывает. А ведь знал. Если попадусь, вряд ли станут искать эту мою «в/ч», этот «№ п/п.». Закатают — и все. И чего еду? Ирку не видел год, может, и она меня изменяет?..

В Москву прибыли уже в темноте. Я вместе с толпой вышел на площадь. Пред-

ставяете, если бы сейчас в большом городе разом выключили вечером свет? Кромешный мрак, ни огонька — ни из окна, ни на улице. Какая бы началась неразбериха! Но тогда у людей давно уже выработалась звериная сноровка видеть в полной темноте. Площадь перед вокзалом была очищена от снега, убраны тротуары. Осмотревшись, я вошел в метро. Это была одна из двух станций, открытых недавно, уже в войну.

До своего вокзала добрался благополучно, и там все сложилось удачно: я знал, как, минуя казенный вход, попасть к электричкам. И дальше повезло — не слишком ли часто? — мне предстояло пройти десять километров, но, увидев на дороге догоняющий меня грузовик, я сам прибавил ходу и перед мостком, где машина неминуемо притормозила, успел схватиться за задний борт и перевалиться в кузов. Около поселка таким же манером его покинул.

Нужно ли описывать лицо матери, открывшей мне дверь?

Я быстро переоделся. Гражданские брюки (32 см) — были мне впору. Когда же я воротился уже совсем и очень на них рассчитывал, они оказались мне тесны.

Сейчас я торопился в клуб, на танцы, надеясь увидеть Иру. Родители с трудом убедили меня, что все уже кончилось. Я немного успокоился и стал рассказывать о себе. В конце сообщил, на каких условиях прибыл. Отец обещал водку достать и, как всегда, обещание выполнил. В заводе был спирт, необходимый в точном производстве, химически чистый, девяносто шесть градусов, и отцу помогли для такого случая. Конечно, он развел его — до сорока. Каждая бутылка была накрепко заткнута резиновой пробкой. А с картинками мать расстаралась, притащила плакатки и репродукции: Ленин на броневике, Первая конная, съезд колхозников, а также мишки в лесу, Аленушка, богатыри на распутье. Все это свернули в крепкую белую тряпку.

А вы-то как живете? Хорошо, хорошо. Ты ешь побольше... Боже мой, и в голову не приходило, что я их обедаю.

Назавтра встретил знакомого и узнал, что Ира уехала проведать брата в госпитале — не то в Ковров, не то во Владимир. Стыдно сказать, но мой приезд потерял смысл. Впрочем, не совсем так. Я испытал и облегчение — что-то отпустило. Я валялся на диване, листал книжки, засыпал, пробуждался и, сам того не осознавая, заряжался домом на будущее.

Следующая неудача ударила семнадцатого. Сказали, что в десять вечера по служебной ветке пойдет заводской паровозик с двумя вагонами, и можно доехать до станции, до электрички. Это было очень удобно — я свободно попевал на свой последний поезд. Мы присели на дорожку, и я отправился Но — увы! — из-за какой-то неисправности рейс отменили. Идти пешком уже не имело смысла, я безнадежно опаздывал.

Я вернулся домой.

Как поступить? Командировка выписана по семнадцатое. Завтра — восемнадцатое. Оставалось одно: попробовать исправить. Вообще-то переделать 7 на 8 можно. Но Боря больно уж размашисто, по-писарски, семерку изобразил. Однако делать нечего, я решил использовать поперечную черточку, но действовал не слишком уверенно, рука дрогнула. Пришлось взять бритвенное лезвие, чуть-чуть подскоблить, стало еще хуже, цифра слегка расплзлась. Мог ли я думать, что эта восьмерочка меня и спасет.

Стояли самые короткие дни, за окном господствовал полный мрак, свет исходил единственно от снега. Отец был еще на работе. Мы присели повторно, уже вдвоем с матерью, расцеловались, и я пошел.

В каждом глубококом кармане шаровар было у меня по бутылке, на ремне козловская финка с наборной ручкой, в руке трубочка репродукций. Я легко шагал к тому, что ждало меня впереди.

До Москвы, а потом и до нужного вокзала я добрался без заминки. Но вышел из метро и сразу увидел у входа в вокзал офицера и двух солдат с повязками на рукавах. Я двинул в другую сторону, тут открылись ворота, и в город повалила толпа — судя по всему, с прибывшего поезда. Может быть, с того, на котором предстояло ехать мне. И я стал пробираться на перрон вдоль стеночки, по краю, навстречу людскому движению.

За первым же углом меня поджидал милиционер, маленький такой милиционер. Точно как в любимой песне помкомвзвода:

Заглянул я за угол
И что ж я увидал?
А из-за двери ливер
За мною наблюдал.

Это было время, когда милиции вменили в обязанность проверять и задерживать военнослужащих. Потом из-за столкновений между ними распоряжение было отменено. Затем оно возобновлялось и аннулировалось вновь.

— Предъявите документы.

Я предъявил.

За его спиной оказалась дверь, мы вошли сначала в тамбур, потом в слабо освещенный коридор. Он развернул командировочное и сказал довольно равнодушно:

— Зачем же подделывать?

Что он имел в виду — Борину работу или мою?

Я забормотал:

— Слушай, отпусти. Наша часть рядом стоит. На поезд уже посадку объявили...

А что мне следовало делать? Не финкой же его колотить! Отдать одну бутылку? Помкомзвод не поймет.

Вот какая чепуха промелькнула в моей голове, и тут он уже отворил дверь с надписью «Милиция».

За столом сидел капитан. Подняв голову, он сразу указал на меня пальцем и что-то скомандовал. Ко мне бросились с двух сторон и отобрали Валькину финку. Я запротестовал: положена по штату, записана в красноармейскую книжку... Капитан не отреагировал.

Я опять за свое: часть стоит в тридцати километрах, только на отдых прибыли. Поезд сейчас отойдет... Он глянул одним глазом в мои документы, отложил и больше не обращал на меня внимания. В комнате толклись люди в форме и в штатском. Чуть позже он подозвал двух милиционеров, отдал им мои бумаги и что-то сказал. Я расслышал слово «линейное».

Мы пошли втроем вдоль витиевато ветвящихся путей и торчащих среди них стрелок. Где-то поблизости прогудел паровоз, наверное, это и был мой поезд. Мы долго шли. И я опять вспомнил ту песню:

Ведут меня два мента
Да мимо бардака.
Стоит моя халява
И руки под бока.

Среди путей темнел барак. Они тоже сначала закрыли наружную дверь в тамбур, чтобы не выпустить свет. Внутри находились задержанные: испуганный молодой парень, три куривших папирсы проститутки и коренастый сержант в распахнутом ватнике, под которым поблескивали орден Красного Знамени и медаль «За отвагу». Не шутка! А он все отпахивал небрежно свой ватничек.

— Браток! — обратился он ко мне возбужденно. — Ты понимаешь, от эшелона отстал по дурости. А эшелон-то на фронт... — И объяснил мне, что у него спрашивают номер эшелона, а он не знает, да и кто может знать? Это железнодорожная нумерация. Мы знаем номер полка, дивизии, корпуса. А не эшелона! Правильно? Конечно.

Я тут же уразумел здешний порядок: всех по очереди вызывают в кабинет (комнатку, клетушку?) к дежурному, который мгновенно и решает судьбу невольных посетителей. Окончательно или предварительно.

Вышел оттуда мужичонка с пустым мешком. Позвали сержанта. Две минуты — и он выходит. Совсем? Впускают меня.

За столом молодой лейтенант. Как у нас называют — инкубаторный. Но милицейский. Он говорит по телефону. С бабой. Хихикает. Отношения их ясны. Кокетничает. Спрашивает про ее подруг. Условливается. И одновременно раскрывает красноармейскую книжку и липовое мое удостоверение. Я привычно твержу про тридцать километров, воинскую часть на отдыхе и поезд, хотя тот давно ушел. Лейтенант досадливо делает мне знак, чтобы я не мешал ему, — он же говорит по телефону.

Но задает вопросы. Фамилия? Гаврилов. Имя-отчество? Геннадий Михайлович. Домашний адрес?..

А у нас перед десантированием нужно было выучить и наизусть сдать сержанту адреса всех из своего отделения... Пенза, Коммунистическая, дом 17, квартира 3.

Он показывает мне большим пальцем на дверь. Иди! Сердце колотится: неужели отпустил? Да, до общей комнаты. И сержант здесь.

И вот нас двоих ведут три милиционера: двое по сторонам, один, эдакий здоровила, сзади. Опять по ветвящимся путям, потом по пустынному ночному городу. А в руке у меня трубочка репродукций — и никто не поинтересовался, что это такое. А, они же в командировочном обозначены.

Я потом полгода жил поблизости, у Клочковых, и нарочно несколько раз пытался для себя выяснить: где же мы тогда шли? И, главное, тот дом хотелось увидеть. Но безуспешно, будто приснилось все это.

Дом был огромный, официальный, облицован внизу грубым камнем, так запомнилось, но ведь было темно. Милиционер позвонил у высокой двери, и нас впустили.

За дверью дежурил солдат. Но что это был за солдат! Как с картинки! На нем ловко сидело диагональное обмундирование, на ногах яловые сапоги. В руке он дер-

жал ничтожную кокетливую винтовочку СВТ, годную лишь для парадов да внутренних постов.

— Начальник караула, на выход! — звонко выкрикнул он, и начальник явился.

Это был ефрейтор, я не шучу, но такой же ухоженный. (В армии это звание все-рез не воспринималось. Тогдашний солдатский юмор: — «Хозяйка, пусти переночевать». — «Заходи, милоч». — «Да я не один, а с ефрейтором». — «А ты его, милая, к ограде привяжи».)

Вошли в большой лифт с зеркалом и взмыли, как для прыжка с аэростата. Сержант аж рот раскрыл, но тут же, после морозной улицы, опять начал свой ватник отпахивать. Мы поднялись на четвертый или на пятый этаж. Наверху горел яркий свет, но еще резче была в глаза надпись над дверью с матовыми стеклами: «Комендант».

Ефрейтор присел за столик, принял наши документы — и тем самым нас — и выдал милиционеру квитанцию. Затем он прошествовал к коменданту. И на миг, пока дверь приоткрылась, я заметил внутри солдата, который одевался, как после визита к доктору.

Почти тут же он появился. Он имел жалкий, расхристанный вид: без обмоток, без ремня, шинель он нес в руках.

— В камеру! — скомандовал ефрейтор караульному, такому же, как внизу, с СВТ в руке, и тот повел солдата по коридору, где вдали угадывался часовой.

Следом выкликнули сержанта. Он и здесь шел впереди меня.

Все произошло быстрее, чем я ожидал. Сержант тоже был без ремня, карманы вывернуты, ватник под мышкой. Но самое страшное — на гимнастерке его не было наград. Высоких правительственных наград — как могли бы сказать впоследствии.

Его взгляд скользнул по мне, ничего не выражая.

— В камеру!

Наступал мой черед.

Если бы обо мне сказали: «Он ждал, как ждут команды «пошел!» перед уже раскрывшейся дверью «Дугласа» или: «Он тупо смотрел перед собой, ни о чем не думая», или хотя бы: «Сердце его громко забилося», — все это было бы неточно. Всего этого не было. Неудобно говорить и, наверное, как-то даже глупо, однако клянусь, чувства страха я не испытывал.

Тут случилось непредвиденное.

От лифта прошествовали прямо к коменданту два отлично одетых майора. Что значит: отлично одетых? Наверное, их шинели были пошиты на заказ, а может быть, просто их владельцам ни разу не приходилось сидеть у костра на поваленных деревьях, пачкать рукава об окопную глину или лежать на земле. Они по-хозяйски прошли в кабинет и остались там.

Ефрейтор, указав конвойному в мою сторону, бросил: «На диван!» — и тот повел меня, непонимающего, по коридору.

Однако странная команда сразу объяснилась. В конце коридора перед кованой, с зарешеченным окошком дверью в камеру стоял диван. На нем задержанные ожидали решения своей участи, если оно почему-либо откладывалось. Таким образом, еще находясь снаружи, я оказывался под охраной того же часового... Я сел на клеенчатый диван, бросил рядом репродукции и с удовольствием потянулся.

— Браток, — услышал я за решеткой знакомый голос, — закурить найдется? — Сержант уже приходил в себя.

— Можно? — спросил я часового.

Тот кивнул.

Я вытащил из кармана шинели свою табакерку — четырехугольную жестяную коробку от зубного порошка с отдельными фрагментами стершегося белозубого негра на крышке — не помню уже, как она у меня оказалась, — и захватил щепотку на две закрутки.

Хороший парень попался, другой бы не разрешил. Подождав, я спросил: а что же это за место такое?

Он объяснил: комендатура, а при ней патрульный полк. Вылавливаем дезертиров, отставших, нарушителей разных. Если по делу задержали, к пайке прибавляют. Но редко, тоже мухлюют. Я поинтересовался осторожно: а с этими что будет? Он ответил буднично: тех, кто сюда попадает, не кормят, держат не более полусуток и в штрафную или в маршевую, кого куда.

Меня все не вызывали, видно, майоры загостились, и напряжение мое совсем спало. Стало клонить в сон, я только сейчас сообразил, что стоит глубокая ночь, наверное, уже ближе к утру. Временами возникало странное ощущение: где это я? И — я ли это?..

И вдруг меня пронзило ужасом. То, что командировочное поддельное, это они видят; то, что документы на Гаврилова, я помню хорошо. Но ведь у меня еще комсомольский билет! Он-то уж на мою фамилию и с моей фотокарточкой. За кого же они меня примут, обнаружив это при обыске? За шпиона? За связного?

Решение пришло сразу. Я вытащил опять свою жестяную коробку и незаметно сунул комсомольский билет под махорку. Теперь я обращался к часовому уже как к знакомому, к собеседнику:

— Слушай, друг, если меня посадят, передай мне, пожалуйста, мой табачок. Я его вот под диван положил.

Тот, не глядя на меня, снова кивнул.

Вдалеке, у дверей коменданта, раздались громкие голоса, и к моему дивану (я уже так его воспринимал) подвели высокого старшего лейтенанта. Держался он совершенно свободно и безбоязненно. Он плюхнулся на диван, сказав мне и часовому:

— Здорово, ребята!

Я ответил:

— Здравия желаю!

Часовой промолчал.

Старлей закричал:

— Я им покажу! Не по форме! У меня комендант московского гарнизона друг, утром ему позвоню... Подумаешь, офицерский патруль! — От него попахивало вином, на шее болталось вполне гражданское кашне. — Не по форме!

Он предложил мне и часовому закурить. Часовой, разумеется, отказался. У меня же от слабого «Казбека» слегка закружилась голова.

Время от времени он вставлял в свой разговор странную фразу:

— Рассвет на Волге, разговор камнями...

Это производило определенное впечатление. Под его крики я незаметно задремал.

Он разбудил меня толчком локтя:

— Пошли помоемся!

Первое, что я обнаружил: часовой сменился. Как же теперь? Да ладно, может, и к лучшему. Обнаружат коробку, а я где уже буду! И попробуй угадай: чей это билет?

За зарешеченным окошком стояла тишина — спали. Напротив был туалет, мы привели себя в порядок. Старлей долго вытирал лицо большим батистовым платком, я удовольствовался рукавом шинели.

К дивану стремительно приблизился лейтенант:

— Товарищ старший лейтенант, — сказал он с удовольствием, — заступивший дежурный комендант приказал сообщить, что вы свободны, и приглашает зайти за документами.

— Рассвет на Волге, разговор камнями, — ответил освобожденный, пожал, к моему изумлению, мне руку и удалился с лейтенантом.

Я видел, как он вошел в комнату коменданта, как снова появился и исчез из виду — для меня уже навсегда.

Я сидел усталый, пригорюнившись, не обращая внимания на дальний голос дежурного. И внезапно воспринял его, как глас свыше:

— Рядовой Гаврилов!

— Я!

Наконец я вошел в кабинет коменданта и четко представился. Он сидел на фоне широкого окна, и лицо его было плохо видно. Но, наверное, симпатичный. Он протянул мне красноармейскую книжку с вложенным листком и сказал строго:

— Отправляйтесь в свою часть, благо недалеко. Пусть вас там накажут.

— Да тут рядом...

— Отправляйтесь, — повторил он.

— Есть отправляться! — Я повернулся через левое плечо, вышел в коридор и пошагал к дивану. Взял декоративную трубку репродукций и, не обращая внимания на нового часового, нагнулся и вытащил коробку с ее содержимым.

Ухоженный солдат, тоже с СВТ в руке, спустился со мной вниз, и меня выпустили. Я пошел, не оглядываясь, потому, наверное, и не сумел отыскать впоследствии этот огромный дом.

Лишь за углом я рассмотрел документы. На них не имелось ни единой пометки. Это как же понимать? Ведь было уже утро девятнадцатого. Сейчас я пойду на вокзал, и меня опять схватят?

Я начал расспрашивать прохожих и вскоре выяснил, как доехать на трамвае до Коломенской — первой остановки от Москвы по нужной мне дороге. Через час с небольшим я уже сидел в поезде и только боялся заснуть и пропустить свою платформу. Разговоры я уже не слушал.

Почему же они не заметили Борькиной подделки? Дважды в милиции и один раз в самой комендатуре! Ведь они специалисты — сквозь их руки проходят тысячи разных документов. Из-за гурковской гениальности? Нет, конечно. Их наметанный, изощренный глаз сразу же натыкался на мое грубое, явное исправление числа, и они удовлетворялись этим, не взглянув на остальное. Меня спасла моя же неумелость.

Я это понял еще в вагоне.

Помкомвзвод, конечно, не поверил, что я провел ночь в комендатуре. А кто бы поверил?

— Погулял? — спросил он с хмурым пониманием. Но привезенным остался доволен. Глотнул и одобрил: — Пойдет. Только резиной воняет...

Я объяснил:

— Это от пробки.

Вы, наверное, полагаете, что я долгое время подробно проворачивал в памяти случившееся со мной? Должен вас разочаровать: уже на другое утро я об этом не думал. Так, чудом ушедший от коршуна голубь через минуту поклевывает зернышки как ни в чем не бывало. Вспоминать было некогда.

До сих пор сохранился осадок из-за отобранной Валькиной финки. Кто-кто, а я понимал его состояние. Я, конечно, обещал достать еще лучше и старался как мог, но так пока ничего и не получилось.

Зато Боря Гурков был доволен. Не знаю, чем больше, — своей удачной работой или моим фартовым везением.

После войны он остался на сверхсрочную. Работал писарем в штабе полка — основательный, очень честный. Ах, с какими он писал завитушками! Неужели машинки и тем более компьютеры потеснили теперь эту трогательную профессию ротного или штабного писаря? Позднее он демобилизовался, учился, хорошо устроился. Он нашел меня через девятнадцать лет после войны, и мы сдружились сильнее, чем в армии. Я не раз бывал у него на прекрасной северной реке, а он у меня в столице. Посещали друг друга мы и с женами.

Сейчас он на пенсии, огородничает, давно и упорно строит дом. И пишет мне письма сразу бросающимся в глаза кудрявым почерком. Но главное — что он пишет и как! Вот концовка недавнего его послания: «У меня и в моей семье все по-старому. Пока все живы, и каждый по-своему здоров».

Я прочел эти слова по телефону своему умудренному коллеге и предложил угадать: кто их написал? Тот восхитился и спросил неуверенно:

— Толстой?..

5. МИЛОЕ МИЛО

Опять ехали на фронт. На этот раз из Белоруссии. Думали, в Польшу, а куда же еще? Оказалось, на юг, в Венгрию.

А до этого была баня.

Немногие бани — обязательное воспоминание войны. Большинство из них слишком безлики, одинаковы и потому забыты. Они сами словно смыты мыльной, грязной водой. И белье плохое забыто — сырые рубахи и рваные кальсоны — и вошебойки бесполезные, еле греющие. Но помнится потрясающая банька в Красноармейске — чистенькая, удобная, уютная, — мылся бы да мылся, не спешил. Все кругом разбито или убого, а эта банька сияет, как церквушечка. А что? — там не только тело отмывается.

Еще запомнил противоположное — душевые в Будапеште. Целый батальон встает под сильные теплые струи. Раз-два! — и «выходи строиться!..»

Ну а чем же отличается баня в Старых Дорогах? Хоть убей, не помню. Наверное, только Пашкиным мылом. Как та красотка в Карпатах сказала: «Милое мило»...

Наша рота мылась после минометчиков. Мы пришли, те уже одеваются. А Пашка лезет впереди всех, ему кричат: ну ты! осадил!.. Издеваются, смеются, а ему хоть бы что.

Мыла выдали по крохотному кусочку — осьмушка, наверное, печатки, а то и пол-осьмушки. Черное. Ни веников, ни мочалок, понятно, нет. Намылишь платочек, у кого имеется, и оглаживаешь себя, а что толку, на жар вся надежда. Каждый шайку норовит получше выбрать, а Пашка ходит вдоль лавок, худой, костистый, и, где увидит мазок, мыльный остаточек, соскребает железкой со стенки, скамьи или таза в жестяную баночку. Никто на него внимания не обращает, привыкли: опять что-нибудь придумал.

Через день эшелон уже под парами. Саперы новые нары построили в вагонах, печки раскаляются докрасна — зима!

И поехали.

На фронт всегда везут быстро, это с фронта медленно. Полтора месяца ехали из Донбасса до Подмосковья. А сейчас проснешься утром, колеса стучат — та-та, та-та, та-та. В теплушке не только тепло, но и жарко, особенно тем, кто близко к печке. В двери щель, но дверь закреплена с другой стороны поленом, чтобы не откатилась и не выпал на полном ходу подошедший, еще полусонный солдатик, только-только с нар. А они просыпаются один за другим, все чаще. Ближе к завтраку или

обеду — ждем уже остановки. Дневальные с бачками наготове — к кухне бежать. Потом курят ребята, спят, из двери смотрят, больше нечем заняться.

А Пашка держит в руке консервную жестянку с тем мылом, что в бане насоби-рал, оно засохло, глубоко потрескалось, как придорожная грязь в жару. Он ставит банку на печурку, чуть-чуть воды подливает, палочкой помешивает. Мыло уже пузырится.

Никому дела нет. Только земляк его (они из Заволжья) Феоктистов смотрит, готов помочь. Феоктистов у него словно бы ординарец, выполняет все беспрекословно. И у рядовых бывают подчиненные, добровольно, без всяких причин. Тут Пашка достает из вещмешка две или три аккуратные чурочки, каждая по размеру как печатка хозяйственного мыла, и начинает эти деревяшки расплавленной мыльной массой покрывать. Да ловко так! Даже канавки проводит вдоль ребер и цифры какие-то выдавливает. А Феоктистов кладет их на шапку и переправляет на край нар сушиться.

Теперь все смотрят: ну Пашка ловкач — мыло и мыло!

Эшелон гремит на стыках, а за дверью белые, заметенные деревушки, и черные дырявые корпуса, и разбитые вокзалы, и сгоревшие в полях танки — и нет этому конца.

По утрам никакой побудки, каждый спит, сколько хочет. И вдруг слышатся у двери оживленные, удивленные голоса. Что там еще? Да вы посмотрите!

Вокруг нас горы. Многие повскакали с нар, встали у двери. Поезд еле движется, испытывая явные затруднения. Он осторожно проползает между горами, выкручиваясь из своего неловкого положения. Состав очень длинный, ему здесь тесно, повороты следуют один за другим. Стоящие у дверей порою видят свой же эшелон, идущим в обратную сторону, и машут солдатам из других рот.

Потом поезд останавливается. И мы замечаем, как по крутому, почти отвесному снежному склону ползет вверх старуха. В руке палка, а за спиной мешочек — несет что-то. И как она не скатывается? А навстречу ей мужик, тоже черная фигура на белом, тоже с палкой. Но спускается — не валится кубарем. А совсем наверху, да выше, выше смотри, деревушка. И оттуда к поезду еще один, еще, еще. Так и повалили.

Солдатики из вагона стали выскакивать. Генка Гаврилов спрашивает:

— Это что, Белоруссия?

— Какая Белоруссия! Мы с Белоруссии едем.

— А, я спутал. Бессарабия? Или Румыния?

Тетка говорит:

— Так.

— Деньги наши здесь идут?

— Идут, идут.

А у одного солдата откуда-то спички. Все к нему. Нужно!

Тут Пашка вынимает из вещмешка одну свою поделку. Старик ему здоровый шмат сала. Пашка начинает торговаться: мало даешь. Тот ему каравай белый, потом еще один. Хлеб-то, известно еще по Украине, кукурузный, к вечеру засохнет, раскрошится. Но другого нет. Пашка говорит старику про свой товар:

— Прячь скорее, командир увидит.

А красotka молодая стонет:

— Ой, милое мило!..

Ей — вторую фальшивку. А она от восторга Пашке руку целует — как попу. Ну и тоже плата: хлеб и молоко. Феоктистов уже два котелка приготовил.

— Козье?

— Так.

Тут состав стал потягиваться, расправлять суставы. И команда:

— По ваго-о-нам!..

Пашка, понятно, угостил некоторых, не только сержантов, и салом, и молочком. Ну а хлеб тем более нужно срубать, пока мягкий.

Угрызений совести, полагаю, не испытал никто. Слова «престиж» вообще не слышал ни один человек в эшелоне. Да и чей престиж? Страны? Армии? Пашки?..

Оживление вызвало то, что девка Пашке руку поцеловала.

— Обрато поезде, прятаться придется. Она тебе даст!..

Последнее предположение встретили дружным хохотом.

Возвращались только в феврале сорок шестого. Тоже стояли несколько раз среди гор, но в том ли месте — непонятно.

Половина ребят была из пополнения. Феоктистов беспрерывно спал на верхних нарах.

Пропавший заговор

ДОСТОЕВСКИЙ И ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ПРОЦЕСС 1849 ГОДА

Часть третья. СЕМЕНОВСКИЙ ПЛАЦ И ЕГО ОКРЕСТНОСТИ

Глава 11. ПРЕВРАЩЕНИЯ ПЕТРА АНТОНЕЛЛИ

Добродетельный брат

«Так это Антонелли!» — подумали мы», — говорит Достоевский. Если верить его словам (а они подкреплены мнениями других очевидцев), роль, сыгранная «сыном живописца», стала ясна арестованным уже в их первую арестантскую ночь. «Так это Антонелли!»: здесь не только изумление перед нечаянно (или почти нечаянно) открывшейся правдой; здесь различим и некий облегчительный вздох. Пусть уж будет Антонелли — человек, близко никому из них не известный, лишь недавно проникший в их, правда, не очень тесный, но все же доверительный круг. Пусть уж лучше он, чем кто-то другой, о котором невольно пришлось бы помыслить дурное, унижая его и себя ужасной догадкой. И, страшась при этом, что тот, другой, может и о тебе помыслить такое же... Пусть уж лучше Антонелли...

Что же, однако, случилось с ним после 1849 года? Умножил ли он число своих гражданских заслуг? Нашел ли успокоение нравственное? Или — был смущаем тайным раскаянием? Об этом можно было только гадать. Сведения обрываются той апрельской ночью, когда миссия Антонелли была успешно завершена. История наградила его забвением — не самой страшной для доносчика карой.

Как с древа сорвался предатель ученик,
Дьявол прилетел, к лицу его приник,
Дхнул жизнь в него, взвился с своей добычей смрадной
И бросил труп живой в гортань геенны гладной...

Дальнейшая судьба всех остальных участников драмы более или менее ясна. Участь Антонелли (чей отец был мастером исторической живописи) — единственный пробел в этой многофигурной композиции.

Впрочем, ничто не исчезает бесследно.

Дело с лапидарным названием «Об агентах» находится там, где ему и положено быть. Оно насчитывает более ста листов. Именно здесь содержатся недостающие сведения о герое. (ГАРФ, ф. 109, оп. 24, ед. хр. 214, ч. 65.)

В общем, ничего особенного с ним не произошло.

Он, очевидно, был взят вместе со всеми. Во всяком случае, в деле хранится приказ об его «арестовании» и препровождении в III Отделение. Тут же, кстати, находятся приказы об аресте двух других агентов — Шапошникова и Наумова.

Подчиненные графа Орлова действовали как будто бы грамотно и профессионально. Они не оставили на свободе заслуженное в глазах правительства ли-

цо (тем более что последнее жительствовало на одной квартире с доверчивым Феликсом Толлем) и присоединили его к остальным — хотя, быть может, только на одну ночь. И если бы не неловкость генерала Сагтынского, позволившего любопытствующим заглянуть в секретные списки, арестанты долго оставались бы в неведении относительно заслуг одного из них.

Был ли Антонелли в ночь с 22-го на 23 апреля доставлен вместе со всеми в зеркальную залу? Смешался ли он с толпой других арестантов? И если он находился там, то знал ли о том, что открыт? И как в таком случае отнесся к этому печальному факту?

Нам об этом ничего не известно.

Последнее донесение Антонелли помечено 23 апреля. Не писано ли оно во время пребывания в краткой неволе? (В отдельном и, надо полагать, комфортабельном помещении: до крепости, разумеется, дело не дошло.)

Во всяком случае, его *особое положение* зафиксировано во «внутренней» служебной записке. III Отделение помечает (так сказать, для собственной памяти), что «об арестовании чиновника 14 класса Антонелли сообщено Государственному Канцлеру, которого следует известить и об освобождении этого чиновника из-под ареста».

Государственному канцлеру (чин первого класса!) спешат сообщить о судьбе его подчиненного, принадлежащего к классу последнему. Канцлер (он же министр иностранных дел), каковым является Нессельроде, обязан знать, что за метаморфозы случаются со служащими его министерства, к которому, кстати, причислен и Петрашевский.

Далее в служебной записке оговариваются весьма деликатные, связанные с соблюдением государственной тайны моменты: «Как в заключении этого извещения нельзя сказать ни того, что Антонелли оказался не прикосновенным к делу, ни того, что он был агентом, то не приказано ли будет, сообщив кратко об освобождении его из-под ареста, присовокупить только, что случай арестования Антонелли не должен составлять препятствия успехам его по службе».

Так и было поступлено. 27 апреля из III Отделения на имя государственного канцлера отправляется секретная бумага, где слово в слово воспроизводится предложенная формулировка («не должен составлять препятствия успехам по службе»). Семидесятилетнему графу Карлу Васильевичу Нессельроде оставалось самому догадаться, что означает сей сон.

Некоторое время об Антонелли как будто не вспоминают. Но вот 11 июля 1849 года (допросы в Петропавловской крепости идут своим чередом) Иван Петрович Липранди отсылает к Дубельту следующую сопроводительную бумагу:

«Милостивый Государь,
Леонтий Васильевич!

Пользуясь позволением Вашего Превосходительства, я имею честь приложить здесь в оригинале письмо Антонелли. Я вполне уверен, что Ваше Превосходительство окажет благосклонное внимание к его просьбе. Действие его в этом деле было руководимо честнейшим намерением.

С совершеннейшим моим почтением и преданностью имею честь быть,
Милостивый Государь!

Вашего Превосходительства
Покорнейшим Слугою

И. Липранди».

Липранди не зря говорит о «честнейшем намерении». Он имеет в виду не только моральную чистоту своего агента, но и то обстоятельство, что последний не обрел пока за свои труды никаких вещественных воздаяний.

Липранди пишет вполне официально: он обращается к Дубельту на «вы» и именуется «ваше превосходительство».

Письмо Антонелли от 4 июля приложено тут же. Этот не известный доселе источник — первый принадлежащий «сыну живописца» письменный документ, где автор сообщает не агентурные сведения, а излагает свои сугубо личные обстоятельства.

О чем же пишет Антонелли?

Он напоминает Липранди, что тот был настолько добр, что однажды обещал похлопотать о помещении его, Антонелли, сестер в казенное учебное заве-

дение. И вот ныне, пользуясь благоприятным случаем — присутствием в Петербурге государя императора (который недавно вернулся из Варшавы), он прибегает к Липранди с покорнейшей просьбой: «Не возможно ли министру испросить для решения дела высочайшего согласия?» Он просит этой милости потому, что в августе обычно бывает прием, а старшей сестре его уже 14 лет, «и, следовательно, она скоро выйдет из возраста, предписанного постановлениями для поступления в казенные заведения».

Антонелли — хороший брат. Единственный мужчина в семье, он проявляет трогательную заботу о воспитании младших детей. К какому, однако, министру он просит воззвать? Конечно, не к своему непосредственному начальнику — Карлу Васильевичу Нессельроде. С какой стати Липранди должен обращаться к чужому министру? (МИД — всего лишь легальная «крыша»: на связи агент состоит у чиновника МВД.) Но генерал Липранди не хочет обременять и графа Перовского, понимая, что возможности министра внутренних дел тоже не столь велики. Иван Петрович поступает мудрее. Он адресуетя прямо в III Отделение: именно Дубельту надлежит теперь озаботиться нуждами скромного, но, разумеется, заслужившего поощрения героя.

Тем более что письмо Антонелли не исчерпывается просьбой об устройстве сестер. Автор вспоминает и о себе.

Он сообщает Липранди, что у него имеется «задушевная просьба», с которой он, Антонелли, носитя уже третью неделю и которую у него не хватало решимости огласить. Ибо это для него — сушая мука: «какая-то тяжесть наваливается на меня» — и он готов оставить все «до удобнейшего случая». И все же, одолев природную деликатность, автор письма излагает суть.

«В настоящее время я нахожусь без всяких занятий — у меня нет ни уроков, ни переводов, одним словом решительно ничего, чем бы я мог что-нибудь себе заработать. Жалованье я получаю бездельное, а каждый месяц должен выплачивать и за квартиру и портному и проч. Сверх того, чтобы выиграть у нас в Министерстве что-нибудь на службе, нужно как можно более знать языков; и, пользуясь возможностью, я уже взял 20 уроков Английского языка у Турнерелли, ныне я бы за очень дешевую цену мог изучить Италианский язык и усовершенствоваться во Французском, но, к несчастью, у меня решительно недостает к тому средств».

Блестяще исполнив возложенную на него секретную миссию, не имеющую, правда, отношения к вопросам внешней политики, прилежный чиновник ведомства иностранных дел теперь всерьез озабочен своей дальнейшей карьерой. Но ситуация довольно пикантная. Липранди настаивает, что его агент действовал бескорыстно. (Ниже будут приведены и другие его уверения на этот счет.) С другой стороны, документально известно, что Антонелли получил за свои труды приличную сумму — 1500 рублей серебром. Как разрешить это недоумение?

Следует вновь обратиться к первоисточникам.

Донос как состояние души

30 апреля 1849 года (миновала неделя после арестов) граф Орлов препровождает в Следственную комиссию записку, «полученную от чиновника Антонелли». На первой ее странице сделана лаконичная помета: «Переговорим». И ниже — заверительная надпись: «Собственной Его Величества рукою написано карандашом: «Переговорим». Ген.-лейт. Л. Дубельт». (РГВИА, ф. 801, оп. 84/28, 4 отд., 1 стол, 1849 г., св. 387, № 55. ч. 1.)

Выяснить происхождение этой бумаги не составляет труда. Очевидно, сразу же по завершении акции 23 апреля Антонелли подготавливает для III Отделения своего рода итоговый отчет. В нем содержатся краткие характеристики некоторых проходящих по делу лиц (Достоевский в этом перечне отсутствует: очевидно, по слабости его с Антонелли знакомства). Документ попадает на стол к императору, прочитывается им и снабженный высочайшей пометой возвращается к графу Орлову. (Разумеется, к графу, а не к автору документа относится доверительное императорское «Переговорим».) Тот пересылает сочинение Антонелли в Следственную комиссию.

Текст этот любопытен еще и в том отношении, что, живописуя характеры и излагая образ мыслей своих поднадзорных, автор уделяет некоторое внимание и собственной персоне. Он находит уместным войти в обсуждение тех мотивов, которые подвигли его совершить то, что он совершил.

«Я принял возложенное на меня поручение, — говорит Антонелли, — не из каких-нибудь видов, но по чистому долгу всякого верноподданного и истинного сына Отечества».

Для сочинителя записки отнюдь не безразлична моральная сторона вопроса. С не меньшим тщанием, чем образы обличаемых им вольнодумцев, он старается изваять собственный благородный портрет. (Уместно заметить, что тут он как автор может быть сопоставлен с другим литератором, который благодаря его милости томится в Алексеевском равелине.)

Антонелли пишет: «Если бы даже я и не был наведен Генералом Липранди на замыслы Буташевича-Петрашевского, но сам каким-нибудь случаем попал в его общество и открыл всю преступность его намерений, то и тогда бы точно так же, как и теперь, не остановился бы ни на минуту, чтобы открыть эти намерения Правительству. К тому бы понуждали бы меня и преданность к моему Государю, и желания спокойствия и счастья моему Отечеству».

Это — беспрюирышный ход. Автор записки не кичится своими заслугами, не старается уверить потенциальных читателей (а он мог догадываться, кто будет читать его добросовестный труд) в исключительности своих поступков. Он незаносчив, чистосердечен и прост. Читателям дается понять, что на его месте так поступил бы каждый.

(Липранди, который оценивает своего агента весьма высоко, полагает иначе. Он говорит, что здесь одной благонамеренности мало, ибо вводимое в круг злоумышленников лицо должно интеллектуально соответствовать тем, кто, как это ни горько признать, порой тонок, образован и умен. Кроме того, агент должен стать «выше предрассудка», благодаря которому молва будет пятнать его «ненавистным именем доносчика». Ради общего блага он должен пожертвовать собой.)

Антонелли завершает свое сочинение так: «Написав эту откровенную записку, я чувствую, что исполнил долг честного человека, и совесть теперь во мне спокойна».

Нет, образование все же великая вещь! Скажем, не очень грамотные агенты Шапошников и Наумов не сумели бы порадовать начальство таким изяществом слога и деликатностью чувств. Да у них и не было в этом особой нужды. С их точки зрения, то, чем они занимались, — дело житейское: с ним можно упориться и без литературных красот.

Антонелли, однако, заботит, чтобы ему не было отказано в звании *честного человека*. Он наносит своим недоброжелателям (которые, как он справедливо догадывается, могут и обнаружиться) упреждающий удар.

«Одной только милости я теперь желаю для себя, чтобы мои труды не были вознаграждены деньгами. Покойная совесть, что я, как честный человек, исполнил долг верноподданного и долг гражданина, что я хоть чем-нибудь да мог служить к продолжению столь всеми желаемого спокойствия моего любезного Отечества — вот единственная моя награда, всякая другая унизила бы меня в моих собственных глазах».

Кто способен обозначить границу, где чистейшей воды идеализм плавно переходит в тонкий иезуитский расчет? Антонелли прекрасно понимает, что высшее правительство, если только оно желает соблюсти видимость приличия, вынуждено руководствоваться тем кодексом дворянской чести, который худо-бедно утвердился на Руси в последние полтора века. (Шервуд Верный, несмотря на всю принесенную им отечеству пользу, так и не сделался примером для всеобщего подражания.) Антонелли как бы подыгрывает власти, уверяя ее, что он лишь поддался порыву гражданского чувства. («Такие агенты за деньги не отыскиваются», — скажет позднее Липранди.) С другой стороны, не может же власть оставаться неблагодарной. Тронутая великодушным отказом от заслуженных автором записки денежных поощрений, она, надо думать,

изыщет способ достойным образом вознаградить бескорыстного ревнителя общего блага¹.

Многообещающее царское «Переговорим» как будто свидетельствует в пользу именно такого сценария.

По-видимому, в процессе своего «внедрения» Антонелли действительно не получал никаких денежных компенсаций — за исключением, может быть, небольших агентурных сумм на карманные расходы (извозчики, рестораны, поддержание дружеских застолий и т. п.). Основную же награду в 1500 рублей ему пожалуют только осенью — ближе к завершению дела, — и он от нее не откажется. Но сейчас, в июле, он чувствует себя несколько обойденным.

Меж тем он желает усовершенствоваться в английском и итальянском (похвально стремление изъясняться на языке праотцов), не говоря уже о всегда необходимом французском. Проситель, однако, не таков, чтобы требовать казенных пособий — тем более только что он их сурово отверг. Стараясь сохранить вид порядочности, он готов подсказать достойный, а главное, необременительный для правительства выход.

«Находясь в таком положении, — продолжает он свое письмо к Липранди, где речь идет о безденежье и желании заняться языками, — я решился прибегнуть к Вам, Ваше Превосходительство, с покорнейшею просьбою — выхлопотать для меня за открытие контрабанды у Лури хотя менее обыкновенного в таком случае даваемого процента, но столько, чтобы я мог продержаться до Ноября или Декабря месяца, т. е. до времени, когда я надеюсь получить место, которое совершенно обеспечит мое существование».

Он просит некую сумму «за открытие контрабанды у Лури». Что, собственно, он имеет в виду?

«Все произведено через книги...»

Иосиф Карлович Лури владел книжным магазином на Невском, в доме Голландской церкви. Помимо обычных негоций, он извлекал неплохие доходы из торговли запрещенным товаром: книгами, без одобрения цензуры ввозимыми из-за рубежа.

Антонелли писал в одном из своих донесений:

«28 марта я был у известного лица (Петрашевского. — **И. В.**) и застал его за сочинением списка книг, которые он выписывает для себя и своих знакомых из-за границы, через книготорговца Лури. Книги эти заключались в сочинениях Прудона, Фурие и тому подобных. Окончив свой список и написав еще письмо, известное лицо просило меня занести все это к Лури, что я исполнил с точностью».

Две запрещенные иностранные книжки, обнаруженные у Достоевского при обыске, возможно, проникли в столицу через торговлю Лури.

Отвечая на вопросы Следственной комиссии, обвиняемый Ахшарумов позволил себе выказать некоторую (правда, слегка запоздалую) тревогу об этом важном, но, к сожалению, ускользнувшем от внимания правительства предмете: «Так как все произведено через книги, то я полагаю, что надо строже еще надзирать за ввозом книг, особенно за тем книгопродавцом, через которого получил их Петрашевский, очень может быть, что Лури».

Антонелли, познакомившись с Лури, не стал дожидаться от него нескромных предложений. Он сам *организует* события. «Воспользовавшись комиссией, которое дало мне известное лицо к Лури, я просил сего последнего выписать и для меня несколько запрещенных книг по данному мною ему списку, что он и обещал исполнить. Книги как для известного лица, так и для меня приедут с первым или вторым пароходом».

Надо думать, деньги на эти чрезвычайные траты Антонелли тоже брал не из собственного кармана.

¹ Вообще некоторые петрашевцы полагали, что дело, затеянное против них, было спровоцировано частными интересами отдельных лиц. «...Просто Антонелли понадобились деньги...» — утверждает П. А. Кузьмин. На эту причину он прямо указывает членам Следственной комиссии: «Как жаль, что доносчики, может быть, в надежде на большой гонорар, за неимением материала, сочиняют и клеветают на людей...» На что князь Гагарин резонно возразил: «Правительство своими агентами ограждает общество от распространения в нем вредных идей». При этом, однако, князь предпочел не касаться финансовой стороны вопроса.

Лури понес сравнительно легкое наказание: «за несоблюдение цензурных правил» он был выслан из Петербурга. Однако в бумагах Липранди содержится указание на то, что книгопродавцу грозили куда более страшные кары.

Липранди говорит, что по высочайшему повелению было приказано опечатать магазин Лури и отобрать всю запрещенную литературу. «Затруднений не представилось: Фурье и всевозможные ему подобные авторы открыто стояли на полках. В два дня отобрано было до двух тысяч семисот томов». (РГБ, ф. 223, к. 221, ед. хр. 3.)

Но этим дело не кончилось. Дубельт объявил, «что Лури подлежит ответственности по первым трем пунктам уложения о наказаниях, следовательно, как купец 3-й гильдии, независимо от каторги, но и наказанию публично плетью». Таким образом, вконец разоренному Лури светила не только Сибирь. Как лицо, не принадлежащее к благородным сословиям, он мог быть публично высечен на одной из городских площадей. Эта угроза была куда более ошутимой, нежели пресловутое опускание пола в одной из зал III Отделения.

Липранди находит нужным заметить, что он вкупе с министром Перовским выступил в защиту несчастного книгопродавца. «С большим трудом министр внутренних дел настоял на том только, что Лури без наказания выслан был на жительство в Пермскую губернию. В сущности,— заключает Липранди,— не опять ли тут было виновато III Отделение, обязанное наблюдать, чтобы книги вредного содержания не распространялись, а у одного Лури стояло их открыто на полках тысячи томов!»

Антонелли в свою очередь полагает, что это именно он вывел Лури на чистую воду. Он знает законы: за открытие контрабанды открывателю полагается известный процент — от стоимости конфискованного товара. «Тысячи томов», изъятых у Лури, тянут на изрядную сумму. Но Антонелли соглашается действовать даже себе в убыток: он готов взять меньший, чем положено в таких случаях, процент. Не обрета пока за свои труды ни копейки, он желал бы получить хоть какой-то профит — тем более, если таковой предусмотрен великодушным законом.

Вряд ли проситель догадывается об одном обстоятельстве. А именно о том, что письмо его к Липранди заключает в себе ряд реминисценций из Достоевского (в том числе из его еще не сотворенных романов).

В ожидании Азефа

В самом деле: кто пишет его превосходительству? Пишет *маленький человек* — чиновник 14-го класса, но при этом, как, скажем, герой «Двойника», лицо, не лишенное амбиций. Кто он такой? Он агент, ведущий призрачную двойную жизнь: своего рода тоже *двойник*. Он жертвует своей репутацией ради любимого им семейства. Как «вечная» Сонечка Мармеладова, которая отправляется на панель, чтобы спасти от голодной смерти маленьких брата и сестер, так и самоотверженный Антонелли занимается неблагородным ремеслом, дабы подать пропитание (в том числе и духовное!) несовершеннолетним членам семьи. Он *тоже* как бы жертвует собой — в пользу ближнего.

И через час принесла торопливо
Гробик ребенку и ужин отцу.

(«Ужин ребенку и гробик отцу» — как всегда, не упустит случая поглотиться над разночинским пафосом много о себе понимающий автор «Дара».)

Можно было бы вспомнить еще и Дунечку Раскольникову, готовую ради обожаемого брата пойти на брак с ненавистным Лужиным. Сравнения, впрочем, хромают: Антонелли принес свою жертву вполне добровольно.

Заметим, однако: героя «Бесов», Верховенского-младшего, зовут так же, как Антонелли: *Петр*. Да и многими своими повадками он сильно напоминает агента-провокатора. (Недаром Ставрогин осведомляется у него, не из высшей ли он полиции.) Что ж: дистанция между «литературой» и «жизнью» в России очень условна.

Петр Степанович Верховенский напрямую как будто бы никого и не выдавал. Однако его замечания относительно некоторых собственных поступков в высшей степени любопытны.

Петр Верховенский в беседе с губернатором Лембке: «Видите-с,— начал он с необыкновенною важности,— о том, что я видел за границей, я, возвра-

щаяся, уже кой-кому объяснил и объяснения мои найдены удовлетворительными, иначе я не осчастливил бы моим присутствием здешнего города. Считаю, что дела мои в этом смысле покончены, и никому не обязан отчетом. И не потому покончены, что я доносчик, а потому, что не мог иначе поступить».

Нетрудно догадаться, где именно побывал по возвращении из Европы Петр Степанович и с кем он делился своими заграничными впечатлениями. Там остались им вполне довольны. Мы, правда, не знаем, какие конкретные обстоятельства заставляют «мошенника, а не социалиста» (его собственное признание) отрешиваться от звания доносчика. (Естественно, после визита туда подобные подозрения не могли не возникнуть.) Но следует признать, что его толкования на этот счет губернатору Лембке крайне неубедительны.

Вообще «ультраревольюционер» Петр Верховенский — фигура очень двусмысленная.

«...То движение, которое порождается и руководится Верховенским, — писал в 1914 году С. Н. Булгаков, — есть порождение духовной провокации, в которой лишь одним из частных случаев является провокация политическая». В этой связи Булгаков называет еще одно знаменитое имя: Азеф.

Конечно, скромные задатки Антонелли несопоставимы с блистательным талантом того, чье имя сделалось мировым синонимом предательства и кровавого лицедейства. (Хотя жертвам первого из них тоже грозила смерть.) Но «сын живописца» не просто «закладывает»: он (да простится нам этот не самый удачный каламбур) закладывает традицию. Он и Азеф — два конца слишком неразрывной цепи.

«Страшная проблема Азефа, — продолжает С. Н. Булгаков, — во всем ее огромном значении так и осталась не оцененной в русском сознании, от нее постарались отмахнуться политическим жестом. Между тем Достоевским уже наперед была дана, так сказать, художественная теория Азефа и азефовщины, поставлена ее проблема». Подпитывалась ли эта «художественная теория» только феноменом Нечаева или же тут был востребован и собственный опыт автора «Бесов»?

Как, однако, выглядел Антонелли?

«Лицо его никому не нравится...»

Сохранилось лишь одно беглое описание героя — в воспоминаниях П. А. Кузьмина. Мемуарист изображает «итальянчика» как невысокого блондина «с довольно большим носом, с глазами светлыми, не то чтобы косыми, но избегающими встречи, в красном жилете».

Неблагодарное дело — пытаться найти портретное сходство между литературным героем и его предполагаемым прототипом. Тем более — у Достоевского, художественная воля которого обладает могучей способностью к преображению сущего. Автор «Бесов» никогда не фотографичен.

Встречающиеся у него переклички с «внетекстовой реальностью» всегда неявны и многозначны.

Как изображен Петр Степанович Верховенский?

«Это был молодой человек лет двадцати или около того, немного повыше среднего роста, с жидкими белокурыми, довольно длинными волосами... Одетый чисто и даже по моде, но не щегольски; как будто с первого взгляда сутуловатый и мешковатый, но, однако ж, совсем не сутуловатый и даже развязный».

Общего с Антонелли здесь, пожалуй, немного: разве что тот и другой — блондины. Практически совпадений больше нет никаких. (Если не считать присущей обоим *развязности*: правда, у каждого из них она имеет собственный оттенок.) И, пожалуй, лишь какое-то интуитивное чувство заставляет нас пристальнее взглянуть в эту условную пару.

«Никто не скажет, что он дурен собой, но лицо его никому не нравится, — говорит Хроникер в «Бесах» о Петре Степановиче. — Голова его удлинена к затылку и как бы сплюснута с боков, так что лицо его кажется вострым. Лоб его высок и узок, но черты лица мелки; глаз вострый, носик востренький и маленький, губы длинные и тонкие».

У Антонелли нос — большой; у Верховенского — «востренький и маленький». Впрочем, частные различия не отменяют общего сходства.

Хроникер замечает, что Верховенский-младший очень словоохотлив: он *вязывается* с разговорами, пытаясь при этом разговорить других. Во время общих «идейных» бесед Антонелли больше помалкивает. В двусторонних же общениях (с Толлем, Петрашевским, Балосогло и другими) он чрезвычайно активен.

«Этот господин, — говорит современник, — судя по участию, которое он принимал в разговоре, был не без образования, либерален во мнениях, но участие его было по преимуществу вызывающее других к высказыванию». (Верховенский-младший тоже «не без образования»; что же касается его либерализма, он превосходит все мыслимые пределы.) «Главному агенту», конечно, далеко до «главного беса» в известном романе. Можно сказать, что Антонелли пока только *учитсЯ*.

Заслуживает внимания и платье, вернее, манера героев одеваться.

Верховенский одет «по моде, но не щегольски». Красный жилет Антонелли — знак некоторого фатовства.

У Достоевского есть род персонажей, которые очень внимательны к своему внешнему виду. Это — лакеи в «Селе Степанчикове» и «Братьях Карамазовых»: Видоплясов и Смердяков. Заметим, что к тому и другому приложимо такое определение, как *бытовой доносчик*. Видоплясов докладывает («переносит») обо всем Фоме Фомичу; Смердяков шпионит за Грушенькой, «поставляя информацию» сразу двоим — брату Дмитрию и старику Карамазову.

И Антонелли, и Верховенского — повторим это еще раз — зовут Петр. Смердякова — Павел. Согласно Альтману, специально изучавшему этот вопрос, имена Петр и Павел у Достоевского всегда имеют отрицательную окраску; при этом они как бы взаимозаменяемы.

И еще один герой-провокатор, носящий то же имя, что и Антонелли. Это — Петр Петрович Лужин. Незаметно подсовывая Сонечке Мармеладовой тщательно сложенную денежную купюру достоинством в сто рублей, чтобы затем обвинить ее в воровстве, он действует по классическим канонам провокаторской науки. Можно сказать, что он применяет ту же методику, что и Антонелли, едва не соорудивший политический заговор среди солдат императорского конвоя¹.

Теперь обратимся к «красному жилету», который запомнился собеседникам Антонелли. Этот аксессуар не говорит об утонченном вкусе и скорее означает претензию на щегольство. Вспомним в этой связи названных выше лакеев: оба они по-своему хороши.

Прогулки в лакейской (К вопросу о прототипах)

Смердяков, «человек еще молодой, всего лет двадцати четырех», прибывает в дом Федора Павловича из Москвы «в хорошем платье, в чистом сюртуке и белье...». Он усердно употребляет помаду, духи и английскую вакуу для сапог.

Столь же тщателен в своих «туалетных привычках» и Видоплясов. «Это был еще молодой человек, для лакея одетый прекрасно, не хуже иного губернского франта...» Интересно, что обоим персонажам хотелось бы походить на заезжих иностранцев. Видоплясов прямо высказывает такое желание, а Смердяков весьма благосклонен к величающей его иностранцем Марье Кондратьевне.

Антонелли — единственный «иностранец» («итальянчик») среди посетителей Петрашевского. Скажем, поручика с «однотипной» фамилией — Момбелли — никому не приходит в голову зачислять в чужеземцы.

Но вернемся к внешности одного из обитателей села Степанчиково.

«Лицом он был бледен и даже зеленоват; нос имел большой, с горбинкой, тонкий, необыкновенно белый, как будто фарфоровый. Улыбка на тонких губах его выражала какую-то грусть и, однако ж, деликатную грусть. Глаза, большие, выпуклые и как будто стеклянные, смотрели необыкновенно тупо, и, однако ж, все-таки просвечивалась в них деликатность. Тонкие мягкие ушки были заложены, из деликатности, ватой».

Видоплясов, конечно, не слишком напоминает Антонелли. (Хотя наши сведения о физиономических приметах последнего слишком скудны.) Разве что

¹С этой целью Антонелли знакомит Петрашевского с несколькими черкесами из числа дворцовой охраны, специально отобранными начальством. Но, задумав поначалу внушить вольнолюбивым сынам Кавказа идеи федерализма, Петрашевский вскоре охладевает к этой затее.

большой нос подобен соответствующей детали, отмеченной современником у «сына живописца». И тем не менее во всем облике Видоплясова присутствует что-то «антонеллиевское». Может быть, вкрадчивая деликатность героя, его заложенные ватой «ушки»? Тот, кто должен внимательно прислушиваться ко всевозможным толкам и сплетням, чтобы докладывать Фоме Фомичу об услышанном, заграждает свой нежный слух: этим как бы подчеркивается, что его не интересует низкая вещественность комнатных пересудов.

Видоплясова нарекают «Верным»: находчивая дворня тут же переименовывает это в «Скверный». То есть с кличкой Видоплясова случается то же печальное превращение, что и с присвоенным доносчику Шервуду официальным титулом.

Грань, отделяющая домашнего шпиона от доносителя политического, очень тонка. Автор «Села Степанчикова» изящно обыгрывает этот мотив.

Но еще раз о внешности преданного наушника Фомы:

«Длинные, белобрысые и жидкие волосы его были завиты в кудри и напомажены... Роста он был небольшого, дряблый и хилый...»

Не будем уподобляться во всем обнаруживающим тайное сходство компартивистам. Ибо две «аукающиеся» детали — малый рост и белобрысость — еще ни о чем не говорят. Важна, однако, направленность художественного отбора.

Верховенский, Видоплясов и Смердяков — белокуры; в той или иной степени все они — модники; все они — примерно одного возраста. Скажем больше: все они — опять же в той или иной мере — *сочинители*. (Верховенский — автор стихотворения «Светлая личность»; герой «Села Степанчикова» — творец «Воплей Видоплясова»; Смердяков — по-своему интерпретирует исполняемые им под гитару чувствительные романсы.) О творческих способностях Антонелли нечего и говорить.

Все они обладают не очень приятной (чтобы не сказать — антипатичной) наружностью.

И — самое капитальное: всех их объединяет некая общая нравственная черта. Это — моральная нечистоплотность, уклончивость, «скользкость»; двусмысленность поведения, наличие «второго дна». Ни на кого из них нельзя положить.

Лакейство и шпионство по Достоевскому — вещи очень даже совместные.

В 1873 году в Петербурге вышел роман «Алексей Слободин. Семейная история в пяти частях». Под прозрачным авторским псевдонимом П. Альминский скрывался Александр Иванович Пальм. В романе (невеликих, впрочем, художественных достоинств: автор так и не написал обещанных «Отцов и Детей») были выведены некоторые посетители «пятниц».

«В этот момент Слободин (один из «составляющих» этого образа — Достоевский. — **И. В.**) заметил прямо перед собой двух человек, как будто изучавших не только каждое его слово, но каждый взгляд, каждую пуговицу его сюртука.

Один был молод; на лице его выражалась низменная застенчивость канцеляриста, таскающего исподтишка одну только казенную бумагу...» Пальм, будучи литератором довольно неуклюжим, наделяет отрицательного героя «низменной застенчивостью», заявляющей о себе при первом же на него взгляде. С другой стороны, это пишет *очевидец*...

Кузьмин говорит, что усиленное потчевание его заграничными сигарами и вообще нечто вроде ухаживания заставили его впервые обратить внимание на Антонелли. О навязчивости героя упоминает и Пальм, автор *исторического* романа: последний, кстати, не мог не заинтересовать изображенного в нем Достоевского. (Любопытно: читал ли роман Антонелли — конечно, при условии, что в 1873 году герой еще жив?)

Один из персонажей романа так определяет того, под кем разумеется Антонелли: «Молоденький — это дрянцо; заискивает общее благоволение, приглашая даже к себе... квартирует он с одним отличным человеком (с Феликсом Толлем. — **И. В.**), несмотря на то, никто к нему не пошел, — уж больно малый-то плох!.. Забыл его фамилию — какая-то итальянская».

Первый биограф Достоевского О. Ф. Миллер свидетельствует: «По словам Ф<едора> М<ихайловича>, когда он (Антонелли. — **И. В.**) явился, то все тотчас поняли, что это шпион, и сказали Петрашевскому, а когда Антонелли позвал к себе, то никто не пошел».

Брат Достоевского, Михаил Михайлович, впоследствии признавался А. П. Милукову, что Антонелли «давно казался ему подозрительным». Но все это будет *потом...* Человек, с горестным изумлением узнающий жестокую правду, склонен утешиться мыслью, что об этой правде он смутно догадывался и сам... Пока же посетители «пятниц» (в том числе автор «Двойника») с опаской поглядывают на ни в чем не повинного Черносвитова... Антонелли зовет «всех присутствующих» к себе. Это происходит в пятницу, 15 апреля, то есть в тот самый вечер, когда Достоевский оглашает знаменитое Письмо. Сам он к приглашавшему не явился. Что же касается его уверений, что в гости к Антонелли «никто не пошел», то это не совсем так. Малое количество публики (вместо ожидаемых тридцати — десять человек) на вечеринке 17 апреля (за пять дней до арестов) объясняется главным образом тем, что из-за подъема воды в Неве были разведены мосты. Неприязнь к организатору вечеринки («уж больно малый-то плох!») носит скорее ретроспективный характер.

Впрочем, для целей искусства (то есть для тех задач, которые ставит перед собой Достоевский) это совершенно не важно. «Признаки» Антонелли как бы растворены в образах, с ним корреспондирующих или, может быть, к нему восходящих. Его чертами (внутренними и внешними) одарены разные персонажи: только алчущий хоть какой-то поживы литературовед будет искать здесь буквальное сходство. Петр Антонелли (как, впрочем, и Николай Спешнев) не есть некий *обязательный* прототип: это лишь музыкальная тема, которую вольный автор разыгрывает, исходя из собственных романтических нужд.

Следует, по-видимому, гораздо осторожнее, нежели это делалось до сих пор, сопрягать биографическое событие с тем или иным его проявлением в тексте. Лишь все внутреннее биографическое пространство (как ментальное целое) может быть соотнесено со сферой художественных осуществлений. Живописец замечает черную ворону на белом снегу — в результате является «Боярыня Морозова». (Отсюда вовсе не следует, что ворона и есть ее *прототип*.) Художник реализует в творении (в каждой его строке) *весь* свой душевный и жизненный опыт. Текст свидетельствует о *всем* бытии, а не только об отдельных впечатлениях бытия.

... Но, пока Антонелли мается вынужденным бездельем и сочиняет эпистолы в адрес начальствующих лиц, следствие неостановимо движется к развязке.

Глава 12. «ДЕЛАЕТ УЖАСНОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ...»

Смертный приговор (Попытка юридической экспертизы)

В конце сентября дело наконец проследовало в следующую инстанцию.

Мятежников 1825 года (преимущественно гвардейских офицеров) судил Верховный уголовный суд. Для производства суда над «апрелистами», между которыми, как уже говорилось, военных насчитывались единицы, высочайше учреждалась особая Военно-судная комиссия. Как и ее предшественница, комиссия Следственная, она была смешанной по составу: три генерала делили бремя ответственности с тремя сенаторами. Председателем государь назначил В. А. Перовского (брата министра). Через тридцать два года его родная племянница махнет на Екатерининском канале платком — и прекратит царствование Александра II.

Осенью 1849 года Россия ни с кем не воевала (Кавказ — не в счет, ибо это относилось к категории дел *домашних*). Да если б даже и совершалась война, это еще не означало бы отмену законов гражданских. Для петрашевцев, однако, было сделано исключение. Их судили на основании Свода военных постановлений. Иначе говоря — сугубо военным судом.

В связи с последним обстоятельством у некоторых членов суда зародились робкие недоумения юридического порядка. Но, как явствует из всеподданнейшего доклада военного министра князя А. И. Чернышева, сомнения эти были рассеяны с помощью довода, более приличествующего не русскому, но английскому уголовному праву. А именно — указанием на *прецеденты*. После чего дело пошло как по маслу.

Наступила осень; рано темнело; в крепости по утрам топили печи. Пошло второе полугодие их заключения. Укоряя своих судей в медлительности, они были не совсем справедливы: горы исписанной бумаги росли день ото дня. Да и

кто, собственно, виноват в том, что для сидящих в одиночке и гуляющих на свободе время имеет обыкновение течь неодинаково?

Члены Военно-судной комиссии трудились не менее ревностно, чем господа следователи. Свет в квартире генерала Набокова не гас допоздна. Правда, самих обвиняемых беспокоили теперь гораздо реже: с ними и так все уже было ясно. *Судоговорение* заключалось в том, что дело — разумеется, в отсутствии тех, кто был обвинен, — читалось вслух. (Так как огласить весь текст оказалось немислимым, ограничились специально составленными извлечениями.)

Этот титанический труд занял полтора месяца.

«Оказывается, нас судили!» — воскликнул в свое время один из декабристов, ни разу не вызванных в суд, но любезно приглашенных для выслушивания вердикта. Нынешние подсудимые были лишены даже и этой малости. О приговоре они впервые узнали в момент исполнения.

Из двадцати трех человек, преданных суду, пятнадцать были приговорены к смертной казни расстрелянием, шесть — к более мягким исправительным мерам, один (Черносвитов) оставлен «в сильном подозрении», и один приговор (над девятнадцатилетним Катеневым) отложен ввиду того, что обвиняемый подвергся «расстройству ума» и был отправлен в больницу Всех Скорбящих. (Долготерпеливый закон так и не дождет его выздоровления — Катенев умер безумным в 1856 году.)

Помнил ли двадцатилетний Дмитрий Ахшарумов (он-таки доживет до восьмидесяти семи лет), взывая к милости государя ради заслуг своего отца, о том, что родитель его был в свое время прикосновенен к сочинению того самого Свода военных постановлений, согласно которому сына его осудили ныне на смертную казнь?

В самом приговоре судьи тщательно поименуют статьи, на основании которых они вынесли свое резюме и которые на эшафоте огласит аудитор. Очевидно, никому из приговоренных (кроме, пожалуй, Петрашевского) не приходило позднее в голову обратиться к первоисточнику. Никто из них не получит на руки копию приговора. Они услышат его впервые на эшафоте — в виде неразборчивой аудиторской скороговорки, подхлестываемой двадцатиградусным морозом.

В приговоре Достоевскому перечислены девять военно-уголовных статей. Взглянув на них трезвым ретроспективным взором, мы имеем возможность убедиться в том, что юридическое обоснование высшей меры, мягко говоря, не беспорно.

Статьи 142, 144, 169 и 170, 172 трактуют: о богохулении; о злоумышлении «противу священной особы Государя Императора»; о недонесении относительно указанных действий — в случае, если злоумышленник «имел твердую волю и намерение» их произвести.

Что касается Достоевского, предварительное следствие не доказало его вины ни по одному из означенных пунктов.

Письмо Белинского к Гоголю? Но в нем нет богохуления как такового (и даже дана высокая оценка личности Иисуса Христа); там лишь содержатся не лестные отзывы о православных попах и о религиозных чувствованиях народа. Нет, строго говоря, в письме и оскорбления величества — в том смысле, как понимает это закон. Зато высказывается неодобрение моральному состоянию отечества и общему ходу внутренних дел. Конечно, статья 174 предусматривает кару за издание письменных или печатных сочинений, «закрывающих поносительные слова к личным качествам государя или к управлению государством». Однако чтение вслух частного письма только при очень развитом воображении можно почтить его *изданием*. И если даже допустить, что Достоевский действительно виновен во всех этих прегрешениях, на его счастье существует статья 171 (не упомянутая в приговоре!), которая предусматривает, что смертная казнь может быть назначена лишь тогда, «когда преступления сии по особой их важности предаются Верховному уголовному суду; когда же они судятся в *Военно-судных комиссиях в мирное время* (выделено нами.— **И. В.**), тогда определяют наказание, заменяющие смертную казнь». Для дворян таковой заменой является «лишение всех прав состояния, преломление над головами их чрез палача шпаги и ссылка в каторжную работу».

Но пойдем далее.

Статьи 177—178 трактуют о бунте или восстании «скопом и заговором», сопряженными «с вооружением войск и насильственными действиями, как-то: грабежом, убийством, зажигательством, взломом тюрем» и т. д. и т. п. Ни сам Достоевский, да и никто из его друзей описанных ужасов не планировал и участия в них не принимал.

Для сравнения есть смысл обратиться к закону гражданскому. Так, Уложение о наказаниях содержит тоже не упомянутую в приговоре статью 297: имеющие у себя противоправительственные сочинения, но «не избобличенные в злоумышленном распространении оных» (а Достоевский категорически отрицал такое злоумышление) подвергаются «смотря по важности дела» аресту «на время от трех дней до трех недель или же токмо выговору в присутствии суда».

Выговору в присутствии суда суд предпочел смертную казнь — в своем отсутствии.

«Государство только защищалось, осудив нас», — скажет впоследствии Достоевский. Положим, что так; мера необходимой обороны была все же сильно превышена.

Вернемся, однако, к письму Антонелли.

Отцы и дети

Как развивались события после того как его адресованное Липранди послание очутилось у Дубельта на столе?

Надо признать, что III Отделение повело себя в высшей степени благородно. Всем просьбам Антонелли был дан законный ход. В деле сохранилась справка, кратко воспроизводящая суть вопроса.

«Чиновник Министерства иностранных дел, 14-го класса, Антонелли, который у Действительного Статского Советника Липранди был агентом при обнаружении поступков Буташевича-Петрашевского и его соучастников, также при открытии запрещенных книг у Лури, просит...» Далее по пунктам излагалось содержание просьб.

Никакой профессиональной ревности к агенту чужого ведомства чины III Отделения, как выясняется, не питают. Они полагают естественным и корректным, что обратились именно к ним. При этом, правда, они дополняют служебную справку одним существенным уточнением: «Открытие запрещенных книг у Лури было не таможенное распоряжение, а дело политическое, и потому здесь нельзя рассчитывать на награду, определяемую за открытие контрабанды». То есть, будь запрещенные книги обнаружены безотносительно к делу, разоблачитель получил бы свой законный процент.

Можно представить огорчение Антонелли: он терял верные деньги. И терял их единственно потому, что товар оказался особого свойства. Политический донос не должен содержать коммерческой подоплеки, а тем паче обогащать доносителя. Власть старалась блюсти чистоту жанра.

Что же касается устройства сестер, дело на первых порах тоже застопорилось.

16 июля Дубельт направляет отношения лицам, начальствующим над учебными заведениями. Излагая просьбу Антонелли, но не называя просителя по имени, Дубельт осведомляется: есть ли возможность ее исполнить?

19 июля Дубельту отвечают, что необходимых вакансий нет.

Тем не менее Леонтий Васильевич не оставляет хлопот. 30 июля он сообщает Липранди, что нужны документы сестер. Липранди спешит ответить в том смысле, что необходимые бумаги представит его превосходительству само заинтересованное лицо.

Здесь «роман в письмах» переходит в новую фазу. Антонелли вступает в прямые эпистолярные сношения с Дубельтом. Отныне он будет обращаться только к нему. Это знаменует как бы смену патрона.

(Не без зависти отметим невероятную для позднейших времен скорость бюрократической переписки. Нас, признаюсь, восхищает высокая *оборачиваемость* бумаг. Они, надо полагать, доставлялись с курьерами: интервал между «входящими» и «исходящими» не превышает нескольких дней. Конечно, на запросы управляющего III Отделением мало кто бы посмел замедлить с ответом. Но и само ведомство графа Орлова реагирует на почту очень оперативно.)

Антонелли незамедлительно посылает Дубельту требуемые бумаги. И посылает себе присовокупить к ним следующий текст:

«Хотя сестры мои и сироты и дочери Художника, который на протяжении тридцати пяти лет трудился на поприще Искусства и которого многие работы известны даже Государю Императору и, следовательно, они имеют некоторое право на поступление в казенно-учебное заведение, но со всем тем милостивую заботливость Вашего Превосходительства о помещении их я не иначе принимаю, как с чувством живейшей душевной благодарности, как истинное для нашего семейства благодеяние».

Он подписывается: «С истинным почтением и преданностью имею честь быть Вашего Превосходительства, милостивый Государь, покорнейший слуга П. Антонелли», — и в счастливом волнении помечает письмом 10 августа (тогда как, если верить служебной помете, оно получено адресатом 9-го).

В своем письме Антонелли упоминает покойного отца.

Его родитель Дмитрий Иванович Антонелли обнаружил признаки дарования в возрасте совсем еще юном. Он был зачислен воспитанником в Академию художеств повелением императора Павла в 1798 году: ребенку не было и семи лет. Он считался первым учеником, неоднократно получал поощрительные серебряные медали и окончил Академию в августе 1812 года (к этому же выпуску принадлежал и Сильвестр Щедрин) — в самый разгар нашествия двенадцати языков, среди которых обретались и его соплеменники. По окончании учения он награждается золотой медалью первой степени по разряду живописи исторической. В 1820 году его избирают академиком — за «поколенный портрет в натуральную величину г-на ректора Мартоса, с приличными художеству его атрибутами».

Он и позже будет не без таланта изображать сильных мира сего — в том числе императора Николая.

В 1825 году у него рождается сын Петр.

Жизнь Антонелли-старшего не потрясалась творческими безумствами. Он не принадлежал к богеме: сын его рос в почтенной семье. Главу семейства не обходили казенными заказами — он писал образа для церквей, фрески для Большого царскосельского дворца и т. п. Он не пользовался громкой известностью, но никто не мог отказать ему в усердии и мастерстве.

Одни из последних его созданий (он умрет в 1842-м) — «Воскресение Лазаря» и «Господь Саваоф во славе», изготовленные для Мариинской больницы в Петербурге — «аналога» той, московской, где некогда родился Достоевский. (Для автора «Преступления и наказания» сюжет с воскрешением Лазаря тоже не останется посторонним.) Образа были рассмотрены академиками, которые, «нашед их написанными с должной отчетливостью, положили отнестись о сем в контору Мариинской больницы и просить следующие за труды г. Антонелли 300 руб. сереб. ему выдать». За *свои* труды сын его будет вознагражден щедрее.

Антонелли-младший не унаследует талантов отца, работы которого, по его словам, «известны даже Государю Императору». Сам он станет известен царю благодаря иным дарованиям.

Говоря о пушкинской эпохе (которая от занимающих нас событий отстоит на каких-нибудь десять — двенадцать лет), В. Набоков замечает, что в ней нас «невольнo поражает явление скорее оптического, нежели интеллектуального характера». И поясняет эту мысль следующими словами: «Жизнь в те времена сейчас нам кажется — как бы сказать? — более наполненной свободным пространством, менее перенаселенной, с прекрасными небесными и архитектурными просветами, как на какой-нибудь старинной литографии с прямолинейной перспективой, на которой видишь городскую площадь, не бурлящую жизнью и поглощенную домами с выступающими углами, как сегодня, а очень просторную, спокойную, гармонически свободную, где, может быть, два господина беседуют, остановившись на мостовой, собака чешет ухо задней лапой, женщина несет в руке корзину, стоит нищий на деревянной ноге, — и во всем этом много воздуха, покоя, на церковных часах полдень, и в серебристо-жемчужном небе одно-единственное легкое продолговатое облачко».

Этот «оптический эффект» поразительным образом действует на наши умы. «Создается впечатление, что во времена Пушкина, — продолжает Набоков, — все знали друг друга, что каждый час дня был описан в дневнике одного, в письме другого и что император Николай Павлович не упускал ни одной по-

дробности из жизни своих подданных, точно это была группа более или менее шумных школьников, а он — бдительным и важным директором школы. Чуть вольное четверостишие, умное слово, повторяемое в узком кругу, наспех написанная записка, переходящая из рук в руки в этом непоколебимом высшем классе, каким был Петербург, — все становилось событием, все оставляло яркий след в молодой памяти века». Конечно, в конце сороковых «школа» видится порядком запущенной, наполненной случайным и праздным людом, однако постаревший «директор» по-прежнему старается заглянуть во все ее дальние комнаты и углы.

Но вернемся к архивной папке с кратким названием «Об агентах».

Получив от Антонелли документы сестер, Дубельт отсылает эти бумаги по назначению. 31 августа, очевидно, в уважении полицейских настояний, высокое учебное начальство спешит заверить генерала, что будет ходатайствовать перед императором в пользу отроковиц.

3 сентября Дубельт извещает Липранди (не Антонелли: того он удостоит личным ответом только единожды) о состоявшемся по сему делу решении. Государь повелел: в 1851 году старшую сестру Анну принять в Мариинский институт; среднюю, Надежду, допустить в 1851 году к баллотировке в Александровское училище. Младшей, Александре, было отказано по малолетству.

Пьеса под условным названием «Три сестры» этим не завершится.

«Молва, что я шпион...»

После сообщения ему высочайшей воли Антонелли отваживается на рискованный шаг. 28 сентября он вновь обращается к Дубельту. Он подробно изъясняет ему свои обстоятельства. Он пишет, что в 1851 году старшей сестре будет уже четырнадцать (очевидно, в первом письме к Липранди заботливый брат накинул ей пару лет), а средней, Надежде, — тринадцать. Принимают же в Александровское училище в десять — двенадцать лет; к тому же средняя сестра может не выдержат баллотировки. Старшие сестры, таким образом, могут остаться без образования, а содержать их он не имеет средств. Поэтому он покорнейше просит, если это возможно, «откорректировать» царскую милость: старшую сестру определить учиться немедленно; самую же младшую, которой в 1851 году должно исполниться 11 лет, полагать кандидаткой в Мариинский институт — на то место, которое обещано старшей. Эта блестящая комбинация совершенно устроила бы всех.

Да, Антонелли не только любящий, он сверх того — *отчаянный* брат. (Разве что Николай Васильевич Гоголь в уповании пристроить сестер в Петербурге столь же ревностно пекся об их судьбе.) Он продолжает докучать начальству своими просьбами вместо того, чтобы усиленно благодарить. Но Антонелли знает, на что идет. В свое оправдание он спешит привести резоны, ранее в его письмах отсутствовавшие. Резоны эти — сугубо политического свойства: они-то и сообщают всем его просьбам уже не частный, но государственный вид.

Он пишет: «Эту милость я тем более прошу Ваше Превосходительство исходатайствовать для меня, что, исполняя долг верноподданного, я каким-то несчастным случаем сделался жертвою. Не говоря уже, что я лишился всех моих частных занятий — и по части корректурно <й>, и по части переводов и уроков, на меня даже косятся и товарищи по службе. Молва, что я служу в Тайной полиции, что я шпион, — в настоящее время до того приняла сурьезный вид, что сделалось общим говором и что даже начали угрожать и не только мне, но и Действительному Статскому Советнику Липранди. Он, конечно, и по своему характеру, и по положению, и, наконец, по службе при Господине Министре Внутренних дел может пренебрегать и подобной молвой, и подобными угрозами, но я, который только начинает жить, который не знает, куда поставить ногу, чтобы твердо установиться, — я не могу пренебрегать подобной молвой, — она делает на меня ужасное впечатление. Поверите ли, Ваше Превосходительство, что я не смею даже идти к кому-нибудь просить работы, боясь встретить презрительный отказ».

Автор письма, написанного в дни, когда только что учрежденная Военно-судная комиссия приступает к своим трудам, хотя и несколько смущен, но по-прежнему откровенен и прост. Он не скрывает от власти, какие лишения вынужден претерпевать из-за того, что оказал государству важную, но лично для

него, Антонелли, гибельную услугу. (Недаром общие толки «делают на него ужасное впечатление».) Он намекает, что устройство сестер — не самая высокая плата за все его унижения и потери. «Я не ропщу на свое положение, но я желал его только объяснить Вашему Превосходительству», — пишет он Дубельту.

Через много лет об этом же скажет Липранди.

В неопубликованном «Введении по делу Петрашевского» отставной генерал сетует на то, что правительство не только не сумело сберечь преданных ему людей, но, напротив, поставило их в положение весьма и весьма щекотливое.

«Следственная комиссия, — пишет Липранди, — собираясь ежедневно, а иногда и по два раза в сутки, вела дело и требовала агентов для пояснения, а иногда и очных ставок и таким образом обнаруживала их тогда, когда к тому особенной необходимости не представлялось, ибо было достаточно улик в найденных бумагах».

Были ли призываем Антонелли для очных ставок? В документах следствия на этот счет нет никаких указаний. Не упоминают о таковых свиданиях и сами участники дела. Да и трудно допустить, чтобы правительство решилось на столь явное расклевывание агента, принадлежащего к тому социальному кругу, что и сами арестованные. Другое дело — Шапошников и Наумов. Ими (как говорит один герой Достоевского, «из простых-с») можно было пожертвовать без особых о том сожалений.

Впрочем, на одну очную ставку Антонелли был все-таки призван.

Выше уже упоминалось о том, что в памятную нам апрельскую ночь вместо Михаила Достоевского был ошибочно взят младший из братьев — двадцатичетырехлетний Андрей. Недавно окончивший строительное училище, он служил при департаменте проектов и смет и не имел ни малейшего понятия о том, чему посвящали свои досуги его старшие братья. Скоропостижный ночной арест не мог не поразить арестуемого: с ним, по его словам, «сделалось какое-то нервное потрясение». При обыске у него обнаружили изрядное количество спичек, которыми капитальный Андрей Михайлович усиленно запасался: в начале 1849 года, как это водится на Руси, разнесся внезапный слух об их скором подорожании. Молодой архитектор поначалу решил, что именно эти стратегические запасы вызвали недовольство властей и навлекли на него суровую кару.

«Брат, ты зачем здесь?» — изумился брат Федор, увидев брата Андрея в зале, куда на исходе ночи свозили всех арестантов. Младший не успел ничего ответить: их поспешили развести. Свидеться им придется через пятнадцать лет.

В своих воспоминаниях Андрей Достоевский подробно опишет тяготы, которые он вынужден был претерпеть в Петропавловской крепости: сырость и холод каземата (он спал, не снимая шинели), полную неизвестность, устрашающее обилие крыс. Изобразит он и первый допрос, когда, приняв Буташевича-Петрашевского за двух независимых лиц (о чем уже было сказано выше), он заронил в души следователей некоторые сомнения относительно своей причастности к делу. Однако его не выпустили немедленно: требовались свидетельства более положительного достоинства.

В Журнале Следственной комиссии за № 7 зафиксированы итоги ее честных усилий: «Комиссия, предполагая, что Андрей Достоевский взят не иначе как ошибочно, вместо брата своего Михайлы, для лучшего удостоверения в этом призывала в присутствие свое 14 класса Антонелли, который, увидев Андрея Достоевского, объявил, что это не тот, о котором значится в его донесении, и что он видел у Петрашевского другого брата, а именно Михайлу Достоевского» (РГВИА, ф. 801, оп. 84/28, 4 отд., 1 стол, 1849 г., св. 387, № 55, ч. 4). Андрей Михайлович был спасен.

Добросовестный мемуарист, излагая в своих записках эту столь удачно завершившуюся историю, не упоминает имени Антонелли. Скорее всего тот не был ему *представлен*: опознание происходило незаметно для опознаваемого лица¹.

¹ К чести Комиссии, она положила сообщить начальству А. М. Достоевского, что по ее, Комиссии, мнению, он «не только не должен потерпеть от временного ошибочного арестования его», но, напротив, она считала бы справедливым, если бы указанным начальством «сделано ему было ободрение к дальнейшему продолжению усердной службы».

Но похвальная осторожность в отношении «главного агента» наблюдается лишь в самом начале следствия. По мере его продвижения число небрежностей неуклонно растет. Были попораны священные для всех тайных *спецслужб* азы конспирации. Правительство без тени смущения обнажило перед «своими» негласные методы и приемы агентурной работы. В следственных и судебных бумагах, с которыми имели дело десятки людей (не только члены Комиссии, суда и генерал-аудиториата, но и многочисленные мелкие чиновники — секретари, письмоводители, переписчики и т. д.), имя Антонелли значится «открытым текстом». (В отличие, скажем, от некоторых секретных бумаг многоопытного Липранди, где, как знаем, вместо ряда имен наличествуют пустые места.) Неудивительно, что еще до конца процесса имя Антонелли становится *популярным*.

Но «вычисляют» агента и его несчастные жертвы.

Цена запоздалых прозрений

Русский человек (в том числе русский злоумышленный человек) крепок задним умом. По прошествии десятилетий доживающим свой век жертвам Антонелли начинает казаться, что он не сумел усыпить бдительность наиболее проницательных из них. «Петрашевский имел уже некоторые сомнения в личности А...», — пишет Ахшарумов в мемуарах, после длительных цензурных мытарств вышедших, наконец, в 1905 году. Многозначием деликатно прикрыто имя, уже не единожды упомянутое в печати. По уверениям воспоминателя, на предпоследней «пятнице», 15 апреля, хозяин дома предупреждает его, чтобы он не ходил к Антонелли. «Этот человек, не обнаруживший себя никаким направлением, совершенно не известный по своим мыслям, перезнакомился со всеми и всех зовет к себе. Не странно ли это, я не имею к нему доверия».

Можно было бы поверить словам Ахшарумова, если бы из донесения агента от 18 апреля с совершенной очевидностью не явствовало, что накануне, 17-го, Петрашевский у него, Антонелли, был — все на той же подпорченной разведанием мостов вечеринке. (Впрочем, как был и сам Ахшарумов.) И даже, о чем уже говорилось выше, принес великую жертву, употребив бутылку шампанского — дабы отвратить любезного его сердцу приятеля от сомнительных ночных кутежей.

Встретив незнакомого гостя среди обычных посетителей «пятниц», штабс-капитан Генерального штаба Кузьмин осведомляется у одного из них «об этом господине». Тот отвечает, что это «итальянчик Антонелли, способный только носить на голове гипсовые фигурки». На недоуменное вопрошение Кузьмина — для чего же указанный господин сюда приглашаем — спрошенный отвечает, не задумываясь, и его ответ нельзя не признать в высшей мере правдоподобным: «Да вы знаете, что Михаил Васильевич расположен принять и обласкать каждого встречаемого на улице».

Кто-кто, а Петрашевский «созревает» едва ли не последним. В крепости он, как сказано, грешит сначала на штатского члена Комиссии князя П. П. Гагарина, полагая его главным доносителем, а затем обрушивает свои подозрения все на того же злополучного Черносвитова. И лишь после того, как обвиняемого принуждают ответить на многочисленные вопросы, неизменно начинающиеся словами: «Антонелли сознался», «Антонелли показал», «по показанию Антонелли» и т. д., в его душе поселяются первые робкие недоумения. Постепенно сомнения крепнут — от допроса к допросу. Но только в исходе июня Петрашевский наконец *прозревает*. И дает своим следователям понять, что теперь-то он верно знает, где собака зарыта.

«Заметя особое благорасположение Леонтия Васильевича к Антонелли», тонко (как ему кажется) иронизирует он по адресу Дубельта, разумея, конечно, ту важность, которую один из членов Комиссии придает показаниям осведомленного итальянца. «Где ж преступление?! — восклицает Петрашевский. — Преступление находится в III Отделении». (Он все еще убежден, что дело затеяно именно этим ведомством.) Наконец, он произносит слово «провокация» — и заклинает следователей, чтобы только он, Петрашевский, пал ее единственной жертвой.

«Вся история провокации — если нужно — будет ото всех тайной глубокой... Я клянусь сохранить ее, <...> но не губите невинных. Пусть меня одного постигнет кара законов... Пусть не будет стыдно земли русской, что у нас как за границую стали являться *agent-provocateur*...» Он горько раскаивается в своей откровенности с Антонелли и, по сути, предлагает правительству сделку: обязуется не раскрывать никому *источник*, если другие не претерпят от провока-

ции никакого вреда. «Если мне не суждено было быть полезным человечеству, то да будет мое самопожертвование, вольное самозаклиание, полезно для отечества». Следователей, однако, нимало не тронет этот благородный порыв.

«Что Антонелли выпущен (из крепости; он там, кажется, и не сидел. — **И. В.**), — говорит Петрашевский, — сие я слышал от какого-то голоса, неизвестно мне откуда изшедшего». Не оценив арестантского юмора, кто-то из членов Комиссии отметит на полях эту фразу знаком вопроса.

Надеясь хотя бы немного умерить губительные последствия своих неосторожных бесед, Петрашевский пытается всячески дискредитировать показания Антонелли. Он повествует, как однажды, в день своих именин, тот пригласил его пообедать в ресторан «Минеральные воды» и, рискуя войти в некоторое противоречие с названием заведения, «насиленно заставил пить шампанское». (Купленное, надо думать, на казенные деньги.) Игривый напиток произвел сильное действие на угощаемого — по его уверениям, «не пившего никогда до чего ничего крепче свежей воды». (Бутылка во спасение Феликса Толла — опять-таки в присутствии Антонелли! — будет распита позже.) Именно этой сугубо медицинской причиной и были вызваны его, Петрашевского, неодобрительные слова об особе государя императора. Антонелли как бы принудил его (с помощью коварных и в порядочном обществе не употребляемых средств) к этим — на трезвую голову немислимым для него — речам. (Вновь вспоминается господин Лужин с его подброшенной сторублевой.) «Сия моя вина была так сказать приурочена г. Антонелли, которого для меня характер агента тайной полиции обстоятельством следствия сделался несомненным», — заключает Петрашевский.

Он сообщает Комиссии об этом своем чрезвычайном открытии лишь в ноябре, когда для большинства привлеченных к дознанию лиц роль Антонелли уже давным-давно очевидна.

Штабс-капитан Генерального штаба П. А. Кузьмин (тот самый, кто в ночь ареста будет захвачен полицией с не относящейся к делу дамой) окажется проныцательнее других. Еще 19 мая, на одном из первых допросов, он не сочтет нужным скрывать от господ следователей своего удивления некоторыми поступками Антонелли. Отвечая на вопросные пункты, Кузьмин вдруг отчетливо вспоминает, как недавно, в апреле, он вежливо отклонил приглашение нового знакомого пожаловать в гости: у самого Кузьмина именно в этот день тоже намечалась компания. «Так милости просим с гостями вашими», — радушно ответил Антонелли.

«Мне так странен показался этот способ составлять у себя вечера, — пишет Кузьмин, — что я взглянул на Антонелли и, не встретив его зора, отвечал: «Я не думаю, чтоб я мог предложить моим гостям подобное переселение». Кузьмин почти не скрывает от членов Комиссии, что он раскусил приветливого энтузиаста: «Пылкость воображения свойственна ему, господину Антонелли, как итальянцу. Неопытен же по юности». И далее (почти так же, как это будет делать впоследствии Петрашевский) пытается навести следователей на мысль, что нельзя особенно полагаться на агентурные сведения. Ибо агент вовсе не знает России — «как иноверец и чужеземец, направляющий деятельность свою на предметы, лично для него более выгодные».

Непонятно, почему догадливый штабс-капитан держит российского подданного за иностранца. Не потому ли, что ремесло шпиона пока еще не очень привилось на Руси? Это скорее экзотическая фигура. На такую вакансию проще определить пылкого сына Италии.

Очевидно, Кузьмину был предъявлен отчет Антонелли о вечере, бывшем 16 апреля у него, Кузьмина. Взыскательный наблюдатель (который вместе со своим новым дружкой Феликсом Толлем является к Кузьмину *во фраке*) утверждает, что при взгляде на собравшееся общество его «взяло какое-то омерзение, какая-то грусть, что еще до сих пор существуют подобные люди». С не присущим для его «объективного» стиля раздражением Антонелли вдруг произносит: «...видишь каких-то антиподов... людей, которые видят перед собой разбой и водку, водку и разбой».

Такие выражения глубоко возмутили ныне пребывающего в крепости хозяина дома. Некоторые из его гостей, с холодной яростью «отвечает» Кузьмин, «в душе своей сожалеют, что судьба не привела их быть действительно антиподами вышереченного господина». Вынужденный по настоянию Комиссии дать толкования на слова Антонелли, он говорит, что такие эпитеты, как «антипо-

ды» и «выходцы с того света», очевидно, поставлены для красоты слога или для силы выражения, «но я, по совести признаюсь, не вижу ни того, ни другого; может быть, потому, — заключает Кузьмин, — что я не занимаюсь подобного рода изящною словесностью».

У заключенного Кузьмина была редкая возможность утвердиться в своих подозрениях, так сказать, визуально. Он скажет в своих позднейших записках, что из форточки его каземата видны были приходившие в Комиссию лица — не под конвоем и в партикулярной одежде: «То были или шпионы-доносчики (Антонелли, Кош-ский), или шпионы-свидетели (Шаб-в)»¹.

П. А. Кузьмин умрет в 1885 году, в чине генерал-лейтенанта, в возрасте шестидесяти шести лет. Он закончит карьеру председателем военно-окружного суда. Но сам он, проведя пять месяцев в Петропавловской крепости, до военного суда, слава Богу, не досидит.

26 сентября 1849 года тридцатилетний штабс-капитан Павел Алексеевич Кузьмин, блистательно выиграв поединок с Комиссией, обретет наконец долгожданную свободу². Разумеется, он не станет скрывать от друзей и знакомых свои соображения относительно Антонелли. (Хотя и даст при освобождении из крепости подписку о неразглашении следственной тайны.) В своих мемуарах он с удовольствием отметит уже упоминавшийся нами случай с Белецким, который, встретив Антонелли на улице, воскликнул: «Как! вы, гнусный, подлый человек, осмеливаетесь подходить ко мне, прочь, негодяй!» Приведа эту патетическую сцену, Кузьмин добавляет: «Ударил Белецкий шпиона или нет, не знаю; жаль, ежели не ударил...» Мы помним, что Белецкого вышлют в Вологду: не столько в утешение Антонелли, сколько за публичный, возможно, сопровождаемый пощечиной, скандал.

Вскоре оскорбленному Антонелли доведется еще болезненнее ощутить силу общего мнения. Липранди, чьи собственные акции также пошатнутся, замыслит найти для своего протезе должность помощника столоначальника в одном из департаментов. Но, говорит современник, никто «не изъявил согласия принять его (Антонелли. — **И. В.**) в свой стол». Столоначальники, будь они трижды преданы интересам правительства, предпочитают при этом обходиться без соглядатаев.

Как и в других подобных случаях, Липранди возмущен *неаккуратностью* власти. «А такая огласка лиц, — пишет он в своих неопубликованных заметках, — действовавших из одного убеждения быть полезным, без всякой цели на вознаграждение, как, например, главный агент, проникнувший в общество, отказался от всякого денежного вознаграждения, а между тем оглашен был публично, и такой пример, конечно, остановит каждого верноподданного быть в таких случаях полезным правительству, а иногда отклонять большие несчастья».

Липранди понимает, что несанкционированная «огласка лиц» — это опасный прецедент. Сдача «своего» не может не отразиться на моральной репутации власти. Но, рисуя благородную фигуру потерпевшего, Липранди умалчивает о том, что бескорыстные заслуги Антонелли были, как выясняется, все же вознаграждены.

«Сам сего желаю» (Высочайшая милость)

28 сентября Антонелли, как помним, «предлагает» Дубельту новый проект устройства сестер. И снова просьбе дается скорейший ход. Уже 3 октября граф А. Ф. Орлов соединится с графом Л. А. Перовским по поводу указанного предме-

¹ Можно лишь догадываться, кого подразумевал Кузьмин под «Кош-ским» и «Шаб-вым». Скорее всего это малозамешанные Н. А. Кашевский и Н. Н. Шабишев: они действительно привлекались к допросу в крепости (и, следовательно, могли быть наблюдаемы из каземата), но не являлись шпионами.

² Его старший брат, Алексей Алексеевич Кузьмин, тридцатисемилетний отставной флотский офицер, также арестованный по доносу Антонелли (собственно, вместе с младшим братом, который проводил эту ночь у него на квартире), был выпущен еще раньше, 17 июня. Он — отец поэта Михаила Кузьмина, который в стихотворении «Мои предки» скажет:

Моряки старинных фамилий,
влюбленные в далекие горизонты,
пьющие вино в темных портах,
обнимающая веселых иностранок...

Если бы дело обернулось серьезнее, герой этих стихов надолго лишился бы возможности обнимать «веселых иностранок» (не из их ли числа была означенная выше дама?) да, пожалуй, и Серебряный век недосчитался бы одного из лучших своих поэтов.

та. Кратко пересказав историю с сестрами, шеф жандармов считает необходимым присовокупить следующее:

«Хотя чиновник Антонелли уже получил Всемиловейшую награду, между прочим, деньгами, но как награда эта далеко не обеспечила его так, чтобы он мог даже воспитать на собственный счет сестер своих, то имею честь покорнейше просить Ваше Сиятельство, не признаете ли возможным исходатайствовать Высочайшее соизволение Государя Императора на помещение сестер Антонелли в учебное заведение, согласно вышеизложенной его просьбе, присовокупив с тем вместе, что и я, по важности заслуги, оказанной Антонелли по делу Буташевича-Петрашевского, убедительнейше ходатайствую перед Его Императорским Величеством, о последующем же удостоите меня уведомить».

Суд над злоумышленниками еще вершится; смертный приговор еще впереди. Деньги, однако, уже получены. Антонелли, поначалу гордо отклонивший мысль о денежном вознаграждении и принявший оное, по-видимому, только для того, чтобы не обидеть правительство, настаивает на очередных привилегиях. Тем более что о денежной награде он как бы и не просил. Поэтому он вправе надеяться, что правительство наконец удовлетворит его семейные нужды.

Ждут благодарности и его незатейливые коллеги. 7 октября не забывающий своих подопечных Липранди ходатайствует перед Дубельтом о выдаче агенту Шапошникову золотой медали на шею, а агенту Наумову — медали серебряной и вкупе с нею 300 рублей серебром. (Возможно, он знает о привычке Леонтия Васильевича, исходя из знаменитой евангельской цифры, платить доносчикам сумму, кратную трем.)

Неизвестно, вошел ли министр Перовский со всеподданнейшим докладом или почему-либо счел за благо уклониться от этой чести. Во всяком случае, в дело вступает сам граф Орлов. 8 октября за своей и Дубельта подписями он изготавливает для императора очередную бумагу. Руководители тайного сыска извещают монарха: тот, благодаря кому было обличено злодейство, «сделался жертвой своего усердия». Он лишился уроков и переводов и не смеет просить работы, «боясь встретить презрительный отказ». (Здесь, как видим, дословно повторяются формулировки из письма Антонелли.) Его прежние знакомые и товарищи его по службе смотрят на него с *неудовольствием*. «Наконец молва, что он шпион, достигла до такой степени, что ему делались даже угрозы». (Не история ли с Белецким имеется тут в виду?) Обрисовав бедственное положение Антонелли, ходатаи просят императора всемиловейше устроить судьбу его несовершеннолетних сестер.

Царь не замедлит ответом. Генерал-лейтенант Дубельт, как и положено, заверит высочайшее по сему поводу резюме: «На подлинном собственной Его Императорского Величества рукою написано карандашом: «Сам сего желаю, но не могу нарушить коренных правил; условиться с А. Л. Гофманом², как удобнее это находится?»

Государь блюдет законы своей страны. Он не может руководствоваться собственными приязнями. Он не хочет нарушать «коренные правила» — даже по такому, казалось бы, ничтожному поводу. Он предлагает совместно обдумать дело.

Отсюда вовсе не следует, что император Николай Павлович не благоволил Антонелли.

Барон М. А. Корф приводит слова государя, сказанные им 24 апреля 1849 года — на следующий день после арестов: «...на полицию нельзя полагаться, потому что она падка на деньги, а на шпионов еще меньше, потому что продающий за деньги свою честь способен на всякое предательство». (Именно поэтому отказ Антонелли от денег должен был возбудить к нему августейшие симпатии: отказчик не ошибся в расчете.) И, перейдя на французский, государь назидательно добавил: «Это дело отцов семейств следить за внутренним порядком».

¹ Вообще-то демонстративный отказ от денег (которые ему пока никто не предлагал) может выглядеть и как подсказка правительству — в смысле, совершенно противоположном заявленному. Тут действует логика «от противного», когда, как говаривала А. Ахматова, при решительном авторском отрицании типа «Не гулял с кистенем я в дремучем лесу...» так и видишь разбойника.

² Очевидно, Андрей Логгинович Гофман — статс-секретарь, начальник IV Отделения Собственной Его Величества канцелярии, ведающего богоугодными и учебными заведениями ведомства императрицы Марии.

Любопытно, что в одном из своих донесений Антонелли передает слова Петрашевского о Гофмане — что тот «не больше, как надутый глупый немец, много о себе воображающий, который, имея возможность много сделать добра, в жизнь свою никогда его не делал и, вероятно, не сделает».

Конечно, отеческий надзор, который зиждется на отеческом же всеведении, куда надежнее сомнительных полицейских бдений. И сам государь, как отец большого семейства (он же «директор школы»), именуемого Россией, предпочел бы вовсе обходиться без шпионских услуг. Но как глава государства он обязан ценить подобное рвение. Он понимает, что Антонелли претерпел отчасти и по вине высших властей, оставивших его своим попечением. «Сам сего желаю», — пишет государь, имея в виду устройство антонеллиевских сестер. И это скромное пожелание имеет для исполнителей силу закона: ничуть не меньшею (а пожалуй, и большую) «коренных правил».

14 октября, заручившись высочайшей поддержкой, А. Ф. Орлов вновь обращается к А. Л. Гофману: он еще раз ходатайствует о сестрах. И вскоре Гофман сообщает графу высочайшую волю.

Государь поступил истинно по-царски (или, если угодно, «по-директорски»). Дабы не входить в конфликт с «коренными правилами» (в данном случае, очевидно, с отсутствием вакансий), он повелел принять старших сестер, Надежду и Анну, в Сиротский институт Петербургского Воспитательного дома — «пенсионерками Его Императорского Величества», а место, назначенное на 1851 год в Мариинском институте для старшей сестры, удержать в пользу младшей, Александры.

Таким образом, воспитание двух старших сестер Петра Антонелли оплачивалось из личных средств государя. Император умел быть благодарным.

Что же касается награждения агентов Шапошникова и Наумова, то III Отделение не стало утруждать себя чужими заботами. 17 октября Дубельт вежливо отписал Липранди, что по сему предмету надлежит обращаться к его, Липранди, непосредственному начальству, сиречь к министру внутренних дел.

...Может возникнуть вопрос: что нам Гекуба? С какой нам стати вникать в подробности чужих, довольно отдаленных от Достоевского жизней? Но биография автора «Карамазовых» — это, как уже приходилось говорить, «биография» всей России, *действующая модель* ее национальной судьбы. И наше кажущееся удаление от воображаемого центра на деле означает максимальное приближение к нему. Чем дальше мы отступаем от Достоевского — в охватывающий его исторический контекст, тем объемнее и яснее видится он сам: история предпочитает обратную перспективу.

Как, однако, сложилась позднейшая судьба Антонелли?

Глава 13. ЖИВОЙ ГРУП

Преимущества законного брака

Из белых и не очень внятных указаний, встречающихся в литературе, можно заключить: в 1851 году бывший сотрудник Липранди «окончил Петербургский университет по разряду восточной словесности; продолжал служить шпионом в полиции». Впрочем, никаких документов, которые бы прямо могли подтвердить последнее утверждение, в интересующем нас архивном деле не содержится. Возможно, эта версия основана на таких мемуарных источниках, как записки того же П. А. Кузьмина.

Кузьмин повествует о нравах, воцарившихся вскоре после описываемых событий. Он говорит, что шпионы, как и лакеи (вспомним аналогичные сближения у Достоевского), первыми являются во всякое публичное место; их впускают через особые (не парадные) двери — само собой, без билетов. «Отличаются они от лакеев тем, что лакеи в вязаных перчатках и без шляп, а шпионы в лайковых перчатках и со шляпами в руках». По словам Кузьмина (который после освобождения из крепости оставался под секретным надзором), он нарочно приезжал пораньше, «чтобы видеть впуск шпионов». Он полагает, что через боковые двери впускали агентов низшего сорта: «агенты позначительнее входили вместе с публикой». Не исключено, что эти впечатления навеяны той шпионобоязнью, которой, вполне естественно, мог быть подвержен Кузьмин после своих тюремных мытарств. «Видел нередко в числе выпускаемых и негодия Антонелли, — пишет он, — и должен сознаться, случалось, набирал я знакомых из молодежи и... подводил к Антонелли и просил их взглядываться в его наружность, чтобы он не втерся в кружок их знакомств».

Было ли III Отделение (а это теперь могло быть только оно) столь неразборчиво, чтобы использовать для дальнейших услуг уже *засвеченного* агента? Это сомнительно, хотя, конечно, редкость профессии и корпоративная солидарность могли подвигнуть начальство на этот рискованный шаг.

В своих рукописных заметках Липранди замечает: «III Отделение имело в виду употребить его (Антонелли.— И. В.), но ошиблось в своем расчете». Вряд ли можно заподозрить всезнающего генерала, что он плохо осведомлен о судьбе своего агента.

Судьба эта — в документах того же досье.

После оживленной переписки 1849 года наступает некоторое затишье. Лишь 26 января 1852 года статс-секретарь А. Л. Гофман доводит до сведения Дубельта, что сестра Антонелли Анна принята в Мариинский институт. (Возможно, это описка, так как принять должны, насколько помним, младшую, Александру.) Граф Орлов лично извещает об этом радостном событии счастливого брата.

Проходит еще год. Чем занимается недавний выпускник университета по разряду восточной словесности? Бог весть. Но, кажется, он увлечен не только восточными языками. 5 февраля 1853 года он посылает Дубельту следующее письмо: «Имея счастье столько раз пользоваться милостями Вашего Превосходительства, я осмеливаюсь снова обратиться к Вам с покорнейшей просьбой. Желая вступить в законный брак и не имея никаких средств к приведению в исполнение означенного желания и к необходимому обзаведению в хозяйстве, я беру смелость прибегнуть к Вашему Превосходительству, утруждая Вас передать Его Сиятельству Графу Алексею Федоровичу Орлову мою нижайшую просьбу об исходатайствовании для меня у Государя Императора вспомоществования в настоящем моем положении».

Антонелли 28 лет: возраст для брака вполне совершенный. Преданные им люди томятся в мрачных пропастях земли (Достоевскому пребывать там еще целый год) или тянут долгую солдатскую лямку. Антонелли женится. Кто же эта счастливица? Догадывается ли она о *боевом прошлом* своего избранника?

И еще: почему новоиспеченный жених просит вспомоществования именно у графа Орлова? Это объяснимо только в двух случаях. Либо он желает напомнить о своих былых, четырехлетней давности, заслугах, либо негласно служит по ведомству, руководимому графом. (Хотя формально состоит чиновником Министерства внутренних дел.)

К письму Антонелли, как водится, приложена служебная справка. Из нее явствует, что в 1849 году «во внимание к заслуге, оказанной чиновником Антонелли по делу Буташевича-Петрашевского, Всемилостивейше пожаловано ему, Антонелли, в награду 1500 рублей сер.». Отмечено также, что «по всеподданнейшему докладу просьбы Антонелли» средняя сестра его; Надежда, принята в Сиротский институт, а старшая, Анна,— в Мариинский (обе — пенсионерки государя), младшей же «по достижению установленного возраста» представлена вакансия в том же Мариинском институте. (Вот, значит, каков окончательный расклад.) Государство помнит все свои благодеяния и ведет им строгий учет.

Почему бы не выдать Антонелли вспомоществование из сумм III Отделения, не утруждая этой мелочью государя? Но по какой статье провести тогда этот сверхординарный расход? Ведь Антонелли, судя по всему, уже не агент. Его скорее всего привечают *как ветерана*.

10 февраля 1853 года граф Алексей Федорович вкуче с Дубельтом письменно докладывают просьбу Антонелли. Император, разумеется, *помнит*. И Орлов на исходящей бумаге пишет карандашом: «Высочайше изволил». О чем тут же сообщается управляющему Министерством финансов: «По высочайшему повелению имею честь покорнейше просить Ваше Превосходительство о приказании отпустить из Главного Казначейства, под расписку казначея 3-го Отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярии коллежского советника Клица, на известное Государю Императору употребление, пятисот рублей сереб.».

На этот раз соблюдена известная осторожность. Орлов не сообщает, для чего предназначены деньги (формула на «известное Государю Императору употребление» используется, как правило, для секретных расходов). Сумму должны отпустить не в руки самому получателю, а казначею III Отделения. Неужели оно наконец научилось беречь свой человеческий капитал?

Но тут в игру вступает сам нетерпеливый жених. У него неожиданно обнаживаются форс-мажорные обстоятельства. 15 февраля он пишет Дубельту:

«Так как деньги, назначенные мне Государем Императором на свадьбу, не могут мне быть выданы ранее будущей недели, между тем как моя свадьба должна быть 18-го февраля и я не могу отложить по случаю моего отъезда Великим постом в губернию, то осмеливаюсь всепокорнейше просить Ваше Превосходительство испросить у Его Сиятельства Графа Алексея Федоровича Орлова разрешения выдать мне следующую мне сумму из сумм III-го Отделения заимообразно, до получения из Главного Казначейства».

Из этого текста можно сделать по меньшей мере три заключения. Во-первых, что денег у Антонелли действительно нет и занять их ему не у кого. В противном случае, в расчете на верное получение, можно было бы прибегнуть к *частному* займу. Во-вторых, что он покидает Петербург, где должен был чувствовать себя не очень комфортно, и отправляется в провинцию. И, наконец, в-третьих, что его «свадьба» состоится 18 февраля: ровно через два года в этот день почует в Бозе император Николай.

Напрасно Иван Петрович Липранди сетовал, что его бывших агентов незаслуженно забывают. III Отделение, как всегда, идет навстречу желаниям своего давнего клиента. О чем свидетельствует подшитая к делу расписка: «Февраля 17-го дня 1853 года, я нижеподписавшийся Всемилостивейше мне пожалованные пятьсот рублей серебром получил. Титулярный советник Петр Антонелли».

Новобрачный с семейством покидает столицу. Но и на новом месте он не оставлен вниманием высоких опекунов. Вслед за отбывшим чиновником на имя его нового начальника, П. И. Шварца, направляется подписанная Дубельтом *неофициальная бумага*:

«Партикулярно

Милостивый Государь Петр Иванович!

Чиновник Министерства Внутренних дел Антонелли назначен ассессором Ковенского Губернского Правления.

По участию, принимаемому мною в этом чиновнике, приемлю честь поручить его Вашему, Милостивый Государь, покровительству, пользуясь случаем удостоверить Ваше Превосходительство в истинном моем уважении и преданности».

Такая рекомендация дорогого стоила в глазах местных властей. Она-то, видимо, и вдохновила Антонелли на новые шаги. Обладая высоким понятием о собственных дарованиях и ощущая тайное покровительство Петербурга, он задумывает весьма решительный шаг. 20 ноября 1853 года он вновь обращается к Дубельту. Выразив благодарность за прежние милости и твердо веруя «в неисчерпаемую доброту» своего адресата, он озабочивает его новой всепокорнейшей просьбой. Он говорит, что в Ковенском губернском правлении открывается вакансия советника. Чувствуя себя способным занять это место, а также «не имея почти никакой возможности прожить получаемым мною ныне содержанием, по чрезмерной во всем дороговизне», автор письма просит Леонтия Васильевича быть его ходатаем перед генерал-губернатором здешнего края и министром внутренних дел — с тем, чтобы те помогли ему получить искомую должность.

«Всегда встречая в особе Вашего Превосходительства самого милостивого помощника в моих нуждах,— заключает Антонелли,— я смею надеяться, что и ныне Вы не оставите без внимания мою убедительную просьбу к Вам».

На этом письме «милостивый помощник» накладывает не очень внятную резолюцию: «Он только в Ковно месяц назначен Ассессором Губернского Правления и касается не выше мест 10 класса. Должность Советника состоит в 6 классе и в оную назначить сегодня заслужил ли он».

Иными словами: начальство не может без чрезвычайных причин одобрить нарушения «коренных правил». Антонелли исправляет должность без году неделя. (Правда, все же не месяц, как полагает Дубельт, а по меньшей мере целых три.) Кроме того, претендуя на перемещение с места «не выше десятого класса» в номенклатурные заводы класса шестого, он нарушает субординацию. Поэтому Дубельт выражает сомнение относительно возможности столь быстрой карьеры.

Это сомнение окажется для просителя роковым.

«Надо иметь его в виду...»

Во «Введении по делу Петрашевского...», исчислив собственные обиды, Липранди пишет: «Между тем один из моих агентов получил два чина; сестры его приняты в институт на казенный счет, и сверх того выдано ему пособия 1500

р. с.». Учитывая, что совсем недавно Антонелли был чиновником 14-го класса, а ныне он как минимум титулярный советник, следует признать, что Липранди, как всегда, прав.

Интересно получается. Сначала Антонелли уверяет власть, что совершал свои подвиги совершенно бескорыстно, руководствуясь чистой любовью к Отечеству. Затем, немного поломавшись, принимает от этого отечества некоторое материальное поощрение. Со своей стороны он просит государство устроить его домашние дела. Вступая в законный брак и, видимо, полагая, что с ним все еще не рассчитались (с годами в нем могла крепнуть уверенность, что именно он спас Россию от гибели), он вновь напоминает о себе. И, наконец, войдя во вкус, требует дальнейших благодеяний.

Читал ли он «Сказку о рыбаке и рыбке»?

Между тем его единственной настоящей удачей остается блестящий дебют 1849 года. Можно сказать, что он живет на проценты.

Однако на сей раз просьба его не возымеет последствий. Исходя из упомянутой резолюции Дубельта, чиновники III Отделения быстро составляют нужный ответ, который 27 ноября и подписывает лично Леонтий Васильевич. Это — единственное его послание к Антонелли.

«Милостивый Государь, Петр Дмитриевич!

Получив письмо Ваше от 20 сего Ноября, в котором Вы просите моего ходатайства о предоставлении Вам открывающейся в ковенском губернском Правлении вакансии Советника, считаю долгом уведомить Вас, М. Г., что я не нахожу удобным принять на себя это ходатайство, как по слишком еще недавнему назначению Вас в должность, занимаемую Вами ныне и по несоответственности чина Вашего должности Советника, так и во внимание к тому, что испрашиваемое Вами назначение зависит от представления Начальника губернии.

Примите, М. Г., уверение в истин. уваж. и преданности»¹.

Как и в случае с книготорговлей Лури, это был сильный удар для просителя, по-видимому, очень рассчитывавшего на вмешательство высокой жандармской руки и получившего неожиданный абшид. Все же он находит в себе силы ответить Дубельту — в тоне, единственно возможном. 23 декабря 1853 года он пишет: «Считаю приятным для меня долгом поздравить Ваше Превосходительство с наступающим новым годом и от искреннего сердца желаю Вам здоровья и всевозможного счастья. Молю Бога, вместе с столь многими, которые осыпаны Вашими милостями и благодеяниями, чтобы он Всемогущий послал Вам, на радость нам, встретить многие и многие новые годы и проводить их всегда в веселии и спокойствии».

Он хорошо владеет накатанным канцелярским слогом, стараясь, впрочем, сдобрить его толикой эпистолярного лиризма. Он прекрасно понимает, что, как бы ни сложилась его судьба, Леонтий Васильевич — его единственная надежда и опора. Вечно подозреваемый знакомыми и сослуживцами в той деятельности, которая так и не доставила ему блестящей карьеры (может, и до Ковно дошли уже слухи о его петербургских геройствах), он отныне навек зависим от милостей и льгот небрежно пригравшего его учреждения. Только с этой стороны может ожидать он теперь тепла и сочувствия.

Он продолжает: «Письмо Вашего Превосходительства, от 27 Ноября, я имел честь получить и только по случаю болезни не имел возможности искренно благодарить Вас за Вашу столь дорогую для меня память и заботливость обо мне. (Очевидно, до самого Нового года колебался — не зная, как ответить.— **И. В.**) Если уж невозможно устроить моего назначения Исправляющим должностным Советника, я покоряюсь и повергаю мою будущность в милостивое расположение Вашего Превосходительства».

Письмо, очевидно, тронуло адресата. Распорядившись, чтобы эта *частная* корреспонденция осталась в официальном делопроизводстве, он написал на первой странице: «Надо иметь его в виду и не забывать о нем». Намек ли это, что Антонелли находится в *действующем резерве* и может еще пригодиться? Или просто ему не отказывают в дальнейшем спешествовании? (Дубельт, как справедливо заметит Герцен, всегда был учтив.)

¹ Сокращения в тексте документа объясняются, видимо, тем, что в дело подшита канцелярская копия.

Новогодние поздравления Антонелли от 28 декабря были получены в Петербурге 4 января 1854 года. В эти дни в омском остроге Достоевский обдумывает будущую статью «о значении христианства в искусстве» (она никогда не напишется, хотя тема будет волновать неотступно). До выхода с каторги остается еще целых двадцать дней.

«Так это Антонелли!» — подумали мы».

«И сатана, привстав...»

8 февраля все успевающий и во все вникающий Дубельт дает секретное предписание начальнику штаба Отдельного Сибирского корпуса: передать только что вышедшему из заключения Достоевскому письмо его брата, Михаила Михайловича (первое письмо, полученное им за четыре года!), с присовокуплением посылаемых братом пятидесяти рублей серебром.

На исходе зимы недавний каторжник направляется к новому месту службы — в 7-й Сибирский линейный батальон. Дорога из Омска в Семипалатинск тянется на юг вдоль Иртыша. Вокруг — голая и необозримая киргизская степь: «полное тоскливое однообразие природы», как говорит семипалатинский приятель Достоевского барон А. Е. Врангель. «То там, то сям чернеют юрты киргизов, тянутся вереницы верблюдов да изредка проскачет всадник».

Меж тем за тысячи верст от Семипалатинска трогается в путь и обитатель города Ковно. В первых числах апреля Управление Виленского военного губернатора и генерал-губернатора Гродненского, Минского и Ковенского извещает III Отделение, что чиновнику Антонелли с женой разрешен отъезд в Петербург. Хотя помянутый чиновник не состоит ни под гласным, ни под секретным полицейским надзором, курирующему его учреждению надлежит знать, где он собирается провести отпуск.

Итак, Антонелли вновь оказывается в Северной Пальмире. Ему совсем не хочется возвращаться в забытый Богом Западный край. Естественно, он предпринимает шаги, чтобы остаться в столице. Наученный недавним отказом, он предпочитает теперь обращаться к начальству неофициально и лично. Иначе трудно объяснить, почему граф Орлов ходатайствует перед новым министром внутренних дел Д. Г. Бибиковым о переводе ковенского чиновника Антонелли в Санкт-Петербургское губернское правление. Министр отвечает Орлову в положительном смысле.

Далее происходит нечто странное.

2 августа Антонелли пишет Дубельту новое письмо. Всячески извиняясь, что опять вынужден прибегнуть к его отеческому содействию, он напоминает о своей просьбе, поддержанной графом Орловым, — перевести его тем же чином в столицу. «Но, к несчастью, милостивое ходатайство Его Сиятельства осталось без последствий». В Ковно «по страшной во всем дороговизне» он существовать не может. Просить же перевода в другую губернию для него затруднительно, «потому что новый переезд за несколько сотен верст должен меня совершенно разорить». (Он так и пишет с двумя «з» — как бы подчеркивая звуком реальность угрозы.) Он говорит, что по Министерству внутренних дел, где он состоит, в Петербурге не предвидится для него места. Он должен вернуться в Ковно, разлучась с только что родившей женой и ребенком — «оставив их здесь в Петербурге на произвол судьбы». Он в отчаянии, что не может обеспечить семью. Только это подвигает его «со слезами в сердце» убедительнейше просить своего покровителя «исходатайствовать у Графа Алексея Федоровича Орлова, милостями и истинно Христианскою добротою которого я имел счастье столько раз пользоваться», чтобы он, Антонелли, был высочайшею волей определен по Военному министерству, в любой из его департаментов (называются при этом не худшие: Инспекторский, Провиантский) или по какому другому ведомству — «одним словом, везде, где благоугодно будет, лишь бы я получил место здесь, в Петербурге, и, соединив служебное содержание с частными занятиями, мог обеспечить существование своего семейства». Надо полагать, под «частными занятиями» он не подразумевает ничего дурного.

На этом письме две, разного почерка, резолюции:

1) «Ему теперь дать 50 р.» (рукою Дубельта).

2) «Нет» (рукою Орлова).

«Нет», судя по всему, относится к содержанию просьбы.

Повторяем: это выглядит странно. Почему учреждение, неизменно благоволившее заслуженному бойцу (что бы ни говорили позднейшие комментаторы о ревности профессионалов к любителю-чужаку), вдруг отворачивается от него столь категорично и резко? Почему не хотят оказать ему эту, в сущности, пустяковую милость — снова пристроить в столице? И, наконец, отчего ему бросают в виде подачки жалкие пятьдесят рублей, которых, кстати, он вовсе и не просил?

Ответов на эти вопросы мы не знаем. Можно только о чем-то догадываться или что-то предполагать.

Нельзя исключить, что Антонелли совершил какой-то опрометчивый шаг. Может быть, злоупотребил именем графа Орлова, заносчиво повел себя при объяснениях в своем министерстве, наконец, сделал скандал. То есть как-то скомпрометировал графа. Чем и вызвал пересмотр благоприятно решенного дела. Или, может быть, хвастал своими былыми заслугами, болтал лишнее и в результате лишился милостивого воззрения начальства. Тем более что новый министр внутренних дел Д. Г. Бибииков — стойкий недоброжелатель Липранди. «По инерции» он мог распространить это свое отношение и на его бывшего сотрудника и протеже.

Но не исключено и другое. Возможно, общественная реакция на появление в Петербурге Антонелли была столь негативной, что заставила власти желать его скорейшего удаления из столицы. (Вспомним свидетельство современника об отказе петербургских столоначальников дать ему место.) Возможно, он стал причиной или участником каких-то нежелательных инцидентов. Во всяком случае, трудно допустить, что резкое охлаждение к нему III Отделения — простая случайность.

Эта гипотеза подтверждается и тем обстоятельством, что больше в обширном делопроизводстве не встречается ни одного документа, который был бы подписан самим героем. История его романа с правительством обрывается на полуслове — на выданных под занавес пятидесяти рублях (о которых последует еще долгая переписка с Казначейством), на рождении у него ребенка, на грозящей ему нищете... Чтобы сказать, что с ним случилось дальше, следовало бы найти в архиве его формуляр...

Да и вообще — жив ли он?¹

Там бесы, радуясь и плеща, на рога
 Прияли с хохотом всемирного врага
 И шумно понесли к проклятому владыке,
 И сатана, привстав, с веселием на лике
 Лобзанием своим насквозь прожег уста,
 В предательскую ночь лобзавшие Христа.

«...И бросил *труп живой* в гортань геенны гладной», — говорит Пушкин, угадывая имя грядущей толстовской драмы и одновременно творя метафору моральной смерти «предателя ученика».

Антонелли не обнаруживает себя больше ничем. Зато в деле появляются ходатайства его матери. Несчастая не обошла эту семью. Старшую сестру Анну исключают из института — у нее обнаруживается падачая. (Было бы слишком жестоко предполагать, что недуг оказался следствием нервного потрясения, вызванного правдой о брате. Хотя существует версия — впрочем, не вполне убедительная, — что, например, Достоевского «священная болезнь» впервые настигла, когда он узнал о смерти отца.) Мать Антонелли несколько раз просит денег на содержание дочери. Она могла бы обратиться в Академию художеств — как вдова академика живописи. Но нет: она обращается в III Отделение — *как мать*. Лавры сына затмевают скромную славу мужа. Почтение к искусству не приносит доходов; зато заслуги шпионства, пусть скудно, но продолжают кормить. Правда, мать ни разу не упоминает о сыне. Но новый государь Александр Николаевич, конечно, осведомлен: время от времени он разрешает выдать вдове небольшую сумму — «на употребление, известное Государю».

В декабре 1861 года она просит в последний раз. Последние листы дела — 101-й и 102-й: к прошению приложена служебная справка о всех денежных выдачах за истекшие двенадцать лет.

Опять повторяется формула — «во внимание к заслуге, оказанной чиновником Антонелли по делу Буташевича-Петрашевского». Затем аккуратно исчисляются суммы: 1500 руб. в 1849-м; 500 руб. на свадьбу — в 1853-м; 50 руб. —

¹ Год смерти Антонелли неизвестен. В своих воспоминаниях, написанных в 1885 году, П. А. Кузьмин говорит о нем как о покойном. Но умереть он мог и значительно раньше.

в 1854-м. Итак, лично «главный агент» за все про все получил 2050 рублей серебром. Если считать отдельно по головам — цена не столь велика.

Не забыты в справке и сестры, по воле покойного императора принятые в казенные учебные заведения. Далее следуют сведения о вспомоществовании, в разное время оказанном матери Антонелли.

В марте 1857 года ей было исходатайствовано пособие «по случаю болезненного положения старшей ее дочери, исключенной за болезнью из Николаевского Сиротского института». Вдова получила тогда 100 рублей.

В июне того же года: «дано было ей из Шефских сумм сто рублей».

В апреле 1858-го: по высочайшему повелению вновь выдано сто.

В мае 1859-го: еще сто.

В декабре 1861-го она просит опять.

Сменилось царствование; большинство осужденных по делу о преступной пропаганде возвращены из Сибири; пало наконец крепостное право; проиграна Крымская война. Граф Орлов подписал прискорбный для России Парижский мир, сделался князем и председателем Государственного совета (через полгода он умер, по странной прихоти судьбы всего на десять дней пережив генерала в отставке Дубельта). Достоевский *вернулся* — не только в столицу, но и — в литературу.

Мать Антонелли бедствует и просит о помощи...

Резолюция на полях (17 декабря 1861 г.): «Высочайше разрешено дать сто рублей, истребовав эти деньги из Государственного Казначейства».

С 1857-го по 1861 год матери Антонелли было выдано пятьсот рублей. Скорее всего они пошли на лечение дочери, о судьбе которой некогда хлопотал самоотверженный брат. И если его хотя бы иногда мучила совесть, то — на небе ли, на земле — он мог иметь это горькое утешение.

Глава 14. РОССИЯ И ЕВРОПА

Игра в поддавки

16 ноября 1849 года Военно-судная комиссия вынесла свой приговор. Но это решение еще не имело окончательной силы. Военное правосудие (как известно, самое скорое в мире) при управлении отечески-патриархальном может вершиться с неторопливостью эпической.

Две важные инстанции дожидались своего часа. Первая — генерал-аудиториат, то есть высший ревизионный военный суд. Вторая — единственно значимая — государь.

Чем выше — тем строже чистота жанра. Восемь генералов — на сей раз без всякой примеси партикулярного элемента — еще раз изучили дело (точнее, составляющие его бумаги) и вынесли резюме.

В решении генералов — что, впрочем, от них и ожидалось — предусматривалась маленькая военная хитрость. С одной стороны, генерал-аудиториат ужесточает приговор, не делая различий между виноватыми и признав всех подсудимых (за исключением отсылаемого в Вятку Черносвитова¹) достойными смерти. Попеняв таким образом на либерализм предшественников и заявив собственную гражданскую зрелость, высший военный суд, с другой стороны, позволил себе принять в уважение ряд облегчающих обстоятельств, как-то: признаки истинного раскаянья, юность лет, а также, главным образом, то, что благодаря бдительности правительства «преступные <...> начинания не достигли вредных последствий». Поэтому генерал-аудиториат «на основании правил, в руководство ему данных», всеподданнейше осмеливается ходатайствовать о замене смертной казни набором более скромных наказаний, каковые тут же и излагались.

Это была игра в поддавки: роли распределялись заранее. Надлежало карать как можно строже, дабы рассчитанный наперед порыв монаршего великодушия не был сдержан снисходительностью закона.

Впрочем, в ряде случаев государь не стал оспаривать мнения высоких судей. Он *согласился* с вечной каторгой Петрашевскому, с пятнадцатью годами Григорьеву и Момбелли, с двенадцатью — Львову. Зато не утвердил ни одной ссылки на поселе-

¹ Одноногий Черносвитов по конфирмации будет водворен для жительства в Кексгольмскую крепость: тому, кто оставлен «в сильном подозрении», даже не будучи формально арестантом, приличнее пребывать под охраной крепостных стен.

ние или в отдаленные города, усмотрев, очевидно, в простой перемене мест взыскание не столь ощутимое. Так Плещеев, не сделавшись сибирским поселенцем, угодил в Оренбургские линейные батальоны. Европеус вместо Вятки попал рядовым на Кавказ, а Гимковский, назначенный на жительство в город Олонек, всемилостивейше удостоился шести лет арестантских рот. Поляку Ястржембскому, осужденному на четыре года каторжных работ, обидчивый император накинул еще пару лет (не мог простить брошенного в свой адрес «богдыхана!»), зато Спешневу — во внимание к его откровенности — скостил срок с двенадцати лет до десяти.

Пальму — единственному из всех — было вменено в наказание пребывание в крепости: его перевели из гвардии в армию — без понижения в чине. Однако *до этого* ему было зачитано, как и другим: смертная казнь.

Достоевскому каторжные восемь лет были сокращены наполовину («жалел молодость и талант») — с последующей отдачей в рядовые.

Как уже говорилось, в генерал-аудиторской сентенции, в части, касающейся Достоевского, неожиданно всплыла литография — та самая, против учреждения которой в свое время возражал подсудимый и которая теперь была поставлена ему в вину. Подобная нелепость позволила позднее Львову заметить: «Как внимательно делались обвинения!»

О единственной серьезной (очень серьезной) вине — существовании «семерки» и коллективном намерении завести домашнюю типографию — в приговоре не говорится ни слова. Спешневское тайное сообщество так и осталось тайным. Да и вообще «покушение» с типографией приговор трактует — теперь мы знаем почему — как личный умысел двоих: Спешнева и Филиппова.

«Целый заговор пропал», — допустим. Но, «пропав», он тем не менее мог повлиять на величину наказания.

Приговор Достоевскому юридически слабо обоснован. Карая, судьи как бы имели в виду нечто такое, о чем умалчивалось официально.

Да, он был осужден несоизмерно своей виноватой. Но в глубине души вполне мог осознавать себя виноватым. Так *не убивавший* отца Дмитрий Карамазов готов понести свой крест: он виноват в помышлении.

Достоевский отрицал свою вину на следствии и признавал ее потом, спустя годы, на свободе. Означает ли это, что и тогда, в 1849-м, он ощущал себя убежденным противником режима? Во всяком случае, проиграв, он вел с ним отчаянную борьбу. Если он и не был «настоящим» революционером, то в еще меньшей степени тем благомыслящим подданным, образ которого он так старательно творил в своей *камерной* прозе.

Позднее он скажет, что они стояли на эшафоте, не раскаиваясь в содеянном, и что людей, близких им по духу, но оказавшихся «необеспокоенными», на воле оставалось значительно больше. Зараза бродила в крови поколения. И правительство прекрасно понимало, что своим приговором оно укрощает дух. Оно пыталось разрушить не тайное общество, но тайную общность людей, думающих не так, как положено; воспрепятствовать умонастроению, мнению, веянию, духу. Такого рода предметы — по причине их неосязаемости — всегда вызывают раздражение власти.

Приговор был воистину жесток: он служил профилактическим целям. Его карающая мощь была направлена не столько против поступков, сколько против идей, которые казались тем подозрительнее, что прямо не попадали под статьи Уложения о наказаниях. Вынося приговор, судьи руководствовались отнюдь не положительными уликами, а своим безошибочным чутьем, государственной бдительностью высшего порядка.

Будущий автор «Преступления и наказания» получал наглядный урок. Ответом на их духовный бунт становилось теоретическое (как в случае Раскольникова) убийство.

Ибо сама эта казнь — глубоко идеологична.

Император как режиссер

Конечно, Николай прекрасно понимал разницу между повстанцами 1825 года и «клубистами» года 1849-го. Но вторые в известном смысле были опаснее первых. Ибо само их существование доказывало, что декабрьские плевеи, казалось бы, вырванные с корнем, дали ядовитые всходы. Подвижники декабря действовали почти на голом месте. За петрашевцами уже просматривалась тра-

диция. Движение было размыто, не оформлено и потому практически неуловимо; оно могло уйти вглубь и вновь обнаружить себя в подходящую историческую минуту. Оппозиция власти из явления временного и случайного становилась постоянной чертой русской общественной жизни.

Декабрьского погрома хватило почти на четверть века. Второй политический процесс должен был дать остротку на не меньший исторический срок. Император заботился о преемниках.

При всем при том государю Николаю Павловичу не нужны были мученики. Русский царь не желал ужасать Европу публичным убиением на площади двух десятков интеллигентных молодых людей, чья вина в глазах той же Европы, еще не остывшей от настоящих мятежей, выглядела бы не очень серьезно. Он хотел бы казнить не казня.

Царь спешил: следовало завершить дело до наступления Рождества¹.

Сам переживший несколько ужасных часов на площади у Зимнего дворца, он знал цену *смертному страху*. Он понимал, что страх этот порою страшнее самой смерти.

Проявив себя в деле декабристов как талантливый лицедей, теперь, на закате своей карьеры, Николай предпочитает оставаться за кулисами. Однако сценическая (нероновская!) струна все же дает себя знать.

Нимало того не желая, государь предвосхитит театральные новации будущего: массовые действия на городских площадях. Первая в России попытка такого рода осуществится под бдительным присмотром августейшего режиссера.

Николай инсценирует смерть.

«Не могли же они шутить даже с крестом!» — скажет впоследствии Достоевский. Очевидно, могли: священник был не тем, за кого его выдавали. Он тоже исполнял некую *роль*.

Постановщик не покусится на реквизит. В то время как стоимость кандалов и предназначенных к ломанию шпаг, наемных возков и полотна для смертных орудий отнесут на счет соответствующих ведомств, деньги крестьянину Федорову за воздвигнутую на Семеновском плацу «деревянную платформу» будут великодушно отпущены «из комнатной его величества суммы». Государь привык сам оплачивать свои удовольствия.

Все эти сценические ухищрения преследовали благую цель: добиться максимальной жизненной правды. (Не был ли, часом, император Николай Павлович поклонником «натуральной школы»?) По одному из первоначальных проектов «совершения обряда казни» надлежало закончить облачением казнимых в белые балахоны, по другому — подведением их к врытым в землю столбам. Оба эти варианта покажутся недостаточно натуральными. Осужденных (первая тройка — Петрашевский, Григорьев, Момбелли) привяжут к помянутым столбам; к ним на пятнадцать шагов подведут исполнителей; в утреннем воздухе ясно прозвучит команда: «Прицель!»

Так будет соблюден реализм².

Утверждают, что Момбелли надел белые перчатки (не следует удивляться, откуда они взялись: 22 декабря им вернули их весеннее платье) и скрестил руки на груди. Не этот ли еще посюсторонний жест вызвал реплику его насмешливого соседа: «Момбелли, поднимите ноги, не то с насморком явитесь в царство небесное»?

Этот эшафотный юмор, эти *шуточки на кресте*, — того же рода, что и реплика сорвавшегося с виселицы Рылеева («В России даже повесить как следует не умеют»³). Споры о подлинности подобных фраз вряд ли уместны. Ибо последнее право смертника — усмехнуться над собственной смертью.

Догадывались ли они о том, что их ожидает?

Зная, что их судят военным судом, они, конечно, готовились к худшему. Но — были убеждены, что возможна «формула перехода». Россия со времен Пуга-

¹ Именно этим обстоятельством (тем, что 25 декабря приходится на Рождество и затем почти полмесяца продолжают святки), а не какой-то особой кровожадностью, как полагают иные, объясняются настоятельные требования императора форсировать церемонию.

² Можно сослаться на исторический прецедент. 15 февраля 1723 года сенатор и первый русский барон П. Я. Шафиров взошел в Кремле на эшафот (он был приговорен к смерти после ссоры с могущественным А. Д. Меншиковым), положил голову на плаху, палач поднял топор и нанес удар по деревянной колоде. После чего барона отправили в ссылку.

³ По другому свидетельству, Рылеев лишь вымолвил: «Какое несчастье!»

чева не ведала публичных казней на площадях. Если даже представить, что им каким-то чудом могло стать известно содержание приговора, у них оставалась надежда на царскую милость.

Никто из них *не был готов*.

О чем толкуют в Париже (Обзор печати)

Как, однако, реагировал Запад на непредвиденные события в отдаленной Московии, участником и жертвой которых оказался еще не ведомый миру романист? Да и были ли там вообще замечены петербургские происшествия? Или же — по скудости оглашаемых фактов — на них просто не обратили внимания? Тем более что вплоть до 22 декабря 1849 года (когда, наконец, появилось первое и единственное официальное сообщение) ни об аресте злоумышленников, ни о следствии, над ними производимом, не упоминалось в печати¹.

Россия, счастливо избегшая западных потрясений, не вызвала симпатий у демократов Европы. Авторы «Коммунистического манифеста» желают ей скорейшего краха: из прочих замысленных ими проектов этот казался наиболее исполнимым.

С другой стороны, империя Николая (откуда, казалось, вот уже четверть века ни одного звука — включая стоны — не проникало вовне) была последней надеждой для тех, кто предпочитал блага гражданского мира ужасам гражданской войны. «Мещане,— с некоторым аристократическим презрением говорит Герцен,— становились на свои жирные колени и звали русские пушки на защиту собственности и религии».

Нелепо было бы искать на страницах европейской печати сообщений «собственных корреспондентов» из Петербурга или же — что совсем уж немислимо — интервью участников событий. Бесполезно также пытаться выяснить авторов в большинстве своем не подписанных статей. О России предпочитают толковать анонимы.

Отклики западной прессы об открытии заговора в России не были до сих пор известны. Они никогда не воспроизводились по-русски. Их можно разделить на две категории.

Во-первых, это перепечатка официальных сообщений о приговоре из уже упоминавшейся «Журналь де Санкт-Петербург» и «Газетт де Рига». В отдельных случаях западные издания сопровождают эти сведения более или менее пространными комментариями, но часто обходятся и без них.

Другой канал информации — ссылки на некие неназванные источники в России, как правило, на письма, якобы полученные «оттуда». Сюда же относятся и дошедшие до европейских редакций *слухи*. Подобные материалы (исходящие из страны, которая гордо исключила себя, как ныне сказали бы, из мирового информационного пространства) претендуют на некоторую сенсационность: они усердно перепечатываются (дословно или в пересказе) десятками европейских газет.

Трудность, однако, состоит в том, что в подшивках не столь уж многих зарубежных изданий, которые поступили некогда в императорские библиотеки и сохранились до наших дней, часто отсутствуют отдельные номера. И даже в сохранившихся экземплярах заметны следы неусыпного бдения российской иностранной цензуры. Целые абзацы устраниены с помощью ластика или ножниц. Все это, разумеется, не способствует желаемой полноте.

И все же игра стоит свеч.

Итак, как откликнулась пресса Франции и Германии — а именно эти страны в первую очередь имеются в виду² — на неожиданные известия из Северной Пальмиры?

¹ Официальное сообщение было перепечатано из «Русского инвалида» (где оно появилось в день «казни») выходящей на французском языке «Журналь де Санкт-Петербург» 25 декабря 1849 (6 января 1850). Этот текст и воспроизводился иностранными газетами. Самой оперативной оказалась англоязычная парижская «Галиньяз Мессенджер» (16 января): почта из Петербурга поступила в Париж на десятый день. Любопытно, что ни в русской, ни в иностранной печати не появилось ни одного *описания* расстрельного ритуала на Семеновском плацу. Об этом спектакле вообще нигде не будет упомянуто публично.

² О англоязычной прессе мы можем судить главным образом по выходившей в Париже «Галиньяз Мессенджер». Многие номера британских газет за январь 1850 года отсутствуют в РГБ.

Конечно, в начале 1850 года у Европы хватает своих забот. На горизонте Второй республики уже маячит призрак Второй империи. Французских читателей больше занимает последняя речь Виктора Гюго в Национальном собрании, нежели экзотические сведения из Петербурга. Что касается Германии, еще не существующей де-юре, но бурно переживающей свое недавно провозглашенное духовное единство (которое выражается также и в спешной достройке трехсотлетнего Кельнского собора), то она поневоле должна внимательно следить за ходом дел у могущественного соседа. Нависая у ее восточных границ, последний не может не влиять на грядущие судьбы немецкого мира. Что и было доказано славным венгерским походом.

Находясь на периферии западного сознания, Россия является постоянным источником беспокойства.

В предпоследний день 1849 года (к востоку от Немана год этот продлится еще тринадцать дней) «Журнал де Франкфорт», выходящая на французском языке, в своей постоянной рубрике «Россия и Польша» публикует следующую информацию:

«С границ Польши, в аусбургской «Альгеймайне Цайтунг», 22 декабря сообщается:

Гамбургская «Борзенхалле» снова поднимает на щит старую сказку о заговоре, недавно раскрытом в России, центром которого является Москва, но ответвления которого имеются и в Петербурге. По словам этой газеты, он (то есть заговор.— **И. В.**) был намечен на 13 января, первый день нового года по русскому календарю».

Обратим внимание: франкфуртская газета ссылается на газету аусбургскую, где указанная информация появилась еще 22 декабря (то есть 10 декабря по старому стилю). До экзекуции на Семеновском плацу и обнаружения первого и, как уже говорилось, единственного официального сообщения о деле остается еще около двух недель. «Журнал де Франкфорт» честно указывает первоисточник «сказки о заговоре» — гамбургскую «Борзенхалле». Можно предположить, что там эта «сказка» появилась не ранее первых чисел декабря.

Вспомним, что к этому времени Военно-судная комиссия уже завершила свои труды. И нет ничего тайного, что бы не сделалось явным. Слухи — как водится, в виде преувеличенного и искаженного — достигают города Гамбурга, от города Петербурга не столь отдаленного.

Интересно, что центром заговора указана Москва. Это, возможно, связано с распространенным суждением о некоторой оппозиционности древней столицы. Правда, ни одного москвича нет среди заключенных в Петропавловской крепости лиц. Следует вспомнить, однако, что московские профессора Т. Н. Грановский и Н. Н. Кудрявцев по завершении дела окажутся под тайным надзором. И что полубезумный Катенев с помощью лотерейных билетов замысливал осведомить широкую публику о бунте в первопрестольной.

В скудной информации европейских газет не содержится, впрочем, ни малейшего намека на истинный характер происшествия. Не указан, в частности, и его фурьеристский оттенок. (Как бы утешились этой вестью адепты юного европейского социализма, включая даже и тех, кто печется о превращении утопических бредней в грозную науку наук!) Не называются участники дела или хотя бы род их занятий. Зато революция синхронизирована с первым днем нового года или, если следовать новому стилю, намечена на дьяволово число. Все это выглядит романтично.

Обозреватель «Журнал де Франкфорт» дает понять, что лично он мало доверяет сведениям, которые приводят коллеги. «Мне нет нужды говорить вам,— замечает скептический автор,— что во всем этом нет ни слова правды; что тут действительно любопытно, так это то, что та же история распространялась в точности год назад, я сейчас уже не помню какой именно газетой, которая тоже указывала 13 января как день, к которому приурочен заговор».

Журналист полагает, что все это — очередная газетная утка и что появлению вздора способствует пассивность российских властей: «распространять подобные новости о России тем более легко, поскольку, как каждому известно, правительству не удосуживается давать им официальное опровержение».

Через несколько дней русское правительство подтвердит: нет дыма без огня. 17 (5) января 1850 года весть наконец достигнет Парижа.

«Вспоминается,— пишет в этот день газета «Пресс»,— что немецкие газеты уже некоторое время говорили о заговоре, раскрытом в Санкт-Петербурге. Эта

новость имела под собой основания. «Журналь де Санкт-Петербург» от 5 января опубликовала официальное заявление, из которого следует, что шестнадцать лиц приговорены к смерти и что их наказание было смягчено императором и заменено каторжными работами. Другие лица, замешанные в заговоре, амнистированы».

Потребовалось почти две недели, чтобы новость попала на страницы европейской печати. Слухи таким образом были частично подтверждены, причем слово «заговор» как бы получило официальный статус.

«Осужденные почти все — армейские офицеры или преподаватели», — заключает газета. Об участии в деле литераторов не говорится ни слова.

«Факт (заговора. — **И. В.**) признается, — пишет «Иллюстрасьон», — но его значение не представляется особенно серьезным».

Более пространно излагает события газета «Конститусьональ» (тоже 17 января). В рубрике «Зарубежные новости» первой следует именно эта: «Вот уже несколько месяцев немецкие газеты говорили о заговорах, раскрытых в России, о политических заключенных, судимых военными судами. («Немецкие газеты» оказались все-таки наиболее осведомленными. — **И. В.**) Новости, которые различные листки, в особенности гамбургские, давали на эту тему, подвергались сомнению по причине их недостаточной определенности. Вчера полуофициальная «Санкт-Петербургская газета» опубликовала статью, которая не оставляет никаких сомнений относительно подлинности этих заговоров, хотя она и сводит их до размеров, мало угрожающих прочности Российской империи». Далее приводится текст официального сообщения.

Следует признать, что из четырех парижских газет за январь — февраль 1850 года, экземпляры которых имеются в газетных хранилищах РГБ, правильно фамилии петрашевцев не напечатала ни одна.

Что в имени тебе моем?

Наибольшие сложности вызвал, разумеется, Ястржембский («Yastymbksky»), в чьем имени встречаются четыре согласных подряд, включая шипящую: такое трудно воспроизвести на любом языке. Не повезло (в грамматическом смысле) и счастливицу Пальму («Parna»); не повезло Ахшарумову («Achs-chasronmoff»), «Akos-Charounoff»). Более или менее узнаваемы Спешнев, Филиппов и Европеус («Speckneff», «Spesckneff», «Pilppof», «Europens»); ошибки в фамилиях остальных — Ханькова, Дебу, того же Кашкина — можно считать за случайные описки («Khonikoff», «Desboul», «Kashkire»). Что касается фамилии главного заговорщика, то переводчик в точности повторил забавную ошибку, допущенную на следствии младшим братом автора «Двойника»: он именует Бутаевича-Петрашевского как двух разных лиц («Botashevitch, Petrashevsky»). Некоторые фамилии (например, Дуров) выпали из текста вообще.

Именно в январских публикациях 1850 года имя Достоевского впервые появляется «на европейских языках».

Российская «Журналь де Санкт-Петербург» первой подала пример написания: «Инженер-поручик в отставке Федор Достоевский¹ («Le lieutenant du genie en retraite Theodoree Dostoevsky»)». Как и в оригинале (то есть в официальном сообщении на русском языке), здесь ни слова не сказано о том, что упомянутое лицо имеет некоторое отношение к изящной словесности. Правильно его имя и звание воспроизводит только серьезная «Конститусьональ». Другие французские газеты — очевидно, по той причине, что из общего списка выпал Дуров, но тем не менее продолжал фигурировать его чин («отставной коллежский асессор»), — переадресуют это звание Достоевскому, лишая последнего и без того недолгой военной карьеры («Журналь де Деба»). «Пресс» транскрибирует «Dortievsky», «Галинъяз Мессенджер» — «Dostvievsky»: эта одиозная личность явно не привлекает внимания зарубежной печати.

С печатью германской дело обстоит ненамного лучше.

Мюнхенская «Альгемайне цайтунг» в номере от 18 января под заголовком «Россия и Польша... Официальное сообщение о раскрытом заговоре» дает пе-

¹ После отбытия каторги и солдатчины Достоевский так больше и не дослужится до этого невысокого чина и выйдет в отставку в звании подпоручика. Во время путешествия по Европе с Аполлинарией Сусливой в 1863 году он будет записываться в гостиницах как «Ofizier», что очень веселило его спутницу.

ревод первой части правительственного известия, а на следующий день, 19-го, приводит фамилии осужденных. «Dostoeivsky» в этом списке почему-то включен в число «пяти гвардейских офицеров». Во франкоязычной «Журналь де Франкфорт» (от 17 января 1850 г.) варварские имена воспроизведены практически без ошибок (за исключением многострадального Yastijembsky). Мюнхенская и франкфуртская газеты — это единственные немецкие периодические издания за январь 1850 года, которые наличествуют в РГБ. Как и французские газеты, они просмотрены российскими цензорами: некоторые строки стерты ластиком, иные статьи вырезаны. Естественно, что перевод официального сообщения остался в неприкосновенности. Усекновению подверглись главным образом собственные газетные комментарии, из которых можно восстановить только незначительные фрагменты.

Так, 17 января под заголовком «Извлечения об открытом заговоре и мнения» «Альгемайне цайтунг» пишет: «Расследование заговора длилось более пяти месяцев, 21 человек как «настоящие преступники» был присужден к расстрелу, однако император даровал им жизнь. Они были отправлены в рудники, в крепости, в армию; <остальные> амнистированы. Этим подтверждаются, таким образом, известия, появившиеся сначала в гамбургских листках, которые противной стороной (то есть, по-видимому, газетными оппонентами? — **И. В.**) долгое время изображались как выдумка. В Министерстве иностранных дел (российском? баварском? — **И. В.**) лицо, пожелавшее остаться неизвестным, сообщило, что титулярный советник Буташевич-Петрашевский был первым, кто эти революционные идеи...» (Далее стерто 4 строки.) Таким образом, «мнения», которые как раз и могли заинтересовать русского читателя, отсутствуют вовсе.

В номере от 19 января (том самом, где Достоевский значится среди «пяти гвардейских офицеров») под заголовком «Россия и Польша. Крестьянское восстание и раскрытый заговор» стерта половина колонки. Правда, в оставшемся тексте имеется загадочная фраза: «Таким образом, собственно аристократические имена отсутствуют среди осужденных, зато не среди амнистированных».

Действительно, отсутствие аристократических имен (в первую очередь титулованной знати), которыми было украшено 14 декабря, не может не броситься в глаза. Но какие громкие фамилии подразумеваются «среди амнистированных»? Мы не ведаем, кто конкретно имеется в виду. Может быть, безымянный автор намекает на такие оставшиеся в тени фигуры, как, скажем, Н. А. Мордвинов или В. А. Милютин?

Русские (то есть цензурные) версии зарубежных газет не дают ответа на этот вопрос. Имело бы смысл взглянуть *на оригиналы*.

Но с одним текстом нам все-таки повезло.

Титулярный советник как бунтовщик

В этот же день, 17 января 1850 года, еще одна парижская газета — «Насьональ» — отзывается на событие в Петербурге. Но в отличие от своих газетных собратьев «Насьональ» оглашает такие детали, которые, стань они известными участникам дела (не важно — судьям или осужденным), повергли бы их в сильнейшее изумление.

«Письмо, которое пришло в Париж (не по почте), — начинает газета, — дает нам некоторые очень интересные подробности о русском заговоре, который только что провалился и на главных участников которого в настоящее время обрушился удар императорского мщения».

Из этого предупреждения можно заключить, что в распоряжении редакции имеется конфиденциальная информация, которая поступила непосредственно из России, и что сам способ ее передачи («не по почте») гарантирует высокую степень достоверности.

Послушаем же газету «Насьональ».

«Как явствует, инициатива заговора принадлежит совсем еще молодому человеку, Николаю Кашкину, охарактеризованному в списке арестованных как титулярный советник. Выданный одним из многочисленных платных осведомителей, которых содержат в России на государственный счет всюду, где стоит только появиться признакам недовольства, Кашкин был арестован и доставлен к царю, который принял его с неожиданной добротой и любовью».

Итак, если верить газете, во главе всего предприятия стоит не кто иной, как двадцатилетний Николай Сергеевич Кашкин. Недавний лицеист, он зани-

мал скромную должность младшего помощника столоначальника в Азиатском департаменте Министерства иностранных дел. Он тоже умудрился собрать вокруг себя небольшой кружок, целью которого было усердное изучение системы Фурье и совместные размышления о пользе фаланстеров в условиях русской равнины. Он делал вечера у себя на квартире один раз в неделю, как не без укоризны отмечено в докладе генерал-аудиториата, «во время отсутствия своих родителей». Крайняя степень вольномыслия, которую позволил себе Кашкин со товарищи, — это устройство обеда 7 апреля 1849 года — в день рождения все того же Фурье. На следующий день, в пятницу, Кашкин отправился к Петрашевскому, которого он видел накануне на упомянутом обеде, причем в первый раз. Ему не повезло: на вечере у Петрашевского присутствовал Антонелли.

«Вообще, — записано в докладе генерал-аудиториата (разумеется, со слов самого Кашкина), — он, Кашкин, чувствовал себя как-то неловко в обществе Петрашевского и вскоре уехал от него, вынеся впечатление тяжелое и неприятное и уже не собираясь обедать в гости к Петрашевскому».

Младший помощник столоначальника отнюдь не был тем, кем пытается представить его парижская газета. Собственно, ему официально инкриминировали только одну вину: недонесение. (Как помним, приверженность системе Фурье военный суд не почел преступлением.) Первоначально его приговорили — как малозамешанного — *всего* к четырем годам каторги. Генерал-аудиториат «во внимание к весьма молодым его летам и раскаянию» будет всеподданнейше ходатайствовать о ссылке его в Холмогоры (разумеется, по лишении дворянства). Император решит иначе: рядовым в Кавказские линейные батальоны. Что было, конечно, привлекательнее каторги, но все же опаснее мирного житья на родине Ломоносова.

Однажды Кашкин прочитал собравшимся у него друзьям ученый доклад. В нем между прочим представлена и точка зрения убежденного атеиста, который, уверяя в неизбежности бедствий земных, восклицает: «Если такова судьба человечества, то нет провидения, нет высшего начала! <...> К чему нам все это поразительное величие звездных миров, когда нет конца нашим страданиям?» Бог виноват уж тем, что, имея довольно обширные возможности, «он не позаботился о счастье людей». Кашкинский интеллектуальный герой сетует на Творца, видя в нем не начало «всего доброго и прекрасного», а скорее воплощение духа зла. «Нет, страдания человечества гораздо громче провозглашают **злобу Божью**», — горестно закучает он.

«Это бунт», — как отозвался бы по сему случаю Алеша Карамазов. Справедливо замечено, что кашкинские недоумения весьма близки к тем, какие будут занимать брата Алешу и брата Ивана во время их памятного застолья в трактире «Столичный город».

В черновике письма, найденном у Кашкина и рачительно приобщенном к делу, автор, сетуя на свое неверие, говорит: «Бог, если Ты существуешь, помоги мне, и Ты не будешь иметь более ревностного поклонника». Богу ставятся некоторые условия. Не будут ли они выполнены там, на Семеновском плацу?

«Мы будем вместе с Христом», — скажет в свой смертный час Достоевский.

Знаком ли он с соседом по эшафоту?

Последнее причастие

«Что же касается до Кашкина, — спешит удовлетворить он любопытство Комиссии, — то я его и в лицо не знаю, и у Петрашевского никогда не видал». 8 апреля, в тот единственный раз, когда Кашкин заявился в Коломну, автор «Бедных людей» среди присутствующих не наблюдался. «С господином Кашкиным и Кузьминым я совсем не знаком», — терпеливо повторяет допрашиваемый.

«Трудно доверять словам Достоевского», — замечает в связи с этим позднейший комментатор. Да отчего же? В данном случае у подследственного нет особых причин морочить Комиссию. Но если они впервые сошлись на эшафоте, это давало им право сделаться близкими навсегда.

9 октября 1856 года барон А. Е. Врангель сообщает из Петербурга все еще пребывающему в Сибири Достоевскому: «Головинский Ваш был последнее время у своего отца в деревне, но я не знаю, прощен ли он или был только в отпуску; Кашкин давно офицер».

«Головинский **Ваш**» — то есть прикосновенный к вашему делу. Кашкин значится в том же ряду. Врангель пишет о нем как о лице, его адресату известном. Хотя, возможно, имя упоминается в той лишь связи, что и у Кашкина, и у Достоевского способ обрести свободу оказался практически одинаков: через награждение первым офицерским чином.

Несмотря на разницу лет, их не могло не сблизить общее несчастье: факт их *последующего* знакомства неоспорим. В августе 1861 года Кашкин пишет автору «Мертвого дома» дружеское письмо: кланяется супруге и просит засвидетельствовать свое уважение брату. Восстановленный в дворянских правах калужский помещик, он посылает бывшему соузнику «экземпляр пояснительной записки к трудам Калужского комитета по крестьянскому делу»: вопрос этот, ныне разрешаемый «сверху», как помним, весьма занимал посетителей «пятниц». «Быть: <...> у Каш<к>ина», — записывает Достоевский летом того же года: он намеревался подарить самому молодому из «наших» экземпляр только что вышедших «Униженных и оскорбленных».

В самом конце 1880 года бывший подсудимый, а ныне член Калужского окружного суда пятидесятиоднолетний Кашкин просит Достоевского высылать ему в Калугу «Дневник писателя» на следующий, 1881-й, год: первый и единственный выпуск будет получен подписчиком уже после смерти автора.

Узнает ли когда-нибудь Кашкин о той роли, какую приписала ему газета «Насьональ»?

Нам-то по крайней мере известно: «инициатива заговора» исходила не от него. Не был он по арестованию и «доставлен к царю». В отличие от узников декабря ни один «апрелист» не удостоится этой чести¹. Так что сцена личного свидания г-на Кашкина с самодержавным монархом — «цитата» совсем из другой эпохи.

Правдой в сообщении французской газеты является только то, что Кашкин, как, впрочем, и другие его подельники, был выдан (вернее, продан — *sold*) платным осведомителем и что он сын политического преступника. Отец Кашкина, как Липранди и Дубельт, тоже участник войны 1812 года. Вместе со своим дворянским братом Евгением Оболенским он основал в 1819-м общество «Добра и Правды». Позднее он стал декабристом. Он водил приятельство с Пушиным: по примеру последнего Кашкин-старший оставил службу и записался в надворные судьи, дабы творить означенные в названии общества правду и добро.

Он отделался, можно сказать, пустяками: был сослан сначала в Архангельскую губернию, а затем водворен в свои калужские имения — без права въезда в столицу. Впрочем, после 1842 года он получил возможность проживать в Петербурге и лично наблюдать за воспитанием сына.

Почему, окончив Лицей в 1847-м, сын декабриста не отправился без промедления вице-консулом в Данциг или первым секретарем посольства в Бразилию, как ему предлагалось? Он легкомысленно отказался: через два года император сошлет его на Кавказ.

«11 числа (апреля. — **И. В.**) я встретился с Кашкиным в министерстве, — доносит Антонелли, — и успел завязать с ним довольно короткое знакомство».

Знакомство будет коротким еще и в непредвиденном смысле: гулять на свободе Кашкину остается всего десять дней.

В своей неопубликованной записке (на которой было начертано императорское «Переговорим») Антонелли изо всех описанных им персонажей особо выделяет недавнего знакомца: тот «невольнo родил к себе какую-то во мне симпатию».

«Кашкин, — благожелательно доносит начальству Антонелли, — человек милый, образованный, с физиономией, невольнo говорящею в свою пользу, с душою, должно быть, еще светлою». Поэтому он не может быть заражен «какими-нибудь грязными убеждениями». Он просто увлекся «свирепствующею здесь модой».

Антонелли отмечает у Кашкина преимущество, которое отсутствует у других наблюдаемых.

«Он действительно принадлежит к аристократическому кругу, что подтверждается и тем, что 10 числа в маскарade он был постоянно в кругу молодых людей знатных фамилий, и тем, что поминутно входил в особенную для придворных дам ложу и обращался с ними совершенно как свой человек».

¹ Единственное исключение — возможно, Д. А. Кропотков, но обстоятельства его предполагаемого привоза в Зимний дворец довольно туманны.

Не являлась ли, часом, и Кашкину таинственная маска? Если, как помним, государь впервые известился о существовании Петрашевского «через баб», не участвуют ли те же лица в финале? Почему бы осведомленной «придворной даме» не предупредить «своего» о предстоящем аресте — как это сделала незнакомка, говорившая с Пальмом?

Во всяком случае, благодаря своим аристократическим связям Кашкин узнал о дарованной им жизни чуть раньше других. Или, может быть, Бог просто раньше услышал его молитвы.

Повествуя об оглашении на эшафоте смертного приговора, барон М. А. Корф замечает: «Тут многих из зрителей тронули слезы, покотившиеся по бледному лицу 20-летнего Кашкина, <...> имевшего престарелого отца». Насчет «престарелого отца» Корф несколько преувеличивает (бывшему декабристу в это время не более пятидесяти лет). Что же касается переживаний Кашкина-младшего, тут он, по-видимому, прав.

Сам Кашкин рассказывает об этом так.

Когда привязанным к столбам и облаченным в саваны жертвам надвинули на глаза капюшоны, ни у кого уже не осталось сомнений, что казнь действительно совершится. Тогда Кашкин обратился к стоящему возле помоста обер-полицмейстеру генералу Галахову (они, вероятно, были знакомы) и спросил его по-французски: «Кому я могу передать мою последнюю просьбу, дать мне приготовиться к смерти? (Я разумел исповедь и причастие.)» На что генерал громко (и тоже по-французски) ответил, что государь был так милостив, что даровал всем осужденным жизнь. «Даже и тем», — добавил генерал, указывая на привязанных к столбам. Таким образом, за минуту до остальных Кашкин уже знал о *счастливой развязке*.

Этот примечательный диалог — в виду эшафота (как, впрочем, и между Достоевским и Спешневым, о чем еще пойдет речь) — ведется на французском языке. Ибо на нем, как справедливо замечено, с *друзьями* разговаривать прилично...

Но обо всем этом ни слова не сказано во французской газете «Насьональ», произведшей в главари заговорщиков самого молодого из них. Однако поведенная газетой история с Кашкиным-младшим (вернее, с его мифическим двойником) напоминает один позднейший сюжет. На сей раз в числе героев оказывается Достоевский.

**«Под вами вдруг раздвигается пол...»
(Секреты III Отделения)**

В 1866 году в Вюрцбурге на немецком языке выходит роман некоего Пауля Гримма «Тайны царского двора времен Николая I». (Более точно по-русски — «Тайны дворца царей».) Роман переводится на французский и выдерживает несколько изданий. Летом 1868 года книжка (в России, естественно, запрещенная) попадает в руки находящегося за границей Достоевского: он покупает ее в Швейцарии. По прочтении этого захватывающего произведения Достоевский набрасывает письмо-протест, адресованное, судя по всему, в редакцию какого-то зарубежного издания. «И хоть бы написано было: роман, сказка; нет, все объявляется действительно бывшим, воистину происшедшим с наглостью почти непостижимою», — негодует автор письма, которое так и осталось неотсланным.

В книге Пауля Гримма¹ Достоевский назван своим подлинным именем и поставлен во главе заговора — так же, как в свое время это было проделано газетой «Насьональ» с Николаем Кашкиным. Правда, сам заговор отнесен рассеянным Гриммом к 1855 году, а его руководитель Достоевский умирает по дороге в Сибирь. Но подобные мелкие вольности не могут смутить романиста. «Поэт» (так еще именуется в романе автор «Белых ночей») председательствует на конспиративных собраниях, произносит пламенные речи и вместе с другими заговорщиками хором (хотя и вполголоса) исполняет крамольные песни на слова другого поэта — Некрасова. В заговоре (еще одна параллель с Кашкиным) при-

¹ Ее сюжет кратко изложен в комментариях к 28-му (II) тому Полного собрания сочинений Достоевского, в книге Н. Ф. Бельчикова «Достоевский в процессе петрашевцев», а также в книге Л. Сараскиной «Одоление демонов», где приводится (в переводе С. Д. Серебряного) ряд цитат из французского издания. Мы пользуемся в основном немецким оригиналом.

нимает участие сын декабриста — князь Оболенский¹. Повествователь не забывает и о национальной экзотике. Такие выражения, как «Wodka», «Twinnja» (то есть свинья), «Mersavetz», «Schapki doloj», «Rebiata» и т. д., снабженные добросовестным подстрочным переводом, удачно оттеняют лингвистическую самобытность немногословной русской души.

Желая спастись от неминуемого ареста, «благородный поэт» (то бишь Достоевский) обдумывает возможность бежать на лодке по невскому взморью навстречу крейсирующему в виду Кронштадта английскому флоту. (Идущая полным ходом Крымская война предоставляет находчивому герою шанс осуществить этот смелый кульбит.) Но по здравом размышлении проект отвергается, ибо поступок сей никак не согласуется с врожденным чувством патриотизма. («...Это значит предать родину! Нет, нет!»)

Хотя книжка Гримма, как все сочинения подобного рода, рассчитана на простаков, выглядит она респектабельно и солидно: черный переплет, золотое тиснение на корешке и т. д. Имя ее сочинителя не значится ни в одном библиографическом словаре. Скорее всего подлинный автор счел за благо укрыться под псевдонимом. (Его перу принадлежит еще книжка «Грехи Кристины и Изабеллы Испанской», изданная в том же Вюрцбурге в 1869 году, что свидетельствует о стойком интересе рассказчика к тайнам европейских дворов.) Но, может быть, сама фамилия «Гримм» намекает на сугубую сказочность его исторических ретроспекций?

Кашкина, если верить газете «Насьональ», после ареста доставили к государю. Главу заговорщиков в романе Гримма не удостоивают такой исключительной чести. Его привозят в ведомство графа Орлова, где подвергают жесткому наказанию.

«Когда позорная экзекуция закончилась, Достоевского быстро отвели к графу.

— Теперь, молодой человек, вы стали благоразумнее? — спросил граф.

Ярость сверкнула в глазах поэта, он сжал кулаки».

Полагаем, что «ярость» сверкнула в глазах Достоевского и по прочтении им указанных строк. Ибо романтический автор вполне или невольно возрождает давние слухи — о порке, которой якобы был подвергнут узник Мертвого дома во время своего пребывания в Сибири. (Гримм просто сдвинул этот «факт» на стадию следствия.) Возможно, неведомый автор доверился тому устойчивому преданию, которое числило исполнение названных исправительных мер по ведомству тайной полиции. Причем Гримм описывает операцию именно в том виде, как она мнилась привозимым в III Отделение арестантам.

«Пациент, предназначенный к пытке поркой, — пишет Гримм, — проваливается по груду; в помещении внизу постоянно находятся жандармы, держащие розги, готовые нанести удар. Преступника раздевают до пояса; если это женщина, поднимают одежду, и экзекуция начинается».

Впрочем, иные опасались не только стоять в здании у Цепного моста, но и сидеть. Известный своим благомыслием цензор А. А. Крылов признавался, что, будучи вызван к графу Орлову, он с трепетом ждал приглашения садиться, ибо страшился, что за какие-то служебные упущения тут же будет подвергнут секции — как раз по форме, описанной Гриммом.

Подобные страхи восходят ко временам достаточно отдаленным. Существуют свидетельства (степень их достоверности — это отдельный вопрос), что знаменитый С. И. Шешковский, возглавлявший Тайную экспедицию при Екатерине II, имел обыкновение «любезно, но настойчиво» усаживать приглашенного в особую рода кресло. Когда доверчивый гость уступал настояниям хозяина, ручки крес-

¹ Этот персонаж адресует к своим собратьям по сословию гневный упрек: «Доколе обращенная в золото кровь наших крепостных будет расточаться нами за зелеными столами Гомбурга и Бадена в будуарах лореток на Рю Бреда и Сент-Джорж Стрит...» Подобный ход мысли должен был заинтересовать Достоевского, который как раз в это время «расточал» последние деньги (происхождение которых не имело, правда, никакого отношения к «крови крепостных») за вышеупомянутыми «зелеными столами».

² Так что Достоевский был не вполне прав, сетуя, почему на фантастическом сочинении П. Гримма не обозначено: «сказка». Интересно также, что иностранец П. Гримм — первый, кто изобразил Достоевского в художественной прозе. (Еще до появления книги А. Пальма.) Этот славный почин будет подхвачен в XX веке отечественными беллетристами, чьи психологические уаждки по силе убедительности могут смело соперничать с фактами, сообщаемыми Гриммом.

ла внезапно смыкались, обхватывая неосторожную жертву, и кресло *автоматически* опускалось. При этом плечи и голова посетителя продолжали оставаться в кабинете Шешковского. В то время, как сотрудники Тайной экспедиции трудились над нижней частью секомого, Шешковский отворачивался и делал вид, что не замечает этой маленькой неприятности. По совершении экзекуции кресло возвращалось в исходное положение и хозяин с любезной улыбкой продолжал прерванный на полуслове разговор. (Молва утверждает, что один находчивый и обладавший недюжинной физической силой посетитель Шешковского заставил как-то его самого занять злополучное седалище, после чего с достоинством удалился.)

Достоевский — второстепенный персонаж иностранного романа «из русской жизни». Но недаром телесному наказанию подвергается в нем именно «поэт». Это участь Третьяковского, Полежаева и других. «Княжнин умер под розгами», — записывает Пушкин. Русский литератор в любой момент может быть опозорен и оскорблен. «Разнесся слух, будто я был отведен в тайную канцелярию и высечен», — сказано в пушкинском (неотправленном) письме к императору Александру.

Этот *исторический страх* не мог не отложиться в художественной памяти Достоевского.

Степан Трофимович Верховенский (тоже в известном смысле литератор) утрачен перспективой ждущего его наказания. В черновых записях к «Бесам» приводится его смятенная речь:

«— Под вами вдруг проваливается половица до половины вашего тела, и вдруг снизу два солдата распорядятся, а над вами стоит генерал, или полковник, которого нельзя не уважать, но который, вы чувствуете, отечески советует и вас, профессора... ученого, приглашают молчать. Это известно».

«Это известно», — говорит Степан Трофимович. Уж не читал ли он Пауля Гримма? Ибо воображаемая сцена — почти точная «цитата» из «Тайн царского двора», сочинитель которых изображает будущего автора «Бесов» в ситуации аналогичной:

«Унтер-офицер взял Достоевского за руку и подвел к месту, где неожиданно, по сигналу, который унтер-офицер подал ногой, половица, на которой стоял Достоевский, опустилась, так что он провалился по грудь».

В окончательном тексте «Бесов» сюжет обретает пластическую законченность и полноту.

Хроникер, от имени которого ведется повествование, застаёт Степана Трофимовича в глубоком отчаянии. Тот «рыдал, рыдал, как крошечный, нашаливший мальчик в ожидании розги, за которою отправился учитель». (Вспомним гриммовское: «Поэт был высечен, высечен, как ребенок!»)

«— Я погиб? Смерь, — сел он вдруг подле меня и жалко-жалко посмотрел мне пристально в глаза, — смерть, я не Сибири боюсь, клянусь вам, я другого боюсь...»

Хроникер никак не может взять в толк, чего страшится его мнительный друг, о каком таком грядущем своем позоре он пытается намекнуть.

«— Друг мой, друг мой, ну пусть в Сибирь, в Архангельск, лишение прав, погибать так погибать! Но... я другого боюсь (опять шепот, испуганный вид и таинственность).

— Да чего, чего?

— Высекут, — произнес он и с потерянным видом посмотрел на меня.

— Кто вас высечет? Где? Почему? — вскричал я, испугавшись, не сходит ли он с ума.

— Где? Ну, там... где это делается».

Притом с чисто технологической стороны экзекуция представляется впечатлительному Степану Трофимовичу все же в тех же леденящих душу подробностях.

«— Э, смерть, — зашептал он почти на ухо, — под вами вдруг раздвигается пол, вы опускаетесь до половины... Это всем известно».

И, хотя собеседник Верховенского-старшего называет все это старыми баснями, он не в силах опровергнуть их положительно. Миф, утрашавший арестантов 1849 года и послуживший источником вдохновения для Пауля Гримма, получает как бы второе дыхание на страницах классического романа.

В «Братьях Карамазовых» Коля Красоткин, холодея от собственной смелости, заявляет:

«— Я совсем не желаю попасть в лапки Третьего отделения и брать уроки у Цепного моста,

Будешь помнить здание
У Цепного моста!»

Юный Красоткин цитирует стихотворение неизвестного автора, где, в частности, наличествуют строки:

У царя у нашего
Верных слуг довольно.
Вот хоть у Тимашева
Высекут пребольно...
Влепят в наказание
Так ударов со сто,
Будешь помнить здание
У Цепного моста.

А. Е. Тимашев в 1856-м сменит Дубельта на его посту. Герои «Братьев Карамазовых», живущие в относительно либеральную эпоху Александра II, подвержены все тем же хроническим русским фобиям.

Конечно, книга П. Гримма не понравилась Достоевскому. Но она «пригодилась» ему — так же, впрочем, как все остальное: все впечатления бытия.

Он оставил свое намерение — протестовать против инсинуаций. Но и Николай Кашкин, если б вдруг каким-нибудь чудом ему попала в руки газета «Насьональ», тоже не смог бы опровергнуть ее публично.

«Но с царем накладно вздорить...»

Чем же, однако, если верить автору пришедшего «из России» письма, захотел порадовать Кашкина император, который далеко не всегда отличался ласковостью приема? Газета «Насьональ» спешит воспроизвести августейшую речь:

«Вы молоды, г-н Кашкин, и у вас есть еще одно, лучшее оправдание, — сказал ему великодушный император, — под прикрытием политики вы хотели, как я подозреваю, удовлетворить свое желание мести за осуждение вашего отца, которое вы считаете несправедливым. Власть, которая держит его в Сибири, не может быть законной в глазах хорошего сына, и я способен понять опрометчивый порыв, который отдал вас на мою милость. Я не стану поэтому злоупотреблять ужасной властью, которую я имею над вашей судьбой, и если ваше раскаяние подскажет вам признания, которые дали бы мне право даровать вам полное прощение — если вы сообщите подробности заговора, — все может быть забыто. На вашем последующем служебном продвижении это не отразится, вам будет возвращена свобода и т. д.»

Надо отдать должное изобразительному таланту автора (или авторов) тайного «письма из России». Император Николай Павлович трактован ими в качестве тонкого сердцеведа, готового по-отечески вникнуть в те побудительные мотивы, которыми руководствовался его неопытный собеседник. («Проклятый психолог», — мог бы при случае выразиться об императоре-тезке Николай Всеволодович Ставрогин.) Царь готов явить великодушие и простить г-на Кашкина, но при одном лишь условии: если подследственный выкажет полное чистосердечие и откроет «подробности заговора». Странно, что государь не сулит вернуть при этом Кашкина-старшего «из Сибири».

Пускай такое свидание никогда не имело места и велеречивый императорский монолог сочинен от первого до последнего слова. Но, признаться, нечто чрезвычайно знакомое чудится нам в указанной сцене. Нам как будто уже встречался подобный сюжет.

Вспомним: член Следственной комиссии генерал-адъютант Яков Иванович Ростовцев предлагает молодому, но уже известному литератору Федору Достоевскому монаршее прощение. И — примерно в тех же словах и на таких же условиях. Он обращается к автору «Бедных людей» прямо от лица государя и не может скрыть своего возмущения, когда получает отказ.

Отозвалось ли хоть в малой мере реальное происшествие с Достоевским (если, конечно, оно было реальным) в той уже, бесспорно, фантастической пьесе, которая каким-то непостижимым образом попала на страницы французской печати? Или г-ну Кашкину тоже делались аналогичные предложения — если и не от царского имени, то, может быть, по почину какого-то высокопоставленного лица? (Что допустимо при его аристократических связях.) Конечно, ставки в этой игре были не столь велики: Кашкин все же не та фигура, которую

«знает император» и — что тоже существенно — «уважает Лейхтенберг». И в возможных попытках (не исключающих элементов шантажа) склонить его к откровенности и такой ценой избавиться от участия остальных можно уловить отголоски другой, более правдоподобной истории.

Однако все это остается пока в области предположений. Ибо у нас (кроме туманной ссылки на пришедшее «не по почте» письмо) нет никаких указаний на те источники, откуда газета «Насьональ» черпает свою бесподобную информацию.

Но чем же завершился разговор в кабинете царя? Финал, пожалуй, достоин пера самого Пауля Гримма.

«Государь, — прервал его г-н Кашкин, — не продолжайте далее и прежде всего оставьте ваше заблуждение. Не мысль о мести воодушевила меня идеей положить конец вашему господству. В нашей семье осуждение моего отца рассматривается как почетная ему награда. Касательно же до меня лично, я не думаю, что смог бы каким-либо из деяний умножить славу нашего имени, кроме как содействием истреблению вашего рода и вашей позорной власти».

Это, конечно, чистейшая шиллеровщина. То есть то, что влекло Достоевского в юности, в пору его знакомства с немецкой романтической школой. Но у русской исторической драмы свои законы. За весь период существования дома Романовых ни один из противников власти не позволял себе разговаривать с нею в подобном тоне. (Таким декламациям склонна верить только наивная парижская публика.) Даже самые неустрашимые из героев 14 декабря не отваживались в своих объяснениях с государем на столь дерзкие речи. Тем меньше оснований полагать, что на это решились бы деятели 1849 года, буде они допущены пред царские очи. Они не были настолько безумны, чтобы замыслить цареубийство (кроме бахвалившегося подобным намерением и, очевидно, уже тогда не совсем вменяемого Катенева), а тем паче — признаваться в этом публично. И уж, конечно, «милый, образованный» Кашкин (с физиономией, как вынужден признать Антонелли, «говорящую в свою пользу») был способен на эти подвиги менее всех.

Французская газета предпочла завершить сцену в духе автора «Дон Карлоса» или, если брать французский аналог, раннего Виктора Гюго.

«Разговор происходил при свидетелях, у которых вырвался возглас ужаса, подлинного или притворного. Император сделал вид, что это его нисколько не взволновало. «Этот молодой человек безумец, он заслуживает не темницы, но сумасшедшего дома». В самом деле, именно в сумасшедший дом Кашкин и был отправлен»¹.

И опять романтическая фантазия мешается с малыми осколками правды. Мотив безумия однажды уже был разыгран правительством: чаадаевская история хорошо запомнилась всем. Но и из нынешних — тех, кого схватили весной 1849-го, — трое и впрямь повредятся в уме.

Бесполезно гадать, кто был информатором парижской редакции и откуда ему известны все эти *волнительные* подробности. (Не доставлено ли упомянутое письмо с дипломатической почтой?) Во всяком случае, это человек из России, хотя, возможно, и иностранец. Подчеркнутая театральность сюжета и достоящая его отдаленность от подлинного хода событий как будто бы свидетельствуют в пользу такого предположения. С другой стороны, возникает законный вопрос: из какого российского первоисточника французский (или какой иной) дипломатический агент в Петербурге черпал свои любопытные наблюдения?

Но из каких сомнительных кладовых извлекал *свою* развесистую клюкву осведомленный Пауль Гримм? И хотя газетный отчет сильно отличается от жанра исторического романа, надо признать, что в обоих случаях сработал один и тот же подход. Отсутствие информации из России подвигает западное сознание на восприятие мифов: реальные обстоятельства приносятся в жертву жгучему интересу к «тайнам царского двора».

(Этот интерес имеет некоторое типологическое сходство с теми усиленными историко-эротическими дознаниями, которые предпринимаются в наши дни. «Чтобы превратиться в пошляка, — говорит В. Набоков, — крестьянину нужно перебраться в город». Можно сказать, массовый переезд уже завершён. Рассуждение Пушкина (в его письме к Наталье Николаевне) «...никто не должен быть принят в нашу спальню» представляется ныне верхом деревенской наивности и простоты. Очередь в спальню сегодня куда длиннее, чем в кабинет. Фантазия Па-

¹ Весь этот текст из «Насьональ» был перепечатан на следующий день, 18 января, в англоязычной парижской «Галиньяз Мессенджер» в разделе «Последние новости».

уля Гримма меркнет перед «тайнами», которыми нас хотят просветить. И вот уже *современнейшая* из московских газет спешит обрадовать публику: «Руководители и активисты революционного кружка петрашевцев во главе с шефом баловались педофилией, некоторые из них по утрам получали заряд бодрости, созерцая тазики с кровью в ближайшей цирюльне». Так — в духе последних новаций — пишется «история русской революции»: нам будет что почитать на ночь.)

Впрочем, русское правительство никак не откликнулось на инсинуации газеты «Насьональ». Оно не унизилось до опровержений. Для него было важно, что в европейских изданиях появилась официальная версия случившегося. И, следовательно, укоренена мысль о ничтожности заговора и политической маргинальности заговорщиков. (Хотя в то же время карательная акция в Петербурге подавалась именно как мера по пресечению мятежа. В противном случае Европе трудно было бы объяснить, почему полночные прения относительно достоинств системы Фурье или свободы книгопечатания должны непременно оканчиваться лишением живота.) Газетные байки типа «Император и г-н Кашкин» не могли произвести серьезного впечатления на умы. Титулярный советник не имел шансов сделаться русским Карлом Моором.

...Он делается сначала унтер-офицером, а затем — прапорщиком. В 1853 году в Железноводске он познакомится с вольноопределяющимся по имени Лев Толстой. (Они были погодки.) Добрые отношения сохранятся у них навсегда. Кашкин останется единственным из живущих (кроме, разумеется, членов семьи), с кем яснополянский затворник будет *на ты*.

«Друг Достоевского», — запишет Душан Маковицкий в 1905 году слова Толстого о старом его знакомце.

Он не был близким другом ни Достоевского, ни Толстого. Но он знал их обоих лично — что, согласимся, есть уже некоторая историческая заслуга. *Теоретически* у него был шанс познакомить двух современников, свести их друг с другом¹. Этот подвиг в глазах потомства значил бы не меньше, чем гневная отповедь государю...

...29 октября 1910 года по дороге в Оптину пустынь Толстой, бегущий из Ясной Поляны, осведомился у ямщика: что это за имение слева? Оказалось, Николая Сергеевича Кашкина, давнего приятеля беглеца. Толстому оставалось жить чуть больше недели.

Старый петрашевец Николай Кашкин умрет 29 ноября 1914 года. Он будет последним из них.

Кому из нас под старость день Лицея
Торжествовать придется одному?

Бывший лицеист и сын участника кампании 1812 года покинет сей мир в возрасте 85 лет под гром начавшейся мировой войны. Так замкнутся линии жизни и смерти, связующие Семеновский плац, Оптину пустынь, Ясную Поляну... Так в потоке простой, «немудреной» жизни вдруг блеснет сокрытый в ней провиденциальный смысл.

«Мы будем вместе с Христом!»

Разумеется, *не был готов* и Достоевский: как и большинству осужденных, «мысль о смерти» не приходила ему в голову. В противном случае вряд ли в эти минуты он стал бы делиться с Момбелли планом сочиненной в крепости повести. Он не поверил и тогда, когда были произнесены роковые слова. И лишь *приглашение на казнь* убедило всех в серьезности происходящего.

Священник был в погребальном облачении: последний штрих маскарада, где каждый — от платного агента до государя — славно сыграл свою роль. И хотя скромному любителю Антонелли далеко до размашистых императорских забав, некий метафорист мог бы заметить, что оба участника заслуживают равного права облечься в вывернутые наизнанку кафтаны — спецодежду паяцев и палачей.

Позднее свидетели и жертвы этой инсценировки будут расходиться в деталях: называть разное количество врытых в землю столбов, путать фамилии тех, кто был к ним привязан, спорить об очередности смертных обрядов и т. д. и т. п. Но справедливо ли требовать более точных подробностей, когда главной из них является смерть?

¹ Подробнее об истории «незнакомства» Толстого и Достоевского см. нашу книгу «Последний год Достоевского».

...Из всех выведенных на эшафот к исповеди подошел один Тимковский (Кашкин в это мгновение промедлил); к кресту, однако, приложились все. Не исключая и Петрашевского — явного атеиста. «Мы будем вместе с Христом!» — «восторженно» скажет Достоевский по прочтении приговора. «Горстью праха», — насмешливо (и тоже по-французски) ответит Спешнев. Суждения не столь далекие друг от друга, как может показаться на первый взгляд. Предсмертный пафос Достоевского — не оборотная ли сторона постигнутого их *последнего* ужаса? Вернее — способ защиты от него: столь же отчаянный, как и материалистическая усмешка Спешнева.

...У него еще оставалось двадцать минут — чтобы *подготовиться*. Он не знал, что ему будет дано пережить свою смерть.

Стоял мороз: 21 градус ниже нуля.

Под рвущую ледяную воздух баранную дробь над теми из них, кто назначался в каторгу, были преломлены шпаги. «И братья меч вам отдадут», — сказал Пушкин. «Братья» замедлят с отдачей на тридцать лет. Нынешним жертвам вернут дворянство («меч») гораздо быстрее — едва ли не одновременно с узниками декабря.

...Первую тройку уже повели к столбам.

«Я стоял шестым, — говорит Достоевский, — вызывали по трое (*куда* «вызывали»? да и *кто* может туда вызывать? — **И. В.**), след<овательно>, я был во второй очереди и жить мне оставалось не более минуты». Как сказали бы ныне, начался обратный отсчет: три, два, один...

Обличавший пытку, запрещаемую законом, Петрашевский, конечно, не мог предвидеть, какого рода истязание ожидает их в самом конце.

...Когда первых троих привязали к столбам, остальным оставалось только молиться. Бедный двадцатилетний Кашкин, только что вместе со всеми отказавшийся от исповеди, как уже говорилось, вдруг возжелал ее. Его, осененного внезапной идеей облегчить свой загробный путь (и продлить тем самым на несколько кратких мгновений свою молодую жизнь), можно было бы уподобить той, не раз помянутой Достоевским графине Дюбарри, которая под ножом гильотины восклицала: «Еще минуточку, господин палач!» — можно бы уподобить, да незачем: смерть сравнима только со смертью.

«Знаете ли вы, что такое смертный страх? Кто не был близко у смерти, тому трудно понять это», — говорит Достоевский в «Дневнике писателя», касаясь уголовного случая, когда жертва «проснулась ночью, разбуженная бритвой своей убийцы». И он добавляет: «Это почти все равно, что смертный приговор привязанному у столба к расстрелянию и когда на привязанного уже надвигнут мешок». Да, он пережил свою смерть — и вернулся оттуда, откуда не возвращался никто. Он переступил черту — и назад уже не мог явиться таким, каким был прежде.

Дар напрасный, дар случайный,
Жизнь, зачем ты мне дана?

Цена той жизни, которая наступит потом, будет неисчислима. Ибо, став — буквально — «даром случайным», она отныне навсегда утратит эту свою ипостась. Дар делается бесценным — и вернуть его придется, лишь приумножив. В его послании к брату, одном из самых поразительных писем, написанных на этой земле, нет ни слова благодарности тому, кто сыграл с ним такую славную шутку. Высочайший режиссер — сам лишь орудие рока, посредник, без которого нельзя обойтись. «Брат, любезный брат мой! все решено!» Безличная форма глагола употреблена не зря. Решено не чьей-то человеческой волей, а той силой, которой он отныне подчинен и на благосклонность которой он все еще не теряет надежды. «Никогда еще таких обильных и здоровых запасов духовной жизни не кипело во мне, как теперь. Но вынесет ли тело: не знаю».

Он еще не знает, что тело — уже не только вместилище, но как бы и часть его духа: через несколько лет «священная болезнь» даст ему почувствовать эту невыносимую правду.

Изо всех своих тюремных посланий только на этом, написанном в день казни, он выставляет место: *Петропавловская крепость*.

«Брат! Клянусь тебе, что я не потеряю надежду и сохраню дух мой и сердце в чистоте. Я перерожусь к лучшему. Вот вся надежда моя, все утешение мое».

Он исполнял обеты.

Конец первой книги



Марк СВИФТ

Не инстинктом одним жив человек

Многоуважаемая редакция!

Приложенное здесь сочинение является ответом на статью Владимира Кошкина «Инстинкт веры, или Чего жаждут боги», появившуюся в седьмом номере «Октября» за 1996 год.

Надеяться на публикацию в вашем журнале — наверное, дерзость с моей стороны. Если редакция сочтет мое сочинение (или часть его) достойным публикации, буду приятно удивлен.

Немного о себе: я американец. Сейчас живу в Новой Зеландии, где преподаю русский язык и литературу в университете Аукленда. В прошлом году защитил докторскую диссертацию о библейских подтекстах и религиозных темах в прозе Чехова в колледже Бри Мар (под Филадельфией).

*Искренне благодарю за внимание
МАРК СВИФТ*

«Модель Бога» В. Кошкина — замечательное и интересное сочинение. При некоторой разбросанности и смещении категорий можно даже сказать, что оно является достойным вкладом как в дело выяснения природы человека, так и в вечный вопрос о том, есть ли Бог. У вечных вопросов не бывает окончательных ответов, и модель Бога, представленная автором статьи в «Октябре», далеко не исчерпывающая. Многого остается за бортом. Главных недостатков, на мой взгляд, два. Первый — уделяя большое внимание тому, что у человека общее с другими животными, модель упускает из виду то, чем человек уникален среди земных тварей. Второй — модель основывается на распространенных (даже среди верующих), но примитивных и ошибочных мнениях о Боге.

Кошкин не спорит с нравоучениями религии. Как естественника, его интересуют осязаемые результаты, и он признает, что благожелательность и мораль, которые есть в религиозных учениях, — не столько желаемые, сколько нужные людям для выживания вида. Автор расходится во мнениях с верующими, когда речь идет о предполагаемом источнике добра и альтруизма: «Заповеди Моисеевы есть вербализованная запись инстинктов, заложенных Природой». По мнению Кошкина, люди, думающие, что они соблюдают учение Бога, на самом-то деле действуют по законам природы и инстинкта. Владимир Кошкин в своем сочинении сначала объявляет, что он исходит из точки зрения атеиста, и дальше объясняет, почему ему кажется, что Бога нет. Я же полагаю, что, несмотря на основательное толкование господина Кошкина, Бог вполне может быть.

Весьма аргументированное мнение моего оппонента: верующие ищут убежище в своей вере, находят утешение и готовые ответы на критику в священных писаниях, из которых познают, что есть понимание умом. Иисус же говорит о понимании «сердцем», и материалистам поэтому не понять слово Божье. Принимающий слово Божье тем самым утверждает, что оно единственно верное. И атеист со своей стороны имеет готовый ответ на каждое из этих положений: «понимание сердцем» — это просто поэтическая формулировка животного чувства, проявление инстинкта. Положение же о том, что принимающий учение Божье тем самым доказывает его верность, ничего не значит, ибо люди нередко обманывают себя и верят в чепуху. Вот и лермонтовский Печорин замечает: «Как часто мы принимаем за убеждение обман чувств или промах рассудка». Иными словами: нельзя полностью полагаться ни на ум, ни на сердце, ибо и то, и другое могут одинаково подвести. Но полагаемся — на то и на другое — и как-то живем.

В вечном споре между атеистом и верующим одному другого не переспорить. Но если оспаривать модель Кошкина, надо это делать в рамках его модели, в тех же терминах и на тех же условиях, иначе диалог не получится. По мере возможного я постараюсь излагать свою мысль на том же языке науки и силлогизма. Банальное мнение верующего, что как точные часы или машина не могут образоваться из взрыва на складе запчастей, так и этот мир не мог сложиться просто сам собой, ничего не значит и здесь не в счет.

Уникальность человека

Мы склонны очеловечивать, к примеру, обезьяну: полезно порой и «обобезьянить» человека и напомнить, как мы близки с животными. Кошкин тем самым оказывает услугу, объясняя веру, надежду и любовь как проявление человеческого инстинкта, приводя примеры аналогичного поведения из мира животных. Совершенно верно, человек — тоже животное, и при определении человеческой природы необходимо учесть то, что у *homo sapiens* много общего с другими животными. Но при этом нельзя упускать из виду и то, чем отличается человек от других животных.

Итак, чем именно выделяется человек из мира животных?

Говорят, человеческий язык уникален. По сравнению со способами коммуникации в животном мире язык людей, безусловно, богаче, подробнее и выражает более тонкие и сложные нюансы. Но и другие животные общаются вполне адекватно, передают нужную им информацию и даже выражают многое, что нам недоступно. Как утверждают психологи, слова — далеко не единственный способ приобретения и передачи знаний. То есть язык как средство передачи не столь уж возвышает нас над миром животных. Если человеческий язык уникален, то только как проявление человеческого ума.

Своим умом человек действительно выделяется из других животных. По модели Кошкина человек обладает особо развитым «исследовательским инстинктом». Но инстинкт свойствен и другим животным. Человек мыслит и соображает. Он разумный зверь. Это отчасти то, что подразумевается под образом и подобием Бога — существа высшего разума.

Принято, что человек отличается тем, что он сознает свою смертность, имеет понятие о ходе времени, о смене поколений и о будущем, в котором его не будет. (Хотя и тут надо оговориться: понимаем ли мы, что происходит в сознании наших старших по эволюции братьев? Есть основание предполагать, что слоны и другие животные — тоже много о себе понимающие существа.) Это свойство человека, безусловно, является источником религиозных поисков смысла жизни и краеугольным в формировании человека как существа по природе своей религиозного. Оно приводится атеистами в поддержку теории о том, что это человек создал (то есть придумал) Бога, чтобы объяснить необъяснимое, придать смысл недоступному и смириться со страхом перед смертью.

Не будем учитывать то, что человек ходит на своих задних лапах (приматы тоже могут так делать). И нельзя утверждать, что человек уникален тем, что он добывает себе пищу и борется не только зубами и когтями, но и пользуется инструментами. Находчивые приматы и даже птицы тыкают соломины в муравейник, чтобы извлекать насекомых; выдра бьет моллюска на камне, который держит на животе, пока плывет на спине. Пожалуй, в отличие от других животных человек строит. Однако это тоже не совсем верно, ибо птицы, руководимые инстинктом, выют себе гнезда, а бобры строят плотины. Но вот именно здесь мы выходим на твердую почву. Человек не только складывает готовые материалы, как делают некоторые другие животные. Человек уникален тем, что он творит. Он, как никто, переделывает свой мир. Он изобретает и создает новое, невиданное доселе творение, будь то платье, ожерелье, дом, завод, стихотворение, симфония, роман или пулемет. Недаром абстрактное существительное «искусство» — однокоренное слово с прилагательным, обозначающим предмет, не существующий в природе, — «искусственный». Человек не только творит, но, по-видимому, ценит красоту¹ — понятие, тождественное с божественным в религиозном сознании. Человек заботится не только о функциональности делаемого им предмета, но и о его облике, и некоторые его творения сделаны просто красоты и символики ради.

¹ Любование красотой свойственно не только человеку. Некоторые птицы и крысы обольщаются яркими предметами и собирают, например, светящиеся камни.

Способность человека к творчеству — опять-таки отчасти то, что подразумевается под подобием и образом Бога. Этим и объясняется, почему творческий дар издавна называют Божиим даром. («Исполнишь волею моею! /и, обходя моря и земли, / глаголом жги сердца людей!») Ведь стремление человека творить — это подражание первейшему Создателю. Замятинский герой Д-503 размышляет над тем, как бедные «древние» (то есть мы), еще не открывшие логику и законы совершенного искусства, могли творить только в состоянии «вдохновения» — неизвестная форма болезни. Возможно, вдохновение — просто животный азарт, однако возможно, что испытывает его лишь человек. Если вдохновение свойственно человеку, то оно проявление его ума и эмоций или исходит из источника, ощутимого человеческим духом и влекущего к себе.

Конечно, наличие творческого импульса в человеческой природе не является доказательством существования Бога. По модели Кошкина человеческое стремление к творчеству — это проявление исследовательского инстинкта или опять-таки результат инстинкта номер один — эгоистическое проявление собственного «я», или, пожалуй, стремление создавать исходит из инстинкта оставить потомство или сохранить вид. Словом, по такой модели творческий акт исходит из того же импульса, который служит основой для добывания пищи или захватнических войн, или желания баллотироваться на пост президента. (То есть он исходит из жажды власти, заботы о потомстве или из-за стремления принести благо другим?)

Выяснить единую мотивацию человеческого поведения — задача нелегкая. Как нельзя полностью объяснить агрессию или войну неким пятым инстинктом умерщвления себе подобных. Думается, что в творчестве кроется нечто большее, чем исследовательский инстинкт, инстинкт самосохранения или выживания вида. В творчестве, пожалуй, помимо сознания смертности, есть и стремление осмыслить, и желание запечатлеть, выразить восприятие.

Человек — сложный зверь. В одинаковых условиях люди поступают по-разному. Обратное тоже верно: разные мотивации или соображения могут вести к одинаковому поведению.

Рассмотрим пример «поведения» в широком смысле слова — выбор профессии в развитых странах. В США кто-то выбирает профессию врача, потому что стремится к престижу, богатству. Другой увлекается наукой, не заниматься ею он не может. У третьего умер от болезни близкий человек, и он сознательно в честь и память погибшего дает себе клятву помогать другим. Все они будут врачами, но каждый вступил на это поприще по разным соображениям. То есть инстинктам?

Творческая способность, свойственная человеку, приобретает дополнительное значение, если учесть в ракурсе ее «отрицательную обратную связь»: человек стремится не только создавать, но и уничтожать. Как «гуманный» дельфин, он может лечить слабого, однако он же может истязать беспомощного. «Ворон ворону глаз не выклюет», — цитирует Кошкин. А человек выклюет. Иван Карамазов правильно замечает, что выражение «жесток как зверь» очень несправедливо по отношению к зверю. Хищник убивает, потому что не может иначе. Так заложено у него в генах, и тем самым он выполняет свою необходимую природную функцию. Хищник живет за счет добычи, добыча как бы нуждается в хищнике, который, как правило, отсеивает из стада слабых и больных. Еще один пример: более сильный птенец хищной птицы выгоняет из гнезда более слабого. Это естественный отбор в начале жизни по закону выживания сильного. Такова природа. И может быть, когда человек ведет себя как хищник, он поступает по законам природы для всеобщего блага человеческого вида. Но случаи, когда животные убивают себе подобных, исключительно редки. Чаще всего это происходит, когда обычные состязания выходят за обычные рамки, то есть по ошибке. Факт остается фактом: только человек убивает из-за обиды, ненависти; только человек убивает специально, намеренно, и только он, по видимому, может получать удовольствие от причиненной другому боли, он придумывает изощренные способы убивать и мучить себе подобных. Это так называемый «изобретательный инстинкт», который направлен на службу инстинкту умерщвления себе подобных. И только человек может выбрать, поступать ему так или иначе.

Нельзя определить альтруизм и эгоизм как «добро и зло». Владимир Кошкин совершенно верно говорит, что в каждом индивидууме — баланс эгоистического и альтруистического поведения, и правильно приводит в пример первого из альтруистов: бывало, что и Иисус удалялся от просящего его народа, чтобы отдохнуть и укрепиться в молитве. Автор также правильно замечает, что зло даже нужно добру как противовес или «отрицательная обратная связь» в том смысле, в каком Воланд в «Мастере и Маргарите» говорит: «Что было бы твое добро без моего

зла? Разве свет бывает без тени?» Но верующий не согласился бы с мнением Кошкина, с тем, что, «как и Бог, Люцифер лишен черт эгоистического поведения», что Бог и Люцифер одинаково «бескорыстны». Если зло узурпирует и подрывает, как бы нуждаясь в утверждении собственной силы и в оправдание себя, то добро настолько уверено в себе и своей силе, что от избытка даже жертвует собой. Параллельно с идеей, что добро сильнее зла, В. Кошкин показывает, что альтруистические инстинкты сильнее эгоистических, ибо при них выживание другого «оказывается для особи важнее собственного, личного выживания». Но это еще не любовь к ближнему, предостерегает Кошкин, потому что подобное поведение наблюдается в животном мире.

В поддержку своей теории ученый приводит ряд примеров: животные, действуя по инстинкту сохранения вида, проявляют альтруистическое, «гуманное» (стало быть, «животное»?) поведение: дельфины охраняют раненого собрата, рыбка защищает «чужую» икру, второй по рангу в группе шимпанзе самец идет последним в веренице и тем самым подвергается опасности атаки леопарда сзади. Думается, что животные в таких случаях самопожертвования целиком подчиняются инстинкту сохранения потомства или племени. Человек в подобных условиях может поступать так, как животное. Однако может поступать и иначе. Как птица, защищающая чужое гнездо, человек может принять чужих детей как своих, но разве он не бросает своих детей? Кричащая «караул» птица, которая привлекает к себе внимание хищника, тем самым защищает стаю, или идущий последним в веренице шимпанзе действует по обязанностям своего ранга в группе. А разве солдат, бросившийся на гранату ради стоящих рядом братьев, не проявляет наибольшую любовь?

При предлагаемой Кошкиным модели кажется, что у людей нет выбора в своих поступках, что человеческая воля иллюзорна, что человек не действует, а только машинально реагирует на стимул. Парадокс же человека заключается в том, что он не только способен на любовь до самоотречения (по модели Кошкина — из-за заложенного в нем генетического альтруизма), но и по желанию может также творить немислимую гадость.

Нельзя не согласиться с автором статьи «Инстинкт веры...», что если противоположные в обществе тенденции (например, политический процесс) имеют свойство, как маятник, уравниваться и их можно сравнить с теннисным матчем: «Инь-янь, инь-янь... Смэш! Переход подачи!», — то только потому, что аналогичный процесс происходит у каждого из составляющих это общество индивидуумов. (Интересно, имеют ли место в жизни животных процессы, подобные расхождению и сближению политических программ?) Представление о сознании как диалоге с самим собой было распространено у древних. Если признаем наличие диалога с самим собой, то подразумеваем, что человеческое сознание составлено из разных частей. По модели, представленной Кошкиным, это — конкуренция уравнивающих друг друга эгоистических и альтруистических инстинктов. Такая теория о конкурирующих инстинктах — в сущности, научная формулировка мнения моралиста Солженицына о том, что, если для совершенствования общества достаточно было бы только отделить некоторых «плохих» людей от остальных «хороших», это было бы нетрудно осуществить, но дело заключается в том, что граница, делящая добро и зло, проходит не столько между отдельными людьми, сколько через каждое человеческое сердце.

По модели В. Кошкина, когда маятник преобладающих тенденций качается время от времени в сторону повышенного эгоцентрического поведения и люди встают друг против друга и даже убивают друг друга, это нормальное, возбуждаемое в силу обстоятельств проявление инстинктов. Смириться с этим надо, потому что «бороться против природы нельзя». Это наставление как-то не увязывается с другим утверждением Кошкина, что лично он уважает «честную веру и искренние убеждения в любом исполнении, если они не содержат агрессивного начала», и тех, «кто берет из общего котла меньше, чем кладет в него», — иными словами, он против насилия и, конечно, за то, чтобы приносить благо другим. Может быть, что-то в этой модели я не понял или собственное желание верить в Бога заслоняет от меня очевидное, но кажется непоследовательным утверждать, с одной стороны, что агрессия по отношению к людям — неизбежное проявление инстинкта, против которого бороться нельзя, и в то же время быть противником насилия. По наставлению «не борись с природой», казалось бы, желать устранения (или хотя бы улучшения) недостатков человека так же безнадежно и неискренно, как мечтать об устранении ураганов или извержений вулканов, то есть как бы неприятно это ни было, человеческая жестокость и несправедливость — неотъемлемые и даже нужные составные части природы, необходимые для выживания вида.

Но можно ли ожидать от животного, действующего только инстинктивно, чтобы оно морально усовершенствовалось? Желать, чтобы человек был лучше, чем он есть на самом деле,— значит, подразумевать, что люди в отличие от других земных тварей способны на лучшее, что они могут и должны быть лучше. Такое соображение равносильно признанию некоего идеала и того, что люди в своих поступках вольны выбирать; иными словами, они имеют понятие о добре и зле. Это еще одна отличительная черта человека: он имеет понятие об идеале, о том, что должно быть. Так, Гуров в «Даме с собачкой» размышляет: «Все прекрасно на этом свете, все, кроме того, что мы сами мыслим и делаем, когда забываем о высших целях бытия, о своем человеческом достоинстве». От рождения или от воспитания, но у человека есть представление об идеале. Зверь, согласитесь, не может упрекать себя в промахах и стремиться быть лучшим. Он таков, каков есть. Теологи сходятся во мнении, что образ и подобие Божье во многом обозначают, что человек вопреки другим земным тварям не весь во власти своих инстинктов. Понятие человека о том, на что он способен и что должно быть, служит мериллом собственного и чужого поведения. (По теории Кошкина — это совесть, «голос альтруистических инстинктов».)

Откуда же эта инстинктивная неприязнь к агрессии у доброго естественника? По собственному пониманию модели Бога думаю, что Кошкин объяснил бы эту видимую неувязку тем, что в нем лично преобладает А-поведение (альтруистическое) над поведением типа Е (эгоистическим). Более того — он даже желает, чтобы так было и у других. Естественник сказал бы, что врожденная (или воспитанная) у него неприязнь к насилию и родственная ей благосклонность (давайте назовем это любовью) к ближнему — инстинкты. Как таковые они выработаны тысячелетиями с целью избегать конфликтов, обеспечивать безопасность и выживание коллектива. Тем самым они мало отличаются от стадного чувства или от тех процессов, по которым муравьи или волки научились собираться в стаи.

А в ответ на вопрос, откуда у естественника неприязнь к агрессии и благосклонность к дружелюбию, иной верующий скажет: «И все будут научены Богом», имея в виду, что «инстинктивное» отвращение к насилию и «природное» чувство ответственности перед ближними, присущие доброму человеку,— это Божья любовь, признается ли он себе в этом или нет.

Данное предположение, что чуткая человеческая душа обладает инстинктивным восприятием Божьей истины и что добрый человек (даже добрый атеист) обязан Богу за свою доброту, является, конечно, недоказуемым (как, кстати, и модель Кошкина). Оно также вызывает негодование у некоторых верующих. Но такая реакция не перечеркивает неоспоримый факт, порой отгалкивающий неверующих от религии (или от того, как она часто практикуется), признанная вера в Бога сама по себе не делает людей лучше. Есть недобрые верующие, поведение которых не соответствует их вероучению. Есть и добрые, следующие нравственным заповедям, неверующие.

По этой модели постоянный выбор в своих поступках, перед которыми стоит человек, объясняется конкурирующими инстинктами. Эгоистическое поведение (инстинкт самосохранения) и некий инстинкт «прореживания популяции» преобладают при ухудшающихся жизненных условиях (что давно известно по народной мудрости: от собачьей жизни и человек кусачий). В самом деле, преступность (явное эгоистическое поведение) растет при тяжелых экономических условиях (как, впрочем, злоупотребление алкоголем и участие в азартных играх). И общепризнанно, что темп и частота современной городской жизни создают стрессы и трения между людьми, что, в свою очередь, приводит к еще большему эгоистическому поведению. (Точно так же, как подопытные крысы грызут друг друга при чрезмерной тесноте, даже когда хватает корма.)

Но тоже верно, что люди в экстремальных условиях, даже во время голода и войны, сохраняют человеческий (животный? Божий?) облик, проявляют доброту. По модели В. Кошкина это объясняется тем, что в таких особях преобладает альтруистическое поведение.

В каждом человеке есть что-то от животного, а в животном — от человека. Атеист скажет, что это естественно, ибо любая форма жизни — биологическая и подчиняется одним законам природы. Для верующего наличие общего между человеком и животным может служить доказательством того, что вся жизнь священна и несет в себе божественное начало. Это не противоречие: каждый по-своему прав.

Итак, мы вывели, что человек уникален своим любопытным умом. Он ненасытен и стремится осмыслить свое существование. Он разумное существо, которое

способно творить и уничтожать, которое способно на наибольшую любовь и на наибольшую гадость, и у него есть понятие о добре и зле. Кроме того, замечаем, что эти свойства связаны с понятием об образе и подобию Бога.

О некоторых заблуждениях

Когда Кошкин говорит о религии и о Боге, он имеет в виду некоторые догмы иудеохристианской традиции. Модель Бога у Кошкина основывается на мнениях о Боге, распространенных среди верующих. Такой подход логичен, но в нем кроется возможный недосмотр. По частным мнениям о Боге можно судить о том, каким люди представляют себе Бога, однако трудно представить, каков есть Бог на самом деле.

Стержень модели В. Кошкина — поразительный «по устойчивости алгоритм описания свойств Бога из Ветхого завета». Но многие еще сомневаются: как же можно верить в Бога, который среди прочего требовал жертвы кровью? (Даже в библейские времена соседние народы считали израильтян варварами из-за того, что они верили, что их Богу надо угодить жертвой.) Мы принимаем как должное всевозрастающее накопление эмпирических знаний. Разве нельзя аналогично допустить, что и понимание Бога — у каждого верующего в отдельности и у людей вообще — тоже проходит процесс эволюции и развивается? Вера — сугубо личное понятие, и люди представляют себе Бога по-разному. Кому он видится как грозный судья, кому — как добрый наставник и сострадающий друг, кому — как мировая душа.

Модель В. Кошкина основывается на некоторых традиционных догмах религии и на сопредельных с ними неразвитых понятиях о Боге. Например, когда Кошкин пишет, что «Бог — это запрет», под Богом он имеет в виду догмы религии. В модели автора «религия» и «Бог» понимаются как «законы Моисеевы — договор каждого человека с человечеством». Так понимали религию при Киевском Владимире, когда князь разослал послов в поисках «закона», по которому можно было жить.

Кошкин ошибается, когда сваливает всех верующих в одну кучу и говорит о религии как об однозначном единстве. Например, его уверение, что «религия по-прежнему, как и в средние века, запрещает аборт и борется с контрацепцией», — просто неправда. Это не религия, а догма некоторых конфессий, точнее, отдельные их представители поступают так по своим личным убеждениям. Между тем другие верующие ратуют за употребление противозачаточных средств, защищают право на аборт, считают, что их братья по вере подвижны не верой в Бога, не любовью и заботой о нерожденных, а уверенностью в собственном моральном превосходстве и стремлением навязать свою идею другим.

Запрет религии на внебрачные половые отношения первоначально идет от людей. В основе этого запрета лежит не столько боязнь прогневить Бога, сколько забота о земном имуществе и наследстве. И стал этот запрет религиозным во времена, когда, помимо крупного и мелкого скота, дочери и жены тоже считались имуществом. Люди, готовые побить камнями женщину, совершившую прелюбодеяние в известной евангельской истории, поступали по тогдашнему иудейскому (думали, по Божьему) закону. А Иисус, которого христиане считают Богом воплощенным, учит, что Бог скорее есть Бог милости и прощения, чем Бог наказания и возмездия. Это не значит, что все дозволено, но все прощается. И если Бог нас прощает, то и мы должны простить друг друга. Иисус бросил дерзкий вызов иудейским законам. Делая упор на то, что «закон дан через Моисея», Кошкин умалчивает о продолжении евангельского стиха — «благодать да истина — через Иисуса Христа».

Есть верующие, которые считают, что все равно, из какого сосуда Бог утоляет жажду, — вода одна и та же. Иными словами, они думают, что все религии исходят из одного источника единого Бога и, следовательно, все религии могут способствовать общению с этим началом. Такие верующие отталкиваются от дословной интерпретации священных писаний. Для них Библия является не последним словом Божиим, а скорее одним из первых слов Бога и путеводителем. (Так, знакомый пастор мне сказал: «Я слишком серьезно отношусь к Библии, чтобы понимать ее буквально».) Эти верующие исходят из логической предпосылки, что если Бог есть дух, то это именно дух. Если Бог есть истина, то Божья истина не только вдохновляла людей, когда писались Библия или Коран, но и продолжает открываться всем ищущим. Недаром у квакеров существует известная формулировка: изречения из Евангелия являются истиной не потому, что Иисус так сказал, а, наоборот, Иисус так говорил, потому что это и есть истина.

Напомним некоторые заблуждения, часто встречающиеся у верующих и служащие основой для модели, представленной В. Кошкиным.

Многие считают, что смерть — это трагедия, пришедшая в мир по вине человека. Но жизнь ценится только потому, что она недолговечна. Вечную жизнь духа нам не постичь. Да и мы отвергли бы вечную жизнь, будь она просто теперешней жизнью без конца. Другое ошибочное мнение обратное: земная жизнь ничтожна. Христос в Гефсиманском саду — доказательство от противного. В христологии Иисус — подлинный человек и также Бог. Если он Бог, то он понимает, как никто, что план Божий совершенен. Но, как замечает больной Громов в рассказе Чехова «Палата № 6», Христос не спокойно пошел на страдания и смерть, он умолял, чтобы миновала Его чаша сия и чтобы Он остался жить. Тем самым подчеркивая ценность жизни на земле.

По В. Кошкину вера в спасение — это отголосок детского инстинкта, по которому ребенок ожидает и ищет спасения у матери. Дерзкое обобщение, что «религия — это вера в Спасителя», — предпосылка для инстинкта веры и главное в данной модели Бога. Но этот краеугольный камень в теории об инстинкте веры непрочен по двум причинам. Во-первых, как бы ни было важно понятие спасения в христианской вере, если речь идет об общечеловеческих инстинктах, то по меньшей мере неосторожно говорить об аспекте одной из мировых религий как о религии или о Боге вообще. Во-вторых, если взять христианство, то здесь явное недопонимание, что такое спасение в представлении верующих христиан. Говоря о спасении, Кошкин имеет в виду спасение от опасности, болезни (в конечном счете от смерти), то есть от всего того, от чего мать защищает ребенка. Это спасение в том смысле, когда говорят, что даже атеист обращается к Богу в момент крайней опасности: человеку свойственно не расставаться с надеждой на спасение в безнадежных ситуациях. Поэтому ад — место, где нет надежды. Вероятно, подобное безнадежное отчаяние испытывает самоубийца. В иудеохристианской традиции спасение понимается прежде всего как спасение от собственной греховности. (Грех здесь понимается не как зло, а в первоначальном смысле слова: промах, неудовлетворение своих способностей, невыполнение своего назначения.)

Кошкин выделяет еще одно распространенное (но ошибочное) мнение у верующих: когда верующий страдает, он думает, что это потому, что он плохо выполняет закон Божий. По словам фельдшера Сергея Сергеича из «Палаты № 6»: «Болезем и нужду терпим оттого, что Господу милосердному плохо молимся». Многие верующие считают, что болезнь, трагедия — заслуженное наказание для искупления грехов или испытание с целью закалить людей и сделать их лучше; в любом случае они думают, что беда — от Бога. Сколь ни типично это мнение, некоторые теологи (в том числе Равви Харольд Кушнер²) показывают, что оно не обосновано иудеохристианской религией. Вера, что бедствие — заслуженное наказание, исходит из желания осмыслить мир как нечто логичное, предсказуемое, подлежащее причинно-следственным связям. На нем основано суеверие, что благополучие можно обеспечивать выполнением обрядов и соблюдением правил. Между тем страдание и беда без причин — неоспоримые факты, а счастье и несчастье — нередко дело случая или хаоса. Это не только подтверждается объективным наблюдением дерзкого еретика Екклесиаста, но и утверждено Иисусом в Евангелии (Иоанн, 9:2—3, Мат. 5:45, Лук. 13:1—5).

Новизна христианства заключается в том, что оно ввело в мир представление о Боге, любовь к людям Которого такова, что Он³ вместе с ними страдает. Из этого понятия о страдающем Боге следует, что сострадание, которое люди оказывают друг другу во время бедствий, является проявлением Божьей любви и подлинным делом Божьим. С одной стороны, это представление о страдающем с нами Боге было введено много поколений назад, а с другой — по временной шкале эволюции и развития инстинктов это сравнительно недавнее нововведение, к которому люди еще привыкают.

Кошкин признает: «Поразительна глубина постижения евангелистами свойств человеческой психологии». Будто евангелисты по сговору придумали неразрешимые

² Harold Kushner. When Bad Things Happen to Good People. New York, Avon Books, 1981.

³ Употребление местоимения мужского рода «Он», как в данной статье, так и в Библии, — просто условность. По самому определению, совершенный дух не может быть мужским. Это отголосок предрассудков культуры библейских времен. Ведь утренняя молитва евреев ветхозаветных времен включала благодарение за то, что Бог их не сделал ни рабами, ни женщинами. Не верится также, что Бог создал женщину из ребра Адама (значит, сначала были жеребцы, быки, петухи — только потом Бог спохватился и придумал кобыл, коров, кур?) — это явное патриархальное предубеждение библейского автора (таких случаев немало).

мую загадку, которую нельзя объяснить, в которую можно только верить. (Интересно, с какой целью?)

Кошкин ошибается, когда пишет, что «Бог — это несвобода». (Он опять-таки имеет в виду догмы религии.) Бог больше всего ценит свободу в человеке и силой никого не обязывает следовать его убеждениям. Бог мог бы сотворить человека, как собачку, которая только подчиняется хозяину и его любит. Сознательный выбор искать и возлюбить истину по собственному желанию более значим для Бога. Верующий считает, что человек не скован Богом, а, наоборот, становится по-настоящему свободным (спасен от своих заблуждений) через общение с Богом.

Герой Замятина D-503 размышляет: «Изумительно: до чего в человеческой породе живучи преступные инстинкты!» Речь идет об изжившем свой век и больше не нужном «инстинкте свободы». Но даже Единое Государство не могло истребить инстинкт свободы в подвластных нумерах, ибо свобода в своих действиях и мыслях — отличительная черта человека. Естественник скажет, что человек не действительно свободен, что он скован законами общества, то есть боязнь наказания ограничивает его поведение в рамках дозволенного. Но это не совсем так. Законы существуют не для тех, кто по природе своей склонен соблюдать закон, а для тех, кто, несмотря на закон, все равно его нарушает. А если речь идет о человеческой природе и о том, свободен ли человек, то надо учесть не только судимые преступления, а простые ежедневные отношения с людьми — все то, за что не судят, а в чем люди свободны поступать по-доброму или по-плохому.

Итоги

Владимир Кошкин — противник насилия, он требует от себя и желает всем сохранять благожелательные отношения с другими. В то же время он без осуждения способен простить смертным их слабости (ведь они бедные, глупые животные!). Такая долготерпимая и прощающая обиду любовь к людям — опять-таки по образу и подобию Бога. Кошкин своим наставлением, чтобы люди смирились с неумолимыми силами природы, при одновременном его желании, чтобы они были добрыми, в сущности, вторит некоторым учениям христианства: кроме известного наставления, чтобы люди любили друг друга, и призыва к совершенству, Христос также внушает терпение, смирение и прощение.

Кошкин напоминает другого доброго естественника — А. П. Чехова, научная склонность которого не позволяла ему утверждать, что Бог есть, ибо существование Бога не подлежит доказательствам, а между тем своим же путем он доходит до родственной Богу истины и все-таки находит, что мораль от религии (то есть социальная мораль, заложенная в генах) — верна.

Атеист скажет: «До чего живуч в человеке инстинкт веры! Он все ищет смысл в утешительном обмане, у которого нет ни основания, ни доказательства. До чего он слаб, слеп и наивен!» Верующий, со своей стороны, скажет: «До чего реальна истина и любовь, которыми является Бог. Несмотря на заботы и ценности мира сего и (казалось бы) противопоставления, они выпрашивают себе внимания — не громко, а тихо, просто силой своей правоты».

Есть притча о молодом человеке, учащемся в университете и возвращающемся домой на каникулы. По привычке он идет с родителями на службу в родную церковь, а после службы улучает момент и признается пастору:

— Батюшка! Я потерял свою веру!

Священник, должно быть, рассеянно отвечает:

— Это хорошо!

Молодой человек в отчаянии настаивает:

— Вы не понимаете! Я говорю, что свою веру потерял! Там, в университете, научился многому. Глаза мои будто раскрылись, и я больше не могу верить в то, во что раньше верил. Это ужасно!

Священник объясняет:

— Если твоя вера так легко испарилась, значит, она у тебя была несостоятельной: она не имела основания. По-видимому, верил ты не в то. Тебе надо было избавиться от такой веры, а теперь можешь искать себе подлинную веру.

Перед убедительными аргументами у иных вера может пошатнуться. Чтобы этого не допустить, верующие замыкаются, как бы говоря: «Не надоедайте мне с

фактами! Знать ничего не хочу!» Такие верующие, убежденные в своей правоте и в грешности сопротивляющихся им, находят убежище в узкой, не допускающей никакого развития вере. Думается, что вере, боящейся вызова, есть чего бояться, ибо у нее — слабое основание. У иных же в результате споров вера закаляется и становится еще крепче, находит себе более прочное основание.

Верующие, которые обижаются на науку, находятся под ложным впечатлением, что открытия науки противоречат религии или даже выхолащивают ее. Обижаются обычно те, предмет веры которых есть выполнение обрядов и соблюдение поверхностных ритуалов, или те, кто настаивает на буквальном чтении священных писаний: например, что Бог создал мир за семь дней.

У религии нет спора с наукой. Наука и религия скорее дополняют друг друга. Это разные типы знаний, и каждый действует в своей области. Наука даже помогает религии. Она освобождает ее от обязанности истолковывать то, что доступно человеческому разуму, наука как бы уточняет религиозные поиски и направляет религию на ее подлинную цель — развитие духовной жизни, общение с Богом, которое начинается с любви между людьми и бережного, любовного отношения к мирозданию.

Древнейший спор между верующими и неверующими — неразрешимый и неисчерпаемый. Каждый видит, что он хочет видеть, и знает, что для него является правдой. Лично я считаю, что этот спор, если он способствует уточнению мысли или развитию веры, может быть полезен обеим сторонам.

Теория и умозаключения Владимира Кошкина могут сослужить службу верующим, если помогут отбросить ненужное, заслоняющее от главного и направить духовные поиски куда надо.

Материализм — та же вера, которая отрицает существование духовного и признает только материальное. Следовательно, материализм обязан объяснить все явления, включая мысль и эмоцию как проявление материального. Это вовсе не трудно: мысль и чувства (предположение, логический вывод, печаль, радость) — это биохимические процессы и мало отличаются от тех, которые происходят в уме и в душе (простите за условный термин «душа») животного. Такое объяснение не делает наши чувства и мысли менее значимыми. Полнота чувств и глубина мысли сохраняются. Смириться надо только с иллюзией того, что наш внутренний мир чает чего-то большего или даже является частью чего-то большего. (Значит, такое ощущение — коллективное сознание, выработанное веками общественной жизни.) Оказывается, что такие общепринятые термины, как «духовная жизнь» и «духовность», — условности, которые можно заменять словами «самочувствие» или даже «психоз». В английском языке говорят о душевнобольном (удачное русское слово!): он потерял контакт с реальностью. А сам больной, особенно если он страдает манией религиозного азарта, считает, что он вступил в контакт с реальностью, куда более существенной, чем видимый мир.

Владимир Кошкин признается, что давно и постоянно обсуждает с друзьями «вопрос о смысле жизни», ведь такой вопрос задает себе каждый. Для атеиста этот вопрос — лишь интеллектуальная абстракция, то есть иллюзия или, скорее, исследование, стремление определить и осмыслить те процессы, которые доступны разуму.

Верующим незачем обижаться на атеистов. Нет логических выводов, которые аннулировали бы религию. И атеистам по примеру Владимира Кошкина следует уважать любую веру, если она лишена агрессивного начала.



Военный дневник великого князя Андрея Владимировича Романова

1 февраля

Третий день, что я в Варшаве, и, конечно, не в курсе того, что делается у нас на фронте. Но дошедшие до меня тут слухи достойны быть отмеченными. Где тут правда, сказать трудно, и лишь история в этом разберется. Первое, что я узнал здесь, был слух, что в штабе Русского открылся целый ряд шпионских дел и что между замешанными был и генерал, которого арестовали и увезли уже.

Действительно, были мелкие шпионские дела, но генералы в этом замешанными не были, по крайней мере в Седлеце я не слышал. В связи с этим говорили, что благодаря этим шпионам генералу Русскому до сих пор не удавались боевые действия. Все было уже известно немцам, и они принимали меры, парализовавшие все наши действия. Ввиду этого, как гласит слух, и ввиду того, что генерал Русский не в силах шпионское дело разобрать, его сменяют и назначают Куропаткина.

О Куропаткине я уже писал 17 ноября прошлого года, и из этого видно, что тогда шансы Куропаткина были плохи. Не думаю, чтоб за два месяца дела его так поправились, а впрочем, все возможно. Последний слух — это, что генерал Русский — тайный морфиноман. На этом главным образом и базируется слух о его смене.

Видел сегодня гр^{афа} Ад^{ама} Замойского. Я его спрашивал, не слышно ли было по этому поводу в Ставке. По его словам, в Ставке не было разговора по этому поводу и что слух этот циркулирует по Варшаве и очень усиленно. <...>

7 февраля

В 11 ч. утра я выехал с генералом Сирелиусом из Гродно на Домбров в трех автомобилях с конвоем. По дороге встречали массу бродячих людей [из] разных частей. Много было [из] 115[-го] Вяземского полка 29[-й] дивизии. Один фельдфебель, который нас спросил, где 29[-я] дивизия. Эта дивизия 20[-го] корп^{уса}, которая вся погибла. Конечно, мы ничего ему не сказали. Он был очень удручен, уже 5-й день от Августова все ищет свой полк. Никто ему ничего сказать не мог, и он нам прямо заявил, что позор ему — не найти свой полк. Бедный не знал, что полк погиб. В Домброве мы нашли штаб 64[-й] дивизии. Начальник дивизии генерал Жданко¹ — бодрый, в отличном настроении. Просил лишь дать отдохнуть дивизии, и затем все снова готовы идти в бой. Штаб 84[-й] дивизии мы не нашли. Здесь, в Домброве, было 3 полка под общим начальством командира 335[-го] Анапского полка полковника Пороховщикова². Но, где начальник дивизии, он не знал и связь с ним потерял уже 3 или 4 февраля. Пока генерал Жданко взял дивизию под свое покровительство. Продовольствием обеспечены и одеты сравнительно хорошо, сапоги лишь истрепались.

Далее поехали в дер^{евню} Яловка в шт^{аб} III Сибирского кор^{пуса} генерала от артиллерии Радкевича³. Мы его нашли в крайне возбужденном настроении. Он получил запрос из штаба фронта, почему покинул свой корпус. Его ответ был очень резок, но категоричен. Он пишет, что был там, где долг службы ему предписывал быть, ни разу связи не терял с корпусом и не бежал. Настроение его было тоже превосходное, что касалось его дивизий и их боеспособности. Потери серьезны, но дух бодр. Люди всюду очень переутомились в 9-дневном непрерывном бою. Падали от усталости и засыпали даже в воде. Продовольствия достаточно.

III Сибирский корпус отступал благополучнее всех других. Он выдержал от первого дня боя тысяч 25, целый ряд яростных атак, уложил целую грудку неприятеля и вышел с честью из тяжелого положения.

* Окончание. Начало см. «Октябрь» № 4 с. г.

Он рассказал нам курьезный инцидент с одной телеграммой. Дело было так.

Нач<альник> ар<тиллерии> Осовецкий креп<ости> ген<ерал> Бржозовский⁴ получает следующую телеграмму:

«Ген<ералу> Бржозовскому. Пошлите самым быстрым образом несколько хороших развозов по дороге к Штабину с приказанием найти где-либо около Штабина ген<ерала> Трофимова⁵ или кого-либо из начальников и передать ему, что войскам, отошедшим от Августово, отходить им на Осовец или на Соколку. № 1264.

Ген<ерал> Будберг».

(Ген<ерал> Будберг — нач<альник> шт<аба> X ар<мии>.)

В тот же день 4 февраля в 3 ч. 25 м. дня ген<ерал> Трофимов эту телеграмму получил и донес об этом в шт<аб> корпуса около 9 ч. вечера, и ком<андир> корпуса ему ответил, что такой телеграммы быть не могло, приказание это не исполнять и продолжать держаться и не отходить.

5 февр<аля> об этой телеграмме был запрошен шт<аб> ар<мии>, который ответил, что такой телеграммы не отправляли. Так и не выяснено, кто ее послал. Вечером в штабе я проверил историю этой телеграммы, и оказалось, что действительно она была послана нач<альником> шт<аба> бар<оном> Будбергом, но без ведома ком<андующего> армией. Он уже проявлял признаки ненормальности, но никто не мог предполагать, что это дойдет до таких печальных размеров. После этого его заперли в комнату и приставили жандарма за ним следить в боязни, что он пойдет к телефону или телегр<афному> аппарату и начнет давать безрассудные приказания. Сиверс был в отчаянии от этого факта.

7 февраля. Вечер

В 10 [ч.] я поехал в штаб армии. Было получено от разведчика известие, что 20[-й] корп<ус> окопался недалеко от Гродно и просит помощи. Известие принес доброволец, уже награжденный Георг<иевским> крестом и раненый. Он уверял, что прибыл прямо от ком<андира> корпуса ген<ерала> Булгакова⁶. Сиверс долго думал, что делать. Как бы ни было мало шансов, что 20[-й] корп<ус> еще существует, его долг велит идти ему на помощь во что бы то ни стало. Ежели известие неверно, ежели доброволец ошибся или подкуплен, что тогда? Все усилия ни к чему. Но мысль, что, может быть, рядом в неравной борьбе еще живет 20[-й] корп<ус> и ждет помощи, и выбивается из сил, заставила всех в один голос решиться на трудный шаг, перейти в наступление с истомленными войсками, но все же идти на выручку товарищей. К 10 ч. вечера был собран военный совет. Идея идти на на выручку 20[-му] корп<усу> всех захватила, 64 див<изии>.

8 февраля

В 11 ч. утра я выехал с ген<ералом> Сирелиусом в штаб 26[-го] корп<уса> в дер<евню> Кустинцы. Часть ехали на моторе, но потом застряли в снегу, и пришлось ехать в телегах под проливным дождем. В дер<евне> Кустинцах ничего не нашли, и пришлось обратно до моторов [идти] верст 5—6. Все время шел дождь. Грязь ужасная. Издали доносился орудийный гул с крепостных верхов. К 4 ч. мы были обратно в штабе. Еле-еле пробрались по горodu. До того все было угрожаемо обозами и повозками. Беспорядок ужасный. В штабе я узнал, что действительно 20[-й] корпус жив и два полка 115[-й] и 116[-й] пробившись у Пашковско-го моста на Бобре в направлении на Домброво и даже ведут пленных с собой. Через полчаса, что я был в штабе, ген<ерал> [Российский] из Красностока доносит, что к нему прискакали от ген<ерала> Булгакова казаки с известием, что корпус 20[-й] у дер<евнь> Богатыри и Волкуши просит помощи. Ген<ерал> Булгаков не ручается, что люди положат оружие. Это известие еще более всех подбодрило. Значит, корпус близко от наших передовых линий, до него всего 6 верст. Он слышит наш огонь, слышит приближение выручки. Надо напрячь последние усилия и выручить его. Сиверс продиктовал немедленно приказания вести наступление энергично и без остановки. Указал, что 20[-й] к<орпус> близок, близок и час его выручки. Зазвонил телефон, стали писать приказания. У всех на глазах слезы. Спасут или нет? Уже и два вышедших полка ведут с собой свыше 1000 пленных и неприятельское знамя. Это они, окруженные, которых считали погибшими, они ведут сами пленных. Прямо не верится всему, что слышишь. Мы переживаем историческую минуту: дай Бог спасти их. Близко, близко. Волнение в штабе большое. Все ждут с минуты на минуту известий. Вычисляют на карте оставшееся состояние.

8 февр<аля>. 8 ч. вечера

В штабе полное уныние. Казаки донесли, что 20-й корп<ус>, расстреляв все патроны, закопал орудия и знамена и сдался в плен. Ввиду этого Сиверс приказал приостановить наступление и отвести войска назад за форты. Мы были все ужасно удручены. Но Сиверс был прав, что тратить последние усилия было бы бесполезно, раз корпус уже не существует, тем более что они могут потом отрезать все пути сообщения и его главная задача их охранять не будет исполнена. Сели мы ужинать грустные. После ужина Сиверс продолжал отдавать приказания об отступлении. Около 10 [ч.] вечера в штаб прибыл поручик 113[-го] Старорусского полка, остатки которого пробрались к нам. По его словам, 20[-й] корп<ус> весь стоит в Баргнянах. Все время вел бой, взял в плен 1500 немцев, 11 оруд<ий> и все еще отбивается. Его полк и 114[-й] Новоторжский выступили вчера в 11 ч. вечера и по болотам шли западнее Пинска, и вышли к нам сегодня утром, не потеряв ни одного человека, никого не встретив, и лишь полевой караул их обстрелял, но и скрылся сейчас же. По дороге захватили орудие, перекололи всю прислугу. Сиверс снова воспрянул духом и стал диктовать приказание о наступлении, и пошел переговорить об этом с ген<сралом> Флугом⁷. Возвращается и говорит нам всем, что пленные, взятые Флугом, говорят, что 20[-й] корп<ус> сегодня сдался, а потому и нечего думать о наступлении. Тогда поручик заявил, что они тоже взяли пленных, которые им говорили, что Гродно занят. Этим все воспользовались и стали снова нападать на Сиверса, что нельзя бросать 20[-й] к<орпус>, он еще жив и ждет помощи. Даже поручик подтвердил, что они все время ждали помощи из крепости, слышали выстрелы. Сиверс опять ушел. Мы стали обсуждать положение. Ежели два полка, 113[-й] и 114[-й], пробрались, то, по всей вероятности, и остальные попытаются прорваться. Тем более что сегодняшнее наступление должно было отвлечь их внимание и тем ослабить их наблюдение за 20[-м] корп<усом>. Конечно, 20[-й] к<орпус> услышит канонаду и попытается выйти к Гродно. Надо сделать последнюю попытку. Это будет непротитительно и грешно — бросать начатое дело. Штаб кипел. Бедного поручика забрасывали вопросами о настроении, хотели ли сдаваться и т. д. Ничего подобного. У всех была надежда пробиться. Боялись за знамена и хотели их закопать, но это не сделали, и эти два полка прибыли со знаменами и всеми пулеметами. В 113 [-м полку] свыше 1000, а в 114[-м] около 500 человек. В 12 1/2 [ч.] я уехал из штаба. Устал спорить. Дай Бог, чтобы все же завтра пошли бы на выручку 20[-му] корп<усу>.

9 февраля

В 11 ч. я — в штабе. Были оба командира полков, 113[-го] и 114[-го], прорвавшиеся из 20[-го] корп<уса>. Они подтвердили, что мальчик, прибывший 7 февр<аля> вечером, был действительно послан из штаба 20[-го] к<орпуса> предупредить, что корпус жив и просит помощи. Оба полка, 113[-й] и 114[-й], были авангардом 20[-го] к<орпуса>, который следовал за ними, но, вероятно, в лесу потерял связь. Артилл<ерия> уже вышла к Липску, и, вероятно, там и весь корпус. Это известие окончательно убило Сиверса. Так близко — и вся атака приостановлена. Около 12 ч. с форта № 3 донесли, что со стороны Липска доносятся орудийные выстрелы. Значит, жив 20[-й] к<орпус>, дерется. Надо идти ему на помощь, на выручку. Сиверс решил завтра же перейти в наступление. Когда я с ним прощался, он мне сказал: «Каюсь, я поддался впечатлению о движении корпуса на [Ломжу], и это угроза правому флангу ген<срала> Флуга, которая могла отбросить все корпуса на Бобр, повлияла на меня. Не следовало бросать наступления. Я виноват».

Да, Сиверс очень виноват. Все ему это говорили. С пеной у рта ему доказывали, что надо продолжать наступление, что сведения о неприятеле преувеличены, что неприятель истомлен, понес массу потерь, надо его докончить, но Сиверс боялся. Он боялся потерять последние корпуса и тем обнажить правый фланг всего фронта. Он ни на что не мог решиться. Но сегодня были получены две телеграммы из штаба фронта. Первая — от Бонч-Бруевича. Он резко критикует полк<овника> Шокорова⁸ за вчерашнюю сводку, в которой вся операция описана без указания времени, без указ<аний> общей цели и причин общего отступления. Не Шокоров был виновен. Писал молодой подп<олковник>, который при мне же вчера составлял сводку. Он мне еще сегодня говорил, что писал нарочно так и Сиверс даже сказал ему: «Да вы меня губите этим!» — и велел исправить все это. <Под>полковник заметил ему, что иначе было трудно писать. Все описано так, как было. Вторая телеграмма была от ген<срала> Рузского, в очень строгих и сильных выражениях. Он ему указывает, что отступление, как сказано в сводке, было вызвано непроверенными сведениями о противнике, а на участке ген<срала> Баева⁹ отходом одного лишь полка. Что это

недопустимо, тем более что 20[-й] к<орпус> еще жив, и предписывает перейти в энергичное наступление во что бы то ни стало.

Это был удар молота. Сиверс так и слел.

Весь штаб обрадовался. У всех теплилась надежда, что корпус жив, и вчерашнее приостановление атаки так всех удручало, что мы прямо замерли. Мы верили. Один Сиверс хватался за каждое известие о гибели 20[-го] кор<пуса> как оправдание приостановки атаки. Но никто его не поддерживал. Все были против него. Теперь, получив предписание главнокомандующего произвести энергичное наступление, все воспрянули. Но, конечно, время потеряно. Сегодня я уезжаю в Седлец. Загнать наступление. Чем все это кончится. <...>

11 февраля

В 10 ч. прибыл в Барановичи. В 10 1/2 [ч.] меня принял Верховный, и я ему изложил всю нашу операцию у Гродно. Главное, к чему я вел, было правильно осветить деятельность Сиверса. Я должен тут заметить, что в Ставке сложилось о Сиверсе очень неблагоприятное впечатление под влиянием донесений. Конечно, по этим документам трудно судить о действиях человека, а в особенности когда дела идут плохо. Верховный выслушал меня очень внимательно. Когда я кончил, он сказал, что при отчислении кого бы то ни было сперва надо быть справедливым, а чтобы быть справедливым, нужно знать все подробности. Для этого следует назначить расследование. Я против этого горячо восстал. Всякое расследование имеет ту дурную сторону, что она захватывает и сферу влияния непосредственного начальника того лица, над которым производится расследование. В данном случае повторилось то же самое, что было с комиссией ген<ерал>-ад<ъютанта> Баранова, который при расследовании действий ген<ерала> Ренненкампа предъявил ген<ералу> Рузскому четыре пункта обвинения. Это очень подействовало на главнокомандующего. Кроме того, я заметил Верховному, что расследование оправдывается, ежели есть сомнение в действиях данного лица. В данном случае с Сиверсом все его действия налицо. Ничего скрытого нет. Его единственная вина та, что 8 февр<аля> он не оценил положение. Он в этом кается, вполне сознавая, что поддался впечатлению минуты, и, что он во всем виноват.

Верховный на это возразил, что ежели он не так виноват, то незачем его отчислять. Я сказал, что его не хотели отчислять, а он сам просит его уволить, отчасти по болезни, отчасти и потому, что чувствует, что вера к нему утеряна. Мотивы очень уважительные и свидетельствуют о высокой его честности и добропорядочности. Ввиду этого, по-моему, его следует устроить с честью и не позорить его после 43-летней службы. В таком случае, решил Верховный, пусть ген<ерал> Рузский произведет сам расследование и донесет мне с мотивированным своим мнением, почему и как следует его устроить. Поблагодарив меня, он меня отпустил.

От Верховного я пошел к Ю. Н. Данилову. Ему я тоже изложил всю картину операции у Гродно и т. д. Некоторые детали его заинтересовали, с некоторыми распоряжениями ген<ерала> Сиверса он не соглашался, но, в общем, должен был сознаться, что рисовал себе всю картину совершенно иначе. Он тоже признал, что Сиверс плохо оценил общее положение, но что ничего позорного во всем этом не было.

После завтрака я был у нач<альника> шт<аба> Н. Н. Янушкевича. Ему я опять повторил все то же самое и тоже убедил не губить Сиверса, а дать ему выйти с честью. Затем я коснулся большого вопроса, который волнует всю армию вот уже более шести месяцев, а именно про черного Данилова. Я уже довольно много писал в этой книжке про него, и из этого ясно, почему этот вопрос меня так интересовал. Я сказал Янушкевичу, что судить о Дан<илове> я точно не могу, но знаю и чувствую, что он давит на все своей тяжелой рукой, и это не всегда благоприятно отражается на деле. На это вот что мне сказал Янушкевич:

«Вы, конечно, знаете, при каких исключительных обстоятельствах я вступил в эту должность в 1914 [году]. Ген<ерал> Данилов уже занимал эту должность свыше 12 лет. Он старше меня и по выпуску в офицеры и из академии. Я только вступил в эту должность, когда вспыхнула война. Совершенно понятно, что я не мог в такой короткий срок ознакомиться со всем материалом штаба, да и вся моя предшествовавшая деятельность не была подготовкой к этому посту, да я и не мечтал о ней, отказываясь. Но Его Величеству благоугодно было сказать, что он лучше меня знает, могу ли я занять эту должность. При этих условиях я и вступил в исполнение своих обязанностей. До войны я лишь успел ознакомиться на месте с Виленским округом, вот и все, что я мог осмотреть. Когда война вспыхнула, Данилов был на Кавказе, и пользоваться этим случаем, чтоб от него избавиться, я считал нечестным, да и, кроме того, он был вполне в курсе дела, и менять его в такую минуту я считал и вредным, и

опасным. Конечно, если я был бы год на своем посту и успел бы оглядеться, то, конечно, предложил бы на этот пост другое лицо. Что мои отношения с ним не могли быть нормальными, то это вполне естественно, но [я] решил для пользы дела таить в себе свои чувства и терпеть иногда очень тяжелые минуты. Надо вам сказать, что Данилов считает всех без исключения идиотами. Он крайне честолюбив, властолюбив и не терпит чужого мнения. Мне все это очень нелегко, и даже на днях я не выдержал и сказал ему в присутствии его же подчиненных, стукнув при этом кулаком по столу, что раз я приказываю, то это должно быть исполнено. Он что-то хотел возразить. Я на него накричал. После этого с ним сделалась истерика». <...>

Затем я его спросил: «Какого мнения о Данилове военный министр?»

«Не особенного»,— ответил Янушкевич.

Я обещал Янушкевичу сделать что могу в этом направлении, ибо, по-моему, пребывание Данилова в Ставке слишком вредно отзывается на всем.

«Да, тяжело с ним иметь дело,— вздохнув, сказал Янушкевич,— тяжелый человек. Для пользы дела наши отношения должны были бы быть самыми лучшими, и только при этом условии дела бы шли вполне нормально. А при существующих условиях добра мало. Нехорошо, ежели такие сцены будут повторяться, как на днях, но они неизбежны, ибо терпению есть конец».

На этом мы простились. Он со слезами на глазах кончил разговор, и в рукопожатии чувствовалось искреннее волнение и много пережитого страдания.

Мне Янушкевича очень жаль. Это глубоко честный, порядочный человек. Ему трудно и больно иметь дело с таким черствым человеком, как Данилов, и из чувства деликатности не хочет его спихнуть, что он должен был бы сделать для пользы дела.

Я ушел, и через полчаса у меня был в вагоне воен<ный> мин<истр> Вл<адимир> А<лександрович> Сухомлинов. Вот наш разговор. <...>

Я его прямо спросил, какого он мнения о Данилове (черном).

— Я вам отвечу, как я ответил Верховному, когда он составлял свой штаб, а именно: не берите его к себе.

Сухомлинов согласился со мною, что его следует убрать куда-либо, но не знает, как это сделать. Я ему предложил вот что: назначить Данилова командующим X арм<ией> вместо Сиверса. На это Сухомлинов мне ответил:

— Вы читаете мои мысли! Я именно об этом думал.

— В таком случае,— сказал я,— поговорите с Верх<овным>.

— А, вы думаете, это можно?

— И очень,— сказал я.— Вы сейчас идете к нему и скажите прямо. Доброе дело сделаете.

— Ну хорошо, так и быть.

Потом мы перешли на Ольденбургского¹⁰. «Вот ужас,— сказал Сухомлинов.— Ведь вы не знаете, но, когда мне Государь сказал раз на докладе, что он желает объединить всю санитарную часть в одних руках и выбрали для этой должности пр<инца> Ольденбургского, я прямо сказал: «Ваше Величество, что вы сделали!» «А что?» «Да нам же он все перепутает до такой степени, что потом больше не распутать будет». «Вы ошибаетесь, Владимир Александрович, он справится с этим». «Ваше Величество, я был бы рад, ежели это я ошибусь, но боюсь, что в данном случае вы ошибаетесь». Недавно на докладе по поводу невозможных распоряжений пр<инца> Ольденбургского Государь мне сказал: «Вы правы были, я ошибся. Но что же с ним делать?» «Ваше Вели<ество>, дайте ему рескрипт, поблагодарите за все сделанное и отпустите его с Богом, пока еще не поздно».

— Вы не можете себе представить, что он только не выкидывает! Его помощники завели каучуковый штемпель с его подписью и прикладывают ко всем документам. Я показал это Государю и предупредил, что таким способом они будут выводить все расходы и без того истратили уйму денег бесконтрольно. Ведь когда потребуют отчет, может выйти скандал. Уж довольно он запутал Народный дом. Ежели копнуть там, то просто один ужас что такое.

Недавно он собрал у себя министров и заявил, что ему дана Государем власть, да никто не желает исполнять его распоряжения, и вот военное министерство мне не помогает. Потребовал к себе гл<авного> вое<нного> сан<итарного> инспектора, он ко мне не явился. «Ваше высочество,— возразил Сухомлинов,— гл<авный> воен<ный> санит<арный> инспектор — мой подчиненный, и без моего разрешения он не имел права к вам явиться. Вы должны были обратиться ко мне. Вам должно было быть известно, что санитар<ный> инсп<ектор> командирован по высочайшему повелению в действующую армию, а потому в назначенный [день] быть у вас не мог. Кроме того, я не могу допустить вмешательства в мое ведомство. Я несу боль-

шую ответственность за свое ведомство, и постороннее вмешательство пользы не принесет». Министры мне потом аплодировали, но ни у кого не хватило смелости ему ответить, как я. Они только кланяются, расшаркиваются и терпят все, что он делает. Пришлось ведь отменить его приказ, в котором он приостановил действие закона о воинской повинности. Я доложил об этом Государю, и послал ему этот приказ, и, только получив его назад с пометкой, велел отпечатать. Когда в Совете Мин<истров> возник вопрос о курортах, то я предложил им назначить пр<инца> Ольденбургского на этот пост. Они все возопили, что тогда все погибнет».

Относительно Ренненкампа.

Сухомлинов: «У него масса старых грехов и очень грязных. Еще покойный М. И. Драгомиров¹¹ просил убрать его из Киева, когда он командовал там полком, из-за грязных денежных дел. Я предупреждал Государя и тогда, когда его назначали ген<ерал>-ад<ъютантом>, и теперь, при назначении коман<дующим> армией, что это невозможно. Но Государь сказал мне, что я ошибаюсь. Я не мог ошибиться. Ведь в Гл<авном> штабе целый толстый том всех его деяний. Там уже совершенно достаточно, чтобы лишить его почетного звания ген<ерал>-ад<ъютанта>. Вот ген<ерал> Баранов теперь расследует это дело. Это уже совершенно излишне. Но, конечно, его под суд не следует отдавать. Это лишь подымет всю грязь и муть, и скандал на всю Россию. Этого не следует допускать. Его надо просто уволить в отставку и даже можно сохранить пенсию, но не суду давать разбирать это дело».

Без 1/4 5 [ч.] он ушел к Верховному главнокомандующему, а я отбыл обратно в Седлец.

12 февраля

Вернувшись из Барановичей, я был у главнокомандующего. Я ему доложил о результатах моей поездки и как Верховный желает, чтобы поступили с Сиверсом. Перейдя затем от этого вопроса к другим, он коснулся штаба Ставки. Он меня спросил, говорили ли они мне об общем плане войны или нет. Я ответил, что мне ничего не говорили. «Но ведь у них, вероятно, вовсе нет общего плана,— возразил Рузский.— Их директивы носят характер лишь общих советов, и то все исходит за подписью нач<альника> шт<аба>, а не самого Верх<овного>». <...>

Потом я ему рассказал мой разговор в Ставке с французским военным агентом ген<ералом> Лагишем. Во Франции тоже был большой недостаток в орудийных патронах. Жоффр¹² потребовал производства до 100 т<ыс.> в сутки. Техники отказались, но он настоял на своем. Тогда вот что было придумано во Франции. Все государство разделили на инспекции, во главе каждой инспекции поставили специалиста, который производство частей снаряда распределил между всеми цехами. Часовщикам, слесарям, кузнецам и т. д.— каждому производству отдельных частей, кто что может, и достигли блестящих результатов. Кроме того, во Франции почти совсем отказались от шрапнели. На партию в 5600 снарядов делают всего 400 шр<апнелей>. Остальное все — гранаты. Это было вызвано тем, что граната со специальной трубкой, ударяясь о землю, дает больший район поражения, нежели шрапнель. Гранаты снаряжаются у них новым взрываемым веществом [Achkeideret], [вызывающим] огонь. Оно легко пр<иг>-отовляется и дробит снаряд на мелкие кусочки. Расчет снарядов на одно орудие и у них был в 1000 на ор<удие>, хотя ген<ерал> Ланглуа¹³, еще в 1889 году, когда он ввел новую теорию стрельбы скорострельной пушки, которая тогда еще не существовала, требовал до 5000. Под влиянием теории Ланглуа техники приступили к проектированию скорострельной пушки, которая лишь в 1896 году была готова. Гений Ланглуа предвидел это орудие до его рождения, а затем продолжал развивать свою теорию, которая и легла в основу теории стрельбы полевой и у нас.

По поводу нормы на орудие в 1000 патр<онов> воен<ный> мин<истр> Сухомлинов говорил мне, что даже его попытки довести эту норму до 1500 вызвали со стороны мин<истра> ф<инансов> Коковцова¹⁴ бурный отпор. Он даже докладывал Государю, что воен<ный> м<инистр> разоряет страну и что его надо убрать. Не поддержало его и Гл<авное> Арт<иллерийское> Упр<авление>, которое, ссылаясь на Японскую войну, считало — и 500 довольно. Что прикажете при таких условиях делать? «Ну теперь,— сказал Сухомлинов,— я раздал всем заказы, и с февраля дело пойдет лучше». <...>

22 февраля

Сегодня, когда я был в оперативном отдел<ении>, вошел ген<ерал>-квар<тир-мастер> Бонч-Бруевич. Он был крайне недоволен Плеве¹⁵. «Я прямо начинаю ра-

зочаровываться в нем», — сказал Бонч-Бруевич». 15 феврал^я было назначено наступление его 12-й армии, а он вот только что телеграфирует, что просит отложить наступление на 26 феврал^я, ссылаясь на то, что ему необходимо сосредоточить свои силы. К тому же, как на грех, генерал Гулевич разговаривал с ним по аппарату [и] соткровенничал, сказав, что, может быть, ему дадут еще 15-й корпус. Теперь он ждет подхода этого корпуса. Прежде мы в этих случаях общий резерв называли резервом главкома^окомандующего, и тогда на него не было посягательств, а теперь он уже, конечно, будет ждать подхода 15-го корпуса, забывая, что каждый день промедления неприятель пользуется не только для укрепления своих позиций, но и может перегруппировать свои силы, тем более что они знают все, что мы делаем, благодаря хорошему шпионажу и нашей халатности. Вообразите, что я открыл. В некоторых армиях военный телеграф был перегружен работой, и чиновники, за которыми не было наблюдения, для ускорения передачи телеграмм передавали их по правительственному проводу, которые все сходятся в Варшаве на главный почтамт. Здесь их передавали дальше, но так как на юзе все отпечатывается, то, естественно, копии всех телеграмм оставались на телеграфе, и учет их не вели. Узнав об этом, я послал жандармского офицера проверить эти сведения, и оказалось, что по правительственному проводу передавали секретнейшие телеграммы и копии с них могли легко попасть в руки шпионам. В особенности было плохо у Плева в 7-й арм^{ии}. <...>

16 марта

Сегодня по случаю возвращения с войны я был у Государя, и в разговоре по поводу здоровья генерал-адъютанта Рузского он мне сказал, что в последний проезд через Ставку Никололай Николоевич показал ему письмо Рузского, в котором он просит его вовсе уволить от занимаемой должности по болезни. «Я бы не поверил этому, — сказал Государь, — ежели сам не видел бы его письмо. Николаша — в отчаянии, не знает, кем его заменить. Он думает, что Алексеев будет подходящим (начальником штаба Юго-Западного фронта), но он может быть хорошим начальником штаба, но главнокомандующим — трудно сказать. Это очень неприятно, но на всякий случай я его завтра или послезавтра назначу членом Государственного совета или Военного совета, точно я не помню, что сказал Государь». <...>

1 апреля

В 4 1/2 ч. дня я вернулся в штаб фронта и зашел к Гулевичу. Он мне рассказал про уход генерал-адъютанта Рузского и как он был обижен. Оказывается, Рузский написал Верховному главнокомандующему телеграмму или письмо (точно не запомнил) и просил отпуск недели на три отдохнуть. В ответ он получил телеграмму, где призывался Всемогуший подкрепить его силы, и заканчивалось просто: «Генералу Алексееву приказано вступить в командование фронтом». Генерал Рузский сказал Гулевичу, прочтя эту телеграмму: «Прогнали, что же я буду теперь делать?»

Проводы носили очень сердечный характер. Весь штаб действительно его сожалел. Он был очень симпатичен, ровен, ласков и строг. Кроме того, все отдают ему справедливость, что он много сделал на фронте, где вообще обстановка трудная и неблагоприятная.

Обижен за Рузского и штаб. Все находили, что могли бы деликатнее с ним обойтись после всего, что он сделал. <...>

18 апреля

Сегодня в 9 ч. утра на станцию Седлец прибыл Верховный главнокомандующий для совещания с генералом Алексеевым. Я пошел на вокзал и разговаривал с лицами свиты. Скоро вышел из вагона Верховный главнокомандующий и поздравил меня. «А мне пришлось сделаться юристом, — сказал он мне по поводу Мясоедова¹⁶. — Я сразу хотел его предать полемому суду, но мне доложили, что это нельзя, что полемому суду предадут лишь в случаях [en] flagrant délit*, когда человек пойман на месте преступления, а Мясоедов арестован лишь в подозрении на шпионство. Ввиду этого полемому суду его нельзя предавать. «Хорошо», — сказал я. Потом мне доложили, что он подлежит суду гражданскому, так как с ним обвиняются лица гражданские. «Хорошо», — сказал я. Но положение было трудное. Надо было

* на месте преступления (франц.).

кончить с Мясоедовым и скорее, а тут возникают все тормоза. Я стал думать и потом предложил своим юристам такой вопрос. Вы утверждаете, что полевому суду можно предать лишь лицо, схваченное в момент совершения преступления: так! Будет ли теперь такой момент в следственном производстве, когда возникшее подозрение в преступлении станет фактом установленным. Да, будет такой момент. Значит, утверждал я, в этот момент он будет арестован уже не в подозрении, а в момент самого факта совершения преступления. Да! Значит, когда следственное производство будет закончено и обвинение в шпионстве доказано, его можно предать суду. Так вот, [я приказал] донести мне немедленно, когда следствие установит факт шпионства. Как только мне донесли, что факт шпионства установлен, я отдал распоряжение о предании его полевому суду. Это совпало со страстной неделей. По установленным обычаям, в эти дни приговоры не приводятся в исполнение, пришлось его дело вести скорее и кончить без колебаний. Я говорил потом с министром юстиции, и он вполне согласился с моими доводами. Теперь вот что скажи мне: какими судьбами Сандро Лейхтенбергский¹⁷ попал в тяжелую гв<ардейскую> артиллерию?» Я ему передал, что знал по этому поводу. На это д<ядя> Николаша мне ответил: «Я не допускаю, чтоб назначения лиц Семейства шли бы помимо меня. Я об этом предупредил обоих главнокомандующих».

Потом вопрос коснулся ген<ерала> Алексеева.

«Вот это то, что нужно, идеал, который нужен был, спокойный, разумный и т. д.».

Я спросил еще д<ядю> Николашу, как было путешествие Государя во Львов и Перемышль.

Николаша поднял плечи и сделал лицо, которое у него всегда значит «высший идеал, лучшего нельзя». И затем прибавил:

«Все было для всех неожиданно. Никто до последней минуты не знал. Никаких приготовлений. Это всегда все портит. Генерал-губ<ернатор> гр<аф> Бобринский¹⁸ был у меня за несколько дней, и я ему ничего не сказал, а за сутки телеграфировал, что Государь будет у него. Все путешествие прошло очень гладко. Государь остался доволен всем. Все вышло так удачно. В предпоследней [своей] приезд Государь хотел осмотреть Кавказский корпус. Но я его отговорил. Он согласился, хотя и был очень недоволен. Но в то место было тогда трудно ехать. Его поезда задержали бы перевозку войск, и, кроме того, корпус мог ежеминутно уйти в другое место, что и произошло на следующий день. Тогда я доложил Государю, что давно имею мечту устроить [ему] поездку в Галицию. Но все, конечно, зависит от обстоятельств. Теперь, в этот приезд, все было спокойно там, и я решил ему это предложить. Так мы и поехали».*

<...> В дальнейшем были перехвачены все его письма и телеграммы, и скоро целая группа лиц оказалась замешанной в этом деле. И в ночь с 19 на 20 февр<аля> состоялся арест. Между арестованными оказались две дамы, проживающие по Суворовскому проспекту, 25. Они посещались генералами высших сфер, но, конечно, прямой связи у них с делом нет. Одна из этих дам даже бывала часто у м-м Сухомлиновой. Конечно, все это бросило тень на Сухомлинова, который несколько лет тому назад горячо защищал Мясоедова от нападок Гучкова¹⁹ с трибуны Гос<ударственной> Думы. Он, говорят, подавал в отставку, но она не была принята Государем.

Уже в тюрьме Мясоедов написал Сухомлинову письмо, полное упреков, что он теперь его не защищает и напоминает ему, как в былое время он ему доверял такие вещи, которые не мог доверить своим ближайшим помощникам. Он напоминает, как он ему передал военный договор с Францией в незапечатанном конверте, не доверяя фельдъегерям, и прибавляет при этом, что мог бы тогда воспользоваться этим случаем и снять фотографическую копию с этого договора, но этого не сделал, ценя его доверие.

На суде он себя держал довольно развязно, вначале, по-видимому, не предполагая, что дело идет к трагической для него развязке. Никаких объяснений он по делу не дал. Отвергал все обвинения, и лишь при упоминании фамилии Гольдмана, еврея в Копенгагене, через которого он вел всю переписку, он волновался, путался, а на более определенные вопросы говорил: «Можно ли верить жидовским рассказам?»

Суд длился 14 часов. После прочтения приговора он в камере пытался покончить с собой проволокой от пенсне. Когда его выводили на казнь, через два часа после приговора, он сильно упирался. В 2 1/2 ночи приговор был приведен в исполне-

* Далее две страницы рукописи вырваны и речь идет уже о деле Мясоедова.

ние. Теперь предстоит суд над остальными соучастниками этого прискорбного дела. Перед судом предстанет человек 15 всего.

К сожалению, ни следствием, ни судом новых фактов, освещающих это дело, установлено не было. Даже факт сообщения сведений неприятелю остался лишь в гипотезе, правда, почти несомненной, но лишь гипотезой. Она основана на косвенных уликах.

Теперь вообще обратили внимание на контрразведку, и, весьма вероятно, работа немецких шпионов у нас будет сильно стеснена, доведена до минимума. <...>

24 апреля

В периоды больших напряжений, подобных тем, которые мы переживаем теперь, всегда наступает тот момент, когда у некоторых лиц нервы не выдерживают длительного напряжения. Наступает временно упадок, во время которого все кажется в черном цвете. Такие колебания за эту войну я видел часто. Особенно резко это заметно в Петрограде. Но и здесь это случается. Не в том размере, конечно, но все же есть. В данный момент именно заметен у многих упадок духа. Как это обыкновенно случается, начинают искать жертв для своих выпадов. Это очень удобно, не требует доказательств и производит на глупых и малодушных всегда огромное впечатление, как будто и в самом деле тут есть истина и что эта истина и есть причина тех неудач, которые всегда бывают на войне. Из нескольких фактов я отмечу следующий. Гр<аф> Ад<ам> Замойский, состоящий ныне ординарцем у Верховного главнокомандующего, известен был тем, что ругательски ругал черного Данилова. Теперь же вдруг он стал его превозносить. Напившись однажды в охотничьем клубе, он поведал, почему стал его хвалить. По мнению гр<афа> Ад<ама> Замойского, после войны, безусловно, будет революция, которая отберет все земли у помещиков. Во главе этого аграрного движения станет Данилов-черный, а потому и надо быть с ним в хороших отношениях: авось он земли не отберет.

Мысли, безусловно, дикие. Но я прибавлю: и вредные. Ведь, естественно, раз лицо, близко стоящее к штабу Верховного, так ответственно повествует о будущем и распределяет роли в аграрном движении так щедро, у многих невольно зародится мысль, что, а ведь, может быть, это и правда. И пойдут ходить сплетни, толки, пересуды. Вред нанесен. Дух уныния, сомнения посеян. А в эти времена нет хуже этой внутренней критики, всегда так мало обоснованной, но бросающей тень на всех. Насколько корни таких сплетен пускаются глубоко, видно из того, что лицо, передавшее мне о вышеизложенном факте, добавило, что уже давно все говорят, что Данилов-черный — главный революционер.

— Почему,— спросил я,— это знают?

— Да помилуйте, ведь всем известно, что он держится принципа «чем хуже, тем лучше», а это лозунг всякого революционера.

— Да где же,— заинтересовался я,— этот принцип был проведен Даниловым-черным в жизнь, в чем это проявилось?

— Да очень просто,— ответили мне,— он систематически губит гвардию, губит единственный оплот царя.

Так вот где таится корень всего. Молва решила, что Данилов-черный систематически губит гвардию, и рядом весьма нелогических выкладок пришла к выводу, что он ясный и определенный революционер. Ох! Уж эти психологи и логики. Навхватались слов и не умеют их сопоставить. Играют словами рассудку вопреки, играют опасным оружием.

Легенда о том, как Данилов-черный систематически губит гвардию, имеет свою историю, и весьма к тому интересную. Дело в том, что гвардия понесла большие потери без тех успехов, которые оправдали бы эти потери. Причин к тому в действительности было много. Главным образом это происходило от неправильно поставленной задачи и не всегда сообразным исполнением. Ответственность брать на себя никто вообще не желает. Всякий считает себя правым, а другого — виновным. Но виновным почти всегда оказывается тот, кто несимпатичен и который не может оправдаться. Вот и выбрали именно Данилова-черного, который несимпатичен и прямого отношения к делу не имеет. Так теперь и заведено. Во всем виноват Данилов-черный. Не правда ли, как это удобно и просто? Но бросим эти сплетни. Привел их лишь для характеристики «атмосферы», как обыкновенно называют ту житейскую грязь, в которой многие любят купаться. Но ежели у досужих лиц есть свое уныние и печаль, то и у даниловых тоже есть свое уныние. Но это уже серьезное, имеющее, несомненно, свое основание, изучение которого представляет исторический интерес. <...>

29 апреля

В Царском Селе я представлялся Государю по случаю приезда. Разговор коснулся воен<ного> мин<истра> Сухомлинова и в связи с этим о Мясоедове. Государь сказал, что Сухомлинов теперь совсем оправился после всех этих неприятностей. По поводу Мясоедова Сухомлинов напомнил за одним докладом всю старую историю с Мясоедовым, как покойный П. А. Столыпин²⁰ сам ему рекомендовал Мясоедова для контрразведки, затем все нападки Гучкова в Думе по этому вопросу. В заключение Государь сказал, что он глубоко верит Сухомлинову, что это, безусловно, честный и порядочный человек. На это я заметил Государю, что меня это радует, так как я тоже такого же мнения, но что вообще против Сухомлинова ведется страшная кабала. Все его обвиняют, и это крайне несправедливо, так как он все же много сделал для армии. Я спросил Государя, слышал ли он про эту кабалу. «Кому ты это говоришь, знаю и слишком хорошо, но в обиду его не дам и скорее сам восстану за него, но его не тронут. Завистников у него очень много. Хотели его вмешать в дело Мясоедова, но это им не удастся».

Этот маленький разговор очень характерен. Многие говорили, что сам Государь им недоволен и что его скоро сменят, но из этого [разговора] видно, что это вовсе не так. Напротив, Государь за него. Странно, что «великие» кн<язья> Александр и Сергей Мих<айловичи>²¹, не стесняясь, называют его открыто преступником. Почему это происходит, я решительно не знаю. Не кроется ли причина в том, что эта война показала, как плохо наша артиллерия подготовлена в материальном отношении? Не желая, вероятно, чтобы его обвинили в этом, он²² открыто обвиняет Сухомлинова. Но это совершенно несправедливо. Я знаю документально, что Сухомлинов неоднократно обращал внимание на эти вопросы, но из-за личной неприязни все его благие начинания были парализованы.

Вообще после войны тут многое что откроется, скорее в пользу Сухомлинова и не в пользу тех, кто его так открыто обвиняет.

Последние события на театре военных действий развиваются при весьма тяжелых для нас обстоятельствах. Отступление всего Южного фронта от важных линий, осада Перемышля — все это весьма грустно. Конечно, решающего значения это не имеет, но все же с такими жертвами и усилиями мы достигли Карпат и Дунайца, а теперь стоим опять на Сане, как осенью. Все пошло насмарку. Слабы наши стратеги. Но нельзя никого винить сейчас. Рано да и трудно учесть все, что происходит.

6 мая

События, протекающие теперь в Италии, несомненно, указывают, что Италия выступит за нас.

Министерство Саландры²³, подавшее в отставку, осталось у власти. Король отставки не принял, и вся Италия приветствовала это бурными сочувственными демонстрациями и оскорблением германского посла. Король в походной форме уже разъезжал по улицам Рима. Не сегодня-завтра мы, вероятно, узнаем о выступлении Италии, а за ней, вероятно, и Румынии, Болгарии и Греции. Это будет крупным поворотом для всей войны.<...>

18 мая

К нам в штаб приехал Ф. Ф. Палицын²⁴. Его последовательное пребывание нач<альником> шт<аба> при генерал-инспекторе кавалерии, затем в комиссии госуд<арственной> обороны и, наконец, нач<альником> Ген<ерального> шт<аба> достаточно его зарекомендовало как выдающегося в военном деле человека. Сегодня он был у меня и мы долго с ним разговаривали. Человек очень интересный во всех отношениях. Очень образован, много знает, много видел. С самого начала войны он внимательно следил издали за ходом событий и, как мне говорили, часто писал Верховному главнокомандующему свое мнение по разным вопросам текущей войны. Его мнения по поводу некоторых вопросов очень интересны, и я постараюсь их изложить в некотором порядке.

Ф. Ф. был крайне недоволен, что Ник<олаю> Ник<олаевичу> дали титул «Верховного».

«Это не годится, — говорил Ф. Ф., — нельзя из короны Государя вырывать перья и раздавать их направо и налево. Верховный главно<командующий>, верховный эвакуационный, верховный совет — все верховные, один Государь — ничего. Подождите, это еще даст свои плоды. Один Государь — «верховный», никто не может быть им, кроме него. И к чему это ведет? А вот к чему. Он политикой занимается²⁵, к нему министры ездят, я бы их не принимал, а армией не командует. Я ему говорил

это, говорил, что приказчикам он все раздал и сам больше не хозяин своего дела. Это нельзя, нельзя заниматься политикой и войной. Это несовместимо, и добра не будет. Кроме того, у него и органов соответствующих нет. Мольтке²⁶ писал, и это останется всегда истиной, что стратегия сама по себе не сложна. Ее формулы просты и немногочисленны. Но нет стратегии без снабжения. Армия должна жить, питаться, ее надо пополнять, снабжать, она должна все иметь — тогда и даст все. Но, чтобы требовать от армии всего, надо и дать ей все. И тот, кто требует, тот должен позаботиться дать ей все. Теперь же Верховный ни снабжением, ни тылом не ведает. Не в его руках все эти нити. Он требует наступления, ему говорят — не готово. Это совершенно недопустимо в технике военного дела. Пока он не будет полным хозяином во всем — он ровно ничего. Он и требовать не может, раз не сам дает. Будь все снабжение в его руках, тогда бы он знал нужды армии, чувствовал бы сильнее недостаток в патронах и винтовках.

Все положение о полевом управлении войск в военное время не выдерживает ни малейшей критики. Было оно составлено наспех. Даже Государь утвердил это положение в черновике со всеми изменениями. С 1908 года я работал над этим положением, но потом забыли и лишь 15 июля вспомнили и 16 июля повезли Государю на утверждение. В один день такую работу сделать, конечно, нельзя. Но главный дефект — это те принципы, которые были поставлены в основу этого положения. Исходной точкой служило то положение, что Государь будет Верховным [главнокомандующим]. Я имел случай докладывать Государю мое мнение по этому вопросу. Государь лично желал всегда быть Верховным главнокомандующим. Я высказывался против этого. Первый период войны при нашей 18-дневной мобилизации и гораздо меньшей у противников давал им большое над нами преимущество. Мы должны были быть готовыми в первое время к неудачам, и Государю брать на себя сразу ответственность за все — невысказанно. В дальнейшем я предполагал, что Государь придет в армию и тогда встанет во главе войск. Теперь Государь не принял на себя командование армией, и все положение, приуроченное к нему, перешло к «великому» князю Николаю Николаевичу. Но это ненормальное положение. Николай Николаевич воспринял с этим и весь государственный механизм — это лишь отягчает его положение и умаляет престиж Государя. Я высказывал ему мое мнение. Говорил ему, что он ровно ничего не может сделать. Надо мной смеялись, говорили: помилуйте, да он все может. Нет, он не может. Он может меня возвеличить, повесить, но армией командовать при такой организации не может. Он, конечно, это чувствует, но делает героическое усилие, чтобы скрыть то, что думает и чувствует. Раз он мне только сказал: «Да что я могу, ведь кругом меня люди, которых я не знаю». Ему очень тяжело, но выпутаться из создавшегося положения он не имеет возможности и безропотно терпит все эти невзгоды. А ответственность его огромна. Но трудно ему еще и потому, что командный состав вовсе не подготовлен или подготовлен весьма слабо. Нет ни единства точек зрения, ни единства принципов, приемов, действий и мышления. Каждый действует, как ему на душу Господь Бог положит. И наши офицеры Генерального штаба вовсе не подготовлены для своей службы. Они больше обращают внимание на оперативную сторону, на стратегию, чертят карты. Поверьте мне, вся эта стратегия — пустяки в сравнении с тем, чем они должны были бы больше всего заниматься. А это именно тылы, снабжение, питание армии. Вот где главное на войне. Любой Хлестаков вам разведаст какую угодно стратегию, а вот как обеспечить эту операцию, как удовлетворить все разнообразные потребности армии, это не всякий знает да и сможет.

Ренненкамф мне оправдывался по поводу Лодзинской операции²⁷. Я ему говорю, что этой операции я не знаю, но вот 21 августа прошлого года я бы вас отчислил в 12 ч. времени. «А почему?» — он меня удивленно спросил. «Да очень просто. Вы стояли у Инстербурга и не обеспечили свой тыл от возможных случайностей, а это и повело к вашему отступлению». Часто думают, что тылы — это второстепенные вещи. Это глубокая ошибка. Плохо организованный тыл часто ведет к катастрофам. При движении вперед это еще не так заметно, но при отступательных движениях плохой тыл делается паническим. Это и было у Ренненкамфа. Да и вся эта операция в Восточной Пруссии была ошибкой. Я писал не раз Николаю Николаевичу об этом. Ведь надо знать эту часть Германии, ее стратегическую подготовку. Это ловушка, и я был прав. Там погиб сперва Самсонов, затем Ренненкамф и, наконец, Сиверс. Зачем были эти печальные опыты, когда давно всем известно, что туда нельзя ходить. «Ник<олай> Ник<олаевич> мне сам говорил, что он был против этого плана. «Да как же вы допустили, — спросил я его, — раз вы были против? Ведь это преступление!» Да и все первоначальное развертывание армии было ошибочно сделано. Ведь самое важное направление — это южное, у Австрии. Там должно развер-

нутья все, там ключ кампании. Когда на р. Бзуре в январе немцы долбили Варшавскую позицию, я писал и Рузскому, и Алексееву, что не надо беспокоиться за это направление. Эта демонстрация имеет лишь целью закопать наши войска в траншеи, а главное — они пойдут на фланги, и самый опасный — это южный, на который и надо обратить все внимание. Теперь уже ясно видно, какие усилия они делают у Перемышля.

Как часто неблагоприятно складываются события, а все в конце концов образуется. Это Господь Всевышний нас спасает. Он так хочет. Ведь подумайте, что бы было, ежели бы австрийцы сразу же бросили свои войска на нас. Мы бы не успели сосредоточиться, и они могли бы по частям разбить нас. Но они долго не верили, что Россия объявит войну. Они обратили все свое внимание на Сербию в полной уверенности, что мы не двинемся. Наша мобилизация как громом их поразила. Но было уже поздно для них. Они связались с Сербией. И немцы тоже упустили первые дни. В общем, мы выгадали 12 дней. Наш противник сделал колоссальную ошибку в этом смысле, а нам дал сразу такое преимущество, которое ничем не исчислить. Они были так ослеплены своей силой, что ни во что не ставили нашу армию и полагали, что с ней можно скоро справиться. Забыли они одно — что Россия велика. Можно армию скорее разбить, чем раздавить Россию. Вот чего они не знали!<...>

Кроме того, Ф. Ф. Палицын высказал довольно интересную мысль, а именно: что слава Богу, что война началась в 1914 году, а не в 1915-м. Естественно, что меня заинтересовало, почему это, и вот что он мне поведал:

«В 1915 году должна была начаться так называемая большая программа. Эта программа вконец бы расстроила армию. Предполагаемые в ней развертывания потребовали бы около 16 т<ыс>. офицеров. Да откуда было бы их взять сразу? Получилось бы много новых формирований при отсутствии командного состава. Первый проект был проще и, мне кажется, лучше. Надо было сперва довести роты до 250—280 и даже 300 человек. Получился бы большой кадр, что в военное время дало [бы] около 36 новых корпусов. Кроме того, надо было увеличить артиллерию — довести ее до нормы наших противников. К счастью, все это не было сделано, а то было бы очень тяжело. Да, это все вопросы очень сложные, требуют постоянной над ними работы. И только тогда можно быть хоть немного в курсе дела. Военное дело требует большой подготовки, много работы. Вот в Германии, там Мольтке положил твердую основу всем военным вопросам. Там каждый в своей сфере специалист, все говорят на одном языке. У нас все говорят на разных языках. Друг друга не понимают. Ну, я заболтался». <...>

18 мая

Сегодня ночью на Южном фронте начнется общее наступление. Положение там за последнее время упрочилось, но надо оттеснить неприятеля от Сана. Наступление поведут все армии одновременно. Завтра напишу, как все будет. Теперь Италия выступила с нами. Общій восторг, перемешанный с уважением к Италии, переполнил все сердца. Не столько здесь учитывается материальная сторона дела, сколько именно нравственная, — присоединение еще одной нации к общему делу. Насколько Италия возвысилась в глазах всех, настолько пал престиж Болгарии. Это единственная славянская страна, которая не присоединилась к общему делу. Трудно будет Болгарии в будущем надеяться снова занять место между странами, борющимися против германизма. Еще немного времени, и она своим молчанием покроет себя позорным клеймом изменника славянскому делу. Этого ей не простят — не только мы, славяне, но и остальные союзники. Борьба с Германией стала общим делом, даже общей обязанностью всякого уважающего себя. Очередь за Румынией и Грецией. Некоторое движение в Румынии было заметно после выступления Италии, но, вероятно, задержка в выступлении Румынии связана с Болгарией. Пока эти страны не сговорятся, им отдельно друг от друга выступить трудно.

Как наша дипломатия виновна в балканском вопросе! Не сделай она в 1912 г. роковых ошибок²⁸, и Румыния, и Болгария, и Греция выступили бы заодно с нами. Наши дипломаты умудрились всех перессорить, всякому нанести национальную обиду. Сперва отогнали сербов от Скутари под угрозой посылки даже русского судна. Идея посылки Андреевского флага²⁹ в помощь Албании, то есть Австрии, против сербов сама по себе чудовищна. Затем, когда болгары хотели взять Константинополь, опять наша дипломатия вмешалась и не пустила их туда. Ведь как Скутари, так и Константинополь были естественными выходами для славянства к морю — их историческое стремление. И на пути к этому их главным врагом являлся не кто иной, как именно Россия, в угоду Австрии. Этого, конечно, славяне не простят России. Не напади Австрия на Сербию и Черногорию, трудно сказать, пришли бы они

на помощь или нет. Возможно, что они поступили [бы] так же, как и Болгария. Теперь все клеймят Болгарию, и все же главный виновник — наша дипломатия. Но этого мало кто знает. Я лично надеюсь, что Болгария в конце концов выступит. Лучше поздно, нежели никогда.

Сегодня ровно десять месяцев, что война была объявлена.

19 мая

По сегодняшним сообщениям с Южного фронта вчера австрийцы вошли в город Перемышль, но были выбиты Азовским полком. Вчера на фронте Жирардова от удушливых газов выбыло из строя около 8000 человек, причем доктора полагают, что, слава Богу, если погибнет не более 25%, а то, пожалуй, и больше. Теперь возникает вопрос, не начать ли и нам применять такие же газы. Уже есть соответствующие изобретения.<...>

11 июня

В. А. Сухомлинов уволен от должности военного министра, и на его место назначен Поливанов. Почти одновременное увольнение как его, так и министра вн<ударственной> дел Маклакова³⁰ является уступкой общественному мнению, с этой точки зрения такая мера вполне оправдывается: когда общественное мнение возбуждено против отдельных лиц, ими надо жертвовать. Государь лично написал Сухомлинову письмо в столь теплых выражениях, что В. А. был вполне удовлетворен нравственно.

Для дела возможно, что Поливанов будет хорош, но лично я боюсь, что он поведет опасную политику. Он в былое время очень дружил с Гос<ударственной> Думой, и на этой почве произошли инциденты не вполне хорошие. Выступление Гучкова памятно всем. Уже теперь поговаривают, что Кривошеин³¹ орудует всем и собирает такой кабинет министров, однотипных и одинаково мыслящих, который был бы послушным орудием у него в руках. Направление, взятое им, определяется народом как желание умалить власть Государя. Об этом очень открыто говорят почти все.<...>

9 июля

Вернувшись после поездки на Южный фронт вчера вечером, сегодня утром зашел к ген<ералу> Гулевичу. Застал его в ужасном состоянии. За последнее время ген<ерал> Алексеев проникся идеею отступления и о каких бы то ни было попытках не только наступления, но даже о контратаках слышать не желает. Многочисленные просьбы команд<ующих> армиями о переходе в наступление оставались без ответа. Вчера Алексеев приказал всем отходить. Отчаяние во многих армиях ужасное. При таком отступлении не только мы несем большие потери, но теряем и тот нравственный элемент, без которого войну вести нельзя. Гулевич указывал Алексееву на эту сторону вопроса, но тот и слышать не желает чужого мнения, а считаясь с ним — и подавно. Гулевич горько жаловался, что Алексеев его совершенно устранил от дела, все пишет сам и посылает ему телеграммы на подпись — вещь уже совершенно ненормальная. Работает Алексеев много, очень много, но все копается в мелочах и духа армии не знает, не знает ее нравственной силы и, по-видимому, и считаясь с нею не желает. Не потому, я думаю, он это делает, что не считаясь с ней ему хочется, а просто потому, что существование нравственного элемента армии уставом не предусмотрено и не укладывается в узкие рамки канцелярской души. Гулевич прав, говоря, что, как родился Алексеев с мелкой душой, так с ней и остался, и ни на какие порывы, подъемы такая душа уже не способна. И это на каждом шагу сказывается болезненно. Но знал бы Алексеев, как все это болезненно отзывается на войсках, что они переживают, — он мог бы понять; но нет, он все же не поймет. И Иванов прав, что Алексеев на творчество не способен. Копаться в бумагах он может и хорошо, но сквозь эти бумаги жизни, обстановки, настроения не увидит. Все больше и больше жалеют Рузского. Будь он здесь, говорят все, не отступали бы мы теперь, не бросали бы даром такую огромную территорию, не попирали бы в грязь тот дух, коим Россия была всегда крепка. Вот настроение штаба. Неудивительно, что после этого и в армиях настроение падает. Я боюсь одного, что это подавленное настроение может перейти в реакцию и спросят: «Да что вы делаете?!» Что ответят тогда типы вроде Алексеева? Пока есть вера — все держится, но рухнула вера — рухнет и все остальное. Не дай Бог этому свершиться, но, идя такими путями, как теперь, приведут нас эти господа к этому. Тяжелая создается обстановка. Души нет у этих людей. Русской, великой и сильной. «Мелочь все, паюсная икра», — как выражался Мережковский³².<...>

6 августа. Волковыск

Сегодня прилетели из Новогеоргиевска 4 летчика. Всего вылетело 9, об остальных сведений пока еще нет. Летчики привезли штандарт и Георгиевские кресты. Они сообщили, что неприятеля положили очень большое количество и крепость дорого стоит им. По радио комендант сообщил, что надежды удержать крепость уже нет. Неприятель обстреливает уже цитадель, которая взрывается и почти уже вся взорвана. Число защитников тает быстро. Гарнизоны фортов 15-го и 16-го погибли. Почти все орудия нами уже взорваны. По сведениям от летчиков, управление в крепости было твердое и комендант генерал Бобырь проявил много мужества. Участи такой первоклассной крепости, как Новогеоргиевск, ясно указывает, что при современной артиллерии крепости держаться не могут. Большинство склонно думать, что крепости с круговой обороной потеряли свое значение, что лучшим типом являются крепости типа Осовца, имеющие лишь один фас, как форты-заставы. Это не мышеловки, в случае отступления от данной оборонительной линии их легче эвакуировать, и не является стремлением их удержать во что бы то ни стало. Последнее стремление всегда требует оставления гарнизоном довольно большого числа защитников, обреченных или на гибель, или же на пассивную роль. <...>

7 августа. Волковыск

Утром пришла последняя радиотелеграмма из Новогеоргиевска, и с тех пор связь с крепостью прекратилась. Последняя телеграмма от начсальника радиотелеграфной станции крепости гласила: «Работаем все время под огнем, который все усиливается, и исправляем повреждения. Думаю, исполнили свой долг, просим нас не забывать». Была еще другая телеграмма, которую расшифровать не удалось.

Участь Новогеоргиевской крепости повлияла на решение Алексеева бросить и Брест-Литовск. Верховный согласился с этим мнением, о чем, как говорил мне Гувелич, Верховный донес Государю, испрашивая, не будет ли других указаний по этому поводу. Сегодня же были посланы телеграммы об эвакуации крепости, что представляет немало трудностей. За последнее время туда усиленно везли всякие припасы, а теперь все надо везти обратно. Таковую массу грузов вывезти нелегко и требует много времени. Неприятель же сильно надавливает в направлении Бреста. Донесений точных, что происходит в Рижском заливе, не поступало. Туман мешает наблюдению. Неприятельская эскадра приближалась, тральщики выходили, но что было дальше — неизвестно.

Ставка Верховного переезжает сегодня вечером из Барановичей в Могилев. Штаб Северозападного фронта на днях переезжает в Минск. Положение Ковно остается непонятным. Что там происходит, понять трудно. Часть фортов еще в наших руках, а неприятель на правом берегу Немана. <...>

12 августа. Царское Село

У мамы обедал министр иностранных дел С. Д. Сазонов³³. После обеда вот что он нам рассказал.

Начальник штаба Верховного главнокомандующего генерал Янушкевич позволяет себе совершенно невероятные вещи. При этих условиях вести дела совершенно невозможно. Для примера приведу лишь несколько инцидентов. Когда союзники решили вести операцию на Галлиполийском полуострове, то они просили и нас принять участие в этой экспедиции. Это являлось не только помощью им, но и имело значение в случае взятия Константинополя, где мы должны воспользоваться наибольшими результатами. После сношения с штабом Верховного в Одессе был собран корпус генерала Ирманова³⁴. Я даже получил от штаба список всего командного состава и передал союзникам, что экспедиционный корпус готов и на днях выступит. Через некоторое время я случайно узнаю, что этот корпус двинут в Галицию. На докладе у Государя я ему передал об этом, и он мне сказал, что сам об этом лишь случайно узнал от великого князя Георгия Михайловича³⁵, которого он назначил шефом одного из пластунских батальонов, входящих в состав этого корпуса. Георгий Михайлович хотел видеть свой батальон в Одессе и телеграфировал туда, но получил ответ, что батальон отбыл с корпусом в Галицию. Вы можете себе представить мое положение в отношении послов союзных держав. Ведь надо принять во внимание, что этот корпус был назначен по повелению Государя, и вдруг его увезли в Галицию, не предупредив Государя. Его Величество мне только ответил, что все войска переданы в распоряжение Верховного и что трудно вмешиваться в его распоряжения.

Второй инцидент произошел еще в марте. Министр финансов Барк³⁶ получил

от Янушкевича телеграмму с указанием, что ему подлежит к 1 янв<аря> 1916 [года] внести в Америку 400 милл. руб. золотом за заказанные шрапнели. С Барком чуть удар не случился. Ведь 400 милл. руб. зол<отом> составляет 1/3 всего нашего золотого фонда. Не спрося никого, они подписали уже контракты. При таком отношении к финансам страны можно вконец разорить казну. Бедный Барк и до сих пор не отошел от этого удара.

Потом он еще себе позволил совершенно недопустимый выход в вопросе о нашем активном выступлении в Персии. Его Величество признал необходимым послать еще одну дивизию в Персию, где дела наши идут очень плохо, и лишь карательной экспедицией можно восстановить престиж России и навести порядок в стране, где царит хаос. В ответ на это Янушкевич сообщил, что дивизия послана не будет. Такое отношение к высочайшей воле совершенно недопустимо, но главное — это что при таких условиях невозможно вести политику. Получается, что две власти действуют одновременно, действуют, взаимно друг друга исключая. С разрешения Государя я написал Янушкевичу, что вопрос об экспедиции не есть детский лепет, а весьма важный фактор для нашей внешней политики.

Янушкевич — низкий, грязный человек, совершенно опутавший Николая Николаевича. Его главное наслаждение — копаться в перлюстрациях самого низкого качества. Когда я у него был, он мне показал дело о шпионаже графини Ностиц³⁷, и в деле была вшита фотография гр<афини> Ностиц, лежащей в постели в голом виде. Документы, вшитые тоже в деле, указывали, сколько раз любовник (Лола?) был у нее. С самодовольным видом он меня спросил, как это мне нравится. Я ему ответил, что все это вызывает во мне чувство омерзения и гадливости, так как мне решительно нет дела до того, кто любовник гр<афини> Ностиц и сколько раз он ее употребил. К счастью, всему этому будет положен скоро конец. Государь сам вступит в командование армией. Государь уже давно этого хотел, но долго колебался и наконец решился. Он послал в Ставку ген<ерала> Поливанова передать Николаю Николаевичу, что он назначается наместником Кавказа и что Его Велич<ество> сам вступит в командование. По словам Поливанова, Николай Николаевич осенил себя крестным знаменем и сказал: «Слава Богу». Он только спросил Поливанова, может ли взять с собой Янушкевича, на что Поливанов ему ответил, что Государь ничего против этого иметь не будет. 15 авг<уста> должен был выйти указ по этому поводу, но упросили Государя отложить это дело до конца августа. Нач<альником> шт<аба> будет у Государя Алексеев, а на его место назначается Эверт³⁸. <...>

Небезынтересно отметить, что Сазонов нашел большинство Думы настроенным монархически. Это известие меня лично очень порадовало. За последнее время говорили, наоборот, что Дума настроена очень революционно и что смена кабинета лишь доказала их власть, которую они хотели бы еще больше расширить. Ежели Сазонов прав, то это следует приветствовать. Что он вряд ли ошибается, можно судить уже по тому, что ему пришлось видеть много членов Думы и говорить с ними, — это дало ему возможность непосредственно воспринять впечатление и судить о царящем в Думе настроении.

Нас всех очень интересовал вопрос, кто надоумил Государя принять такое решение. Сазонов уверял, и это вполне вероятно, что императрица настаивала на этом. Ей страшно показалось — и в этом она права, — что Государя лишили власти, устранили совершенно от всех дел. Такое положение не могло продолжаться без существенного ущерба для престижа Государя, в частности, и для дел государственных вообще. Ежели это правда, что она на этом настояла, то следует признать, что она поступила правильно, благоразумно и в высшей степени государственно. Мне лично кажется, что командование армией принесет и пользу Государю лично. Это его успокоит. Он очень мучился удалением от армии, тяготился неведением, что делалось, и чувствовал, что долг ему велит быть при армии. Это выработает у него твердость воли. В мирной обстановке можно медлить и изменять решения, но в военной это недопустимо. Ему придется брать на себя решения сейчас же, без колебаний и уже твердо держаться раз принятого решения. Близость его к армии волнет в армию много сил нравственных, и армия иначе взглянет на своего царя, который близко принимает участие в ее жизни, а не сидит вдали, в тени блеска временного Верховного, или лишь изредка заглядывает в госпитали. Армия, преданная своему царю, есть сила большая во всех отношениях, и опереться на нее Государю будет легче после командования ею непосредственно. Армия научится его знать и любить, а царь оценит ближе огромную и беззаветную храбрость своей армии. И вся Россия, я думаю, будет приветствовать решение своего царя и скажут с гордостью, что сам царь стал на защиту своей страны. Все это дает мне полное основание радоваться решению Государя, и я глубоко уверен, что это принесет обильные плоды не только теперь, но и в далеком будущем и подымет престиж царя еще выше.

15 августа

По поводу решения Государя принять командование над войсками оказывается, что против этого решения восстали многие во главе с императрицей-матерью. Как я уже писал выше, и министры были против этого решения, и в результате Государь колеблется. По словам лица вполне верного (С)³⁹, Государь последние дни был очень расстроен. Он стал чувствовать, что все его надувают, верить ему никому нельзя, и не знает, как выбраться из создавшегося положения. Кроме того, известия с войны не могут служить утешением. Верховный к тому же написал ему письмо панического оттенка, что еще больше [его] расстроило, и он даже плакал.

Сегодня Кирилл был у Рузского, который прямо в отчаянии от назначения Алексева нач^{альником} штаба при Государе. Рузский считает Алексева виновником всех наших неудач, человеком не способным командовать, и, кроме того, Рузский обвиняет его в том, что он пренебрег всеми нашими стратегическими линиями, оцененными еще при Николае I (Новогеоргиевск, Ивангород, Брест и т. д.). Такое пренебрежение к истории нашей обороны является уже преступным. Теперь же в оправдание он уже обвиняет войска в неустойчивости.

Как при этом мне вспомнился мой разговор с Ф. Ф. Палицыным по поводу стратегического отхода наших армий, когда я ему говорил, что злоупотреблять таким способом рискованно, так как это деморализует войска. Так оно и вышло. Но как предупредить Государя, что Алексеев никуда не годен? Даже ежели сказать мне всю правду, то не поверит. Да и верить ему нам нет оснований. Кирилл говорил мне, что в морском штабе, где есть выдающиеся люди, Алексева винят во всем. Бывший при штабе С<северо>-З<ападного> фронта лейтенант флота ...* записал день за днем все, что происходило в штабе. Говорят, этот ценный материал ярко показывает, как неумело вел Алексеев вверенное ему дело и всю его неспособность в военном деле.

Вот на Кавказе Юденич одержал блестящую победу с втрое меньшими силами. А тут что делается, прямо стыдно!

Есть надежда, что ген<ерал> Эверт, который назначен теперь вместо Алексева, улучшит тяжелое положение, созданное Алексеевым. У него прекрасный нач^{альник} шт<аба> Юзефович⁴⁰. Но все же, ежели вдохновителем всего будет Алексеев, то можно себе представить, что он может натворить. Прямо страшно делается. Уж очень прогневили мы Бога, что он нас так наказывает, и уж несколько лет подряд.

17 августа. Царское Село

Я был у мамы и узнал, что вчера Ники написал мин<истру> вн<утренних> дел кн<язю> Щербатову письмо с приказанием немедленно уволить ген<ерала> Джунковского⁴¹.

Подъезжая сегодня к Царскому Селу из Петрограда, я его встретил на моторе. Говорили сегодня, что есть надежда, что он не уйдет. Ники велел его уволить с оставлением в свите, на это Джунковский ответил, что не желает оставаться в свите.

Причина всего этого кроется в Распутине, который мстит Джунковскому за то, что он при расследовании московского погрома в мае⁴² раскрыл целый ряд неблагоприятных поступков Распутина и донес об этом Государю. Молва говорит, что Распутин в пьяном виде публично похвалялся, что прогнал Николашку, прогонит обер-прок<урора> Св<ятейшего> Синода Самарина, Джунковского и вел<икую> кн<ягиню> Елизавету Федоровну⁴³. Где тут правда, конечно, сказать трудно. Но все это создает крайне благоприятную почву для всяких нападок, [о чем] свидетельствует следующая статья, появившаяся сегодня в «Веч<ернем> Времени». Подчеркнутые слова ясно указывают, куда метили**. <...> Но кто же станет писать опровержения? Единственный способ теперь — это обелить себя решительным действием, покончить с Распутиным, виновен ли он или нет. Все равно, что он делал и кто он такой. Важно лишь одно, что благодаря ему есть лицо, которое подвержено публичным на-

* Фамилия автором пропущена.

** Далее в дневнике переписана статья из газеты «Вечернее Время» от 17 августа 1915 г. «Опять Распутин». В ней говорится о том, что Распутин ведет пропаганду в пользу заключения мира с немцами. Автор статьи напоминает о ряде судебных дел, числящихся за Распутиным, часть которых заглохла под влиянием министра юстиции И. Г. Щегловитова. Автором дневника подчеркнуты в статье слова: «Распутин, пользовавшийся всегда покровительством немецкой партии».

падкам весьма гадкого свойства, и этого вполне уже достаточно, чтобы быть осторожным и не возбуждать народного негодования, когда и без того в стране не все очень благополучно.

24 августа. Петроград

За последние дни снова много говорили о предположении Государя стать во главе армии и о назначении Николая Николаевича заместителем Кавказа. Начальник его штаба Янушкевич уже назначен на Кавказ. Его место занял Алексеев. Эверт на место Алексея. Толки по этому поводу делились на две группы. Одни находили, что Государю вовсе не следует становиться во главе армии, так как это его отвлечет от дел государственных; другие, наоборот, находили, что это очень хорошо, но при условии, что Николай Николаевич останется на месте. На последнем условии почти все согласились. И действительно, Николай Николаевич случайно попал на этот пост, после того что Совет министров упросил Государя не брать верховное управление армией в начале войны. Для поднятия престижа Николая Николаевича в церковных службах была установлена для него особая молитва. Государь осыпал его милостями и достиг того, что личность Николая Николаевича была известна всей России и его популярность не была даже поколеблена последним периодом войны, когда нашей армии пришлось все отступить. Казалось, что результат был блестящий. Но вот именно этот блестящий результат, созданный трудами Государя, не понравился А.⁴⁴ Тут и причина, почему Государь назначает Николая Николаевича на Кавказ. Люди осторожные уверяют, что это вызовет всеобщий ужас и негодование и приведет к тяжким последствиям. Вот вкратце общее настроение. <...>

Днем я был у тети Minny на Елагином острове. Нашел ее в ужасно удрученном состоянии. Ее волнует больше всего вопрос о Николае Николаевиче. Она считает, что его удаление поведет к неминуемой гибели Н.⁴⁵, так как этого ему не простят. Во всем разговоре она выгораживала Ники, считая Аликс виновницей всего. Когда Ники был перед отъездом у нее, она долго его молила подумать обо всем хорошенько и не вести Россию на гибель. На это он ей ответил, что его все обманывают и что ему нужно спасти Россию, — это его долг, призвание. Напрасно тетя его уговаривала, что он мало подготовлен к этой трудной роли, что дела государства требуют его присутствия в Петрограде; но он остался неумолим и даже не обещал пощадить Николая Николаевича.

Во время этого разговора Аликс сидела в другой комнате с Ксенией⁴⁶, которая спросила ее, неужели Николашу сменят: он так популярен теперь.

— Опять про Николашу, все только о нем и говорят, — ответила Аликс, — это мне надоело слышать. Ники гораздо более популярен, нежели он, довольно он командовал армией, теперь ему место на Кавказе.

Тети Minny, передавая мне эти разговоры, так волновалась, так возмущалась, что мне страшно стало. Она все спрашивала:

— Куда мы идем, куда мы идем? Это не Ники, не он, он милый, честный, добрый, это все она.

Я спросил тетю, есть ли надежда, что хоть Ник^{олай} Ник^{олаевич} останется.

— Нет, — ответила тетя, — уже все кончено. Алих только что телеграфировала. — И она прочла телеграмму: — «All went on brilliantly, the changement is done, leaving in two days»*.

Итак, это сделано. От Ники была тоже телеграмма, что приехал, очень доволен встречей. Завтра мы, вероятно, прочтем об этом в газетах. Одно остается непонятное — это что Ники к 1 сентября возвращается обратно сюда. Кто же будет в это время командовать армией? Никто не знает. Тетя на этот вопрос ответила: «Ничего больше не понимаю». Тетя Minny мне еще говорила, что у нее был дядя Алек, который молил ее уговорить Ники не ехать в армию. Он предвидит ужасные последствия до народных волнений включительно. Дядя был прямо в отчаянии. «He rolled on the floor»**, — так выразилась тетя Minny.

Увольнение Джунковского и Влади Орлова, двух самых преданных людей, о которых Ники всегда выражался самым теплым образом, ее тоже огорчило: «It is not my dear boy, he is too good to such a thing, he liked them both very much. It is all she alone is responsible of all, that is happening now. It is too awful! Who will be now near him, he will

* Все идет превосходно, перемена произошла, он уезжает через два дня (англ.).

** Он катался по полу (англ.).

be quite alone with that awful «Кувака»⁴⁷. Not a single devoted friend at his side. I understand nothing. I cannot understand ... it is too awful for words»*.

Когда мамá была у нее, она еще прибавила, что это ей напоминает времена императора Павла I⁴⁸, который начал в последний год удалять от себя всех преданных людей, и печальный конец нашего прадеда ей мерещится во всем своем ужасе.

Мы действительно переживаем в эти дни очень тревожное время. Малейшая ошибка может создать огромные события, непоправимые по тем впечатлениям, которые они оставляют. Удаление Николая Николаевича на Кавказ есть уже одна огромная ошибка. Он сам по себе мало причастен к той популярности, которой он пользуется в России. Как я писал выше, это было создано самим Государем и это его огромная заслуга, ибо только человек популярный, который пользуется доверием массы, способен эту массу двигать и одухотворять.

Что скажут теперь в России? Как объяснить народу и армии, что Николай Николаевич, который был покрыт всеми милостями царя, вдруг сменяется? Естественно, спросят, что же он сделал, чтобы заслужить такую немилость. Хорошо, если правительство так обставит вопрос, что Государь сам становится во главе армии, и, естественно, Верховный должен свой пост покинуть. Но мог бы у него остаться помощником. А молитва за ектенией? Что с ней делать? С уходом Николая Николаевича народное впечатление будет задето глубоко. Во всех судах его фотографии, все за него молятся — и в один день херь всё. Да за что, невольно спросит себя всякий. И, не найдя подходящего ответа, или скажут, что он изменник, или, что еще может быть хуже, начнут искать виновников выше. Еще одно соображение. С принятием Государем командования армией, естественно, все взоры будут устремлены на него с еще большим вниманием. И ежели на первых порах на фронте будут неудачи, кого винить? Еще соображение. Ежели дела государства потребуют его присутствия в Петрограде, на кого он оставит армию? Возможно, что обо всем этом уже подумали и предусмотрели все эти вопросы, которые так всех волнуют. Насколько я мог понять, не все эти вопросы окончательно решены. Один уже предположенный приезд Государя в сент-ябре> в Царское Село как-то мало вяжется с принятием им верховного управления армией, ибо отъезд из штаба немыслим даже на сутки, когда минуты иногда решают судьбу кампании. Сама идея, что Государь лично становится во главе армии, прекрасна и подымет нравственный элемент в армии, но, по-моему, все же следовало бы эту прекрасную идею обставить более тщательно и не возбуждать народ лишними тревогами и опасностями.

Т<етя> Minny мне говорила, что Ники написал гр<афу> Воронцову на Кавказ о предполагаемой смене его и получил от него, по ее словам, в ответ длинное, чудное письмо, где старый граф на склоне дней своих умолял Государя не брать на себя командование армией. Он выставил ярко всю опасность этого для него, для дела, для принципа.

В истории не было примера со времен Петра I, чтобы цари сами становились во главе своих армий. Все попытки к этому, как при Александре I в 1812 г., так и при Александре II в 1877 г., дали скорее отрицательные результаты. Главным образом вокруг Ставки создавалась атмосфера интриг и тормозов. Памятна всем идея Пфуля⁴⁹ при Александре I, и он тогда покинул армию, дабы не стеснять главнокомандующего. Старики хорошо помнят турецкую кампанию, и я сам читал в письме графа Адлерберга⁵⁰ к императрице Марии Александровне⁵¹ его критику наезда Государя в армию. Хорошего ничего не выходило, наоборот, многие распоряжения запаздывали; спорили, интриговали. И в те времена Государя отговаривали ездить в армию и вмешиваться непосредственно в дела главнокомандующего. Во всем этом много верного. Государь должен быть вне возможных на него нападков. Он должен стоять высоко, вне непосредственного управления. Как в Германии, так и в Италии монархи сохранили за собой верховное управление армиями, то есть сохранили то, что им присуще по закону, но ни один из них непосредственно не командует, а имеет ответственных главнокомандующих. Это ничуть не мешало им руководить всеми делами военными, сохраняя свои prerogatives, не неся ответственности и не подвергая себя возможной критике.

Вот в этом духе, мне кажется, следовало бы и у нас поступить. Боюсь, что сделают не так, как следовало бы.

* «Это сделал не мой дорогой мальчик. Он слишком добр, чтобы сделать подобную вещь. Он очень любил их обоих. Это все она! Она одна ответственна за все то, что сейчас происходит. Это слишком ужасно! Кто будет около него? Он останется совершенно один с этим ужасным «Кувакой». Ни одного преданного друга около него. Я ничего не понимаю. Я не могу понять... Это слишком ужасно, чтобы это можно было выразить словами» (англ.).

26 августа

Сегодня в газетах было опубликовано следующее*.

1 сентября

Итак, свершилось то, о чем так много все говорили, судили, волновались и беспокоились⁵². Одна группа лиц осталась недовольна, а именно, мне кажется, та группа, для которой всякое усиление власти нежелательно. Естественно, что Государь, опираясь непосредственно на свою армию, представляет куда большую силу, нежели когда во главе армии был Николай Ник^{<олаевич>}, а он сидел в Царском Селе. Большинство же приветствовало эту перемену и мало обратило внимание на смещение Ник^{<олая>} Ник^{<олаевича>}. Отмечают лишь, что рескрипт Ник^{<олаю>} Ник^{<олаевичу>} холоднее рескрипта гр^{<афу>} Воронцову.

Как теперь выясняется, все, что я писал раньше о ген^{<ерале>} Данилове (черном), просочилось в массу и создало атмосферу недоверия не лично к Ник^{<олаю>} Ник^{<олаевичу>}, а к его штабу. Смена штаба и вызвала общее облегчение в обществе. В итоге все прошло вполне благополучно. В армии даже все это вызвало взрыв общего энтузиазма и радости. Вера в своего царя и в благодать Божию над ним создала благоприятную атмосферу. Военные действия пошли как-то лучше. Есть стремление наступать, неприятель кое-где разбежался, и за одну неделю набрали до 40 000 пленных. Сообщения из штаба пишутся как-то аккуратнее и в конце появляются фразы вроде «общее положение улучшается» или «инициатива постепенно переходит в наши руки». Эти фразы произвели наилучшее впечатление и способствовали тому, что вот прошла неделя, и все, кажется, вошло в норму и от бывших тревожных и следа не осталось.

Некоторое волнение вызвало известие, что мин^{<истр>} ин^{<остранных>} дел Сазонов хочет уговорить переехать в Москву императрицу, весь двор, министров и послов. Такое переселение, конечно, вселило [бы] тревогу за судьбу Петрограда и уныние в деловом мире, так как переезд всех министров будет тормозить дело, ибо трудно и все канцелярии везти с собой. Пока я знаю об этом, как слух, а потому на эту тему распространяться не буду.

6 сентября. Петроград

На днях Аликс заехала к мамá в Царском Селе с двумя старшими дочерьми чай пить. Следует отметить, что за 20 лет это первый раз, что Аликс без Ники приезжает к мамá. Но самое интересное — это разговор, который происходил. Аликс горько жаловалась, что все, что бы она ни делала, все критикуется, в особенности в Москве и Петрограде. Все восстает против нее и связывают ей этим руки. «Приехали теперь из Германии сестры милосердия; для пользы дела мне следовало бы их принять, но я этого не могу сделать, так как это снова будет истолковано против меня». Мамá спросила, [правда ли] что она и весь двор переезжают в Москву? «Ах, и до тебя это дошло! Нет, я не переезжаю и не перееду, но «они» этого хотели, чтобы самим сюда переехать (тут она дала ясный намек, кто это «они»: Ник^{<олай>} Ник^{<олаевич>} и черногорки⁵³), но, к счастью, мы об этом вовремя узнали**», и меры приняты. «Он» теперь уедет на Кавказ. Дальше терпеть было невозможно. Ники ничего не знал, что делается на войне: «он» ему ничего не писал, не говорил. Со всех сторон рвали у Ники власть. Урывали все, что было возможно. Это недопустимо в такое время, когда нужна твердая и непоколебимая власть среди этого развала во власти. Я умоляла Ники не гнать Горемыкина⁵⁴ в такое время. Это верный и преданный человек, твердых убеждений и правил. Нельзя же ему гнать от себя людей, ему преданных. Кто же тогда останется у него?» Мамá, передавая мне этот разговор, говорила, что Аликс производила глубокое впечатление искреннего горя по поводу текущих событий. Большое впечатление производило ее негодование относительно «черногорок» и их замыслов; она не передала, в чем было дело, но ясно сквозило, что она узнала нечто важное, угрожавшее не только ей лично, но и самому Ники. Это дает ключ к тому загадочному, как тогда казалось, ее поведению у т^{<ети>} Миппу, когда она говорила с Ксенией. Мамá несколько раз повторяла, что Аликс произвела на нее глубокое впечатление. Тут было действительное отчаяние; Аликс смотрела на вещи именно так, как мы смотрим, и все, что она говорила, было ясно, положительно и верно.

* Далее в дневнике вклеены вырезки из газет с указом Николая II о смене Верховного главнокомандования.

** Здесь и далее выделено автором.

Относительно пребывания Ники во главе армии она говорила, что он чувствует себя теперь отлично. Будучи в курсе дел, он подбодрился, воспрянул духом. Нач<альник> шт<аба> ген<ерал> Алексеев его вполне удовлетворяет своей «скромностью».

Этот эпизод в нашей семейной жизни важен в том смысле, что дал нам возможность понять Аликс. Почти вся ее жизнь у нас была окутана каким-то туманом непонятной атмосферы. Сквозь эту завесу фигура Аликс оставалась совершенно загадочной. Никто ее, в сущности, не знал, не понимал, а потому и создавали догадки, предположения, перешедшие впоследствии в целый ряд легенд самого разнообразного характера. Где была истина, трудно было решить. Это было очень жалко. Фигура императрицы должна блеснуть на всю Россию, должна быть видна и понятна, иначе роль сводится на второй план и фигура теряет необходимую популярность. Конечно, приведенный выше разговор Аликс с мамá не может восстановить все то, что было потеряно за 20 лет, но для нас лично, конечно, повторяю, этот разговор очень важен. Мы увидели ее в новом освещении, увидели, что многое из легенд не верно, что она стоит на верном пути. Ежели она и не сказала больше, нежели она это сделала, то, надо думать, причин к тому у нее было достаточно. Но видно все же, что у нее накипело много на душе и потребность хоть часть вылить побудила ее приехать к мамá.

11 сентября. Царское Село

Сегодня у нас обедал британский посол Sir George Buchanen⁵⁵, который рассказал мне следующее по поводу Балканских событий и болгарской мобилизации. По существующему между Сербией и Грецией договору последняя обязалась в случае нападения Болгарии на Сербию прийти ей на помощь всеми своими вооруженными силами, причем Сербия должна выставить против Болгарии 120 т<ысяч>. С объявлением в Болгарии мобилизации и ее угрожающего поведения по отношению к Сербии греко-сербский договор должен войти в силу, но Сербия в силу войны с австро-германцами не может выставить предусмотренные договором силы (120 т<ыс>. штыков) на болгарскую границу, а Греции не под силу одной вести войну с Болгарией. Такое положение задерживало фактическое выполнение Грецией своего договора с Сербией и ставило судьбу Сербии в критическое положение. Sir Ed Grey⁵⁶ нашел выход из этого положения и запросил Грецию, выполнит ли она свой договор с Сербией, ежели союзники выставят вместо сербов требуемую силу на сербско-болгарскую границу. Греция согласилась. Buchanen говорил мне, что от Франции уже получен ответ, что она согласна послать экспедиционный корпус в Сербию и что ответ Англии он ожидает сегодня вечером, который, безусловно, будет тоже утвердительный. Тогда через несколько дней войска (англо-французские) будут высажены в Салониках. Греция уже объявила всеобщую мобилизацию. От Румынии нет еще официальных сообщений, но, по имеющимся данным, она, безусловно, присоединится к коалиции против Болгарии. Вопрос в том, будет ли Болгария продолжать идти по рискованному пути авантюры, указанному ей из Берлина, или же под угрозой коалиции повернет в сторону согласия. На этой неделе все эти вопросы будут окончательно выяснены.

Судя по газетам, греческая мобилизация произвела сильное впечатление в Сфии и в Берлине. План немцев зиждился на том предположении, что ни Греция, ни Румыния не двинутся против Болгарии, которая может в этом случае занять Македонию и надавить с тыла на Сербию. Угрожающее поведение Греции и энергия союзников в корне подорвали и сразу весь немецкий план и ставят существование Болгарии в критическое положение. На днях увидим, как все это развернется.

По поводу нашей политики на Балканах Sir G<eorge> Buchanen выразился: «Ваша политика не всегда была особенно тактичной. — Your police on the Balkans was not always tactful». Это мнение английского посла о нашей балканской политике является очень интересным. Я уже неоднократно отмечал то же самое, находя, что наша дипломатия совершила ряд непозволительных ошибок. В данное время, конечно, Болгария [несет] всю ответственность за свое поведение, но все же наша дипломатия во многом виновата. Она создала недоверие к России на Балканах, она поколебала лучшие чувства балканских государств, и, главное, она никогда не знала, чего хотела, и держала за границей представителей — о Боже! — ниже всякой критики. G. Buchanen вспомнил при этом балканскую войну и приезд Николая Греческого⁵⁷ в Петроград, который в беседе с ним утверждал, что великие государства должны принять меры к ослаблению Болгарии и понудить Турцию выступить заодно с Грецией и Сербией против Болгарии. Это было еще во время войны (перемирие), и, как правильно выразился G. Buchanen, ежели союзники так задумывают против своих

же союзников, то это свидетельствует о низком уровне их развития и весьма нечистоплотных способах действовать. По мнению Vuchanen'a, сербо-болгарский вооруженный конфликт 1912 г. был вызван именно закулисной интригой союзников против Болгарии. Для публики весь позор остался за Болгарией, но, в сущности, он по справедливости падает в гораздо большей степени на союзников, которые вызвали этот конфликт, а вину свалили на Болгарию.

Кирилл писал на днях из Ставки Даску, что Алексеев действует все хуже и хуже. Его приказы один глупее другого. Ники начинает это видеть, но неизвестно, как он поступит.

У мамá был недавно гр<аф> Пален⁵⁸. Он передавал о возмутительных преследованиях, которым подверглись «бароны» в балтийских провинциях. Он уверен, что главная цель этих преследований направлена против Аликс. Преследуя немецкий дух, метая выше. Удивительно, как непопулярна бедная Аликс. Можно, безусловно, утверждать, что она решительно ничего не сделала, чтобы дать повод заподозрить ее в симпатиях к немцам, но все стараются именно утверждать, что она им симпатизирует. Единственно, в чем ее можно упрекнуть, это что она не сумела быть популярной. <...>

16 сентября. Петроград*

Мобилизация в Болгарии вызвала взрыв негодования во всей России. Та Болгария, которую мы спасли от турецкого ига ценой 200 т<ысяч> солдат, за освобождение которой мой отец рисковал своей жизнью, та Болгария, которая всем обязана исключительно великодушью России, взялась за оружие — против нашей союзницы Сербии. Действие неслыханной дерзости, и Фердинанд⁵⁹ мог бы, как некогда граф Андраши⁶⁰ при Николае I, сказать: «Я удивлю мир неблагодарностью».

Приложенный рисунок ярко характеризует, как оценили Фердинанда. Мне единственно жалко, что оскорбили такое благородное животное, сравнив его с Фердинандом!***

Дополнение***

Sir G. Vuchanen по поводу балканской политики добавил еще одну мелочь, довольно хорошо характеризующую политический облик главных руководителей. Разговор зашел о том, что премьеры в Болгарии — далеко не выдающиеся лица и мало проникнуты истинными интересами своей родины. На это Vuchanen заметил: «Неудивительно, мы все их совращали деньгами». Из дальнейшего разговора на эту тему выяснилось, со слов Vuchanen'a, что это довольно обычное явление в политике Англии — платить политическим деятелям, и он лишь сожалел, что мы не делали то же самое. Результаты, по его мнению, были бы блестящие. На мое замечание, что, может быть, и Фердинанду следовало бы дать известную сумму, раз идти таким путем, Vuchanen ответил, что это было бы очень хорошо. По его мнению, выходит, что раз человек берет деньги за известные услуги, то и следует платить. Меня лично это мнение посла Великобритании очень <за>интересовало как один из несомненных способов их достигать результаты верным способом. Человек, взявший раз деньги, уже во власти давшего. <...>

17 сентября. Петроград

Сегодня доктор Зандер мне говорил, что, по последним слухам, как результат поездки всего Совета министров в Ставку Государственная Дума будет созвана 25 сентября. Кроме того, министром вн<утренних> дел будет назначен чл<ен> Госуд<арственной> Д<умы> Хвостов⁶¹. Он хотел еще рассказать про Р-а⁶², но, к сожалению, не успел.

Интересный инцидент произошел с еп<ископом> Варнавой Тобольским⁶³. Он канонизировал без ведома Св<ятейшего> Синода местного епископа. Синод его вызвал в Петроград для дачи объяснений. Он прибыл и был спрошен мит<рополитом> Владимиром⁶⁴ и обер-прок<урором> Самариним⁶⁵. Через несколько дней он должен был давать объяснения уже всему Синоду, но на заседание не прибыл. Послали за ним, но не нашли на квартире. Там объяснили, что Варнава выбыл неизвестно куда. Кто говорил, что он уехал обратно в Тобольск, кто уверял, что он скрылся у Р-а. Поручили полиции его разыскать, и, ко всеобщему удивлению, его нашли в Царском

* Далее в тексте дневника отмечено: «К прилагаемой карикатуре».

** При этом наклеена вырезка из газеты «Вечернее Время» от 16 сентября 1915 г. Карикатура Пэма с надписью «У дуба славянства». На ней изображен Фердинанд в виде свиньи, подрывающей рылом корни дуба.

*** К предыдущей записи (от 11 сентября) беседы с Бьюкененом.

Селе. Но все же в Синод он отказался прибыть, ссылаясь на то, что канонизация тобольского епископа совершена им по желанию высших сфер. Что это значит и на кого он кивает?

На днях я разговаривал с Алекс<еем> Викт<оровичем> Осмоловским⁶⁶, который, страдая сердечным пороком, проводил каждый год сезон в Nauheim'e и часто встречался там с покойным С. Ю. Витте⁶⁷. Последний сезон 1914 г. застал его, Осмоловского, как и графа С. Ю. Витте, в Nauheim'e во время начала политических осложнений. По этому поводу гр<аф> Витте говорил Осмоловскому, что есть один лишь человек, который мог бы помочь в данное время и распутать сложную политическую обстановку. На естественный вопрос Осмоловского, да кто же этот человек, граф Витте назвал, к его большому удивлению, Гр<игория> Е<фимовича> Р-а. Осмоловский на это возразил: как может Распутин быть опытным дипломатом, он, человек совершенно неграмотный, ничего не читавший, как может он знать сложную политику и интересы России и взаимоотношения всех стран между собой? На это граф Витте ответил: «Вы не знаете, какого большого ума этот замечательный человек. Он лучше, нежели кто, знает Россию. Ее дух, настроение и исторические стремления. Он знает все каким-то чутьем, но, к сожалению, он теперь удален». Это мнение гр<афа> С. Ю. Витте о Р-е меня прямо поразило. Я всегда считал и до сих пор считаю С. Ю. за из ряда вон выдающегося человека, какого в России давно не было. Думаю, что многие того же мнения. Но каким образом С. Ю. мог прийти к такому странному выводу в отношении Р-а, остается пока для меня загадкой. Никогда и никто не говорил об его отношениях к Р-у. Их имена даже злые сплетники не могли сопоставить. Знал ли С. Ю. Р-а, не знаю. Вряд ли. Может быть, в будущем эта загадка и разъяснится, пока же решительно ничего не понимаю. Одно знаю, что С. Ю. словами не шутил. Что хотел он этим сказать?

20 сентября. Петроград

Сегодня в «Вечернем Времени» № 1245 было помещено*:

Итак, Россия накануне разрыва с той самой Болгарией, которую она своей кровью создала 38 лет тому назад. Теперь мы ждем ответа Болгарии. Что она ответит? <...>

23 сентября

Как и следовало ожидать, Болгария дала неудовлетворительный ответ на нашу ноту, ввиду чего дипломатические сношения с Болгарией прерваны. За нами последовали представители остальных держав, то есть Англии, Франции, Италии, Сербии, Бельгии, Черногории, и выехали из Софии. Трудно даже писать, какие чувства мы все переживаем при виде предательства Болгарии. Одно безусловно — это что Болгария вычеркивается из славянской семьи, а Фердинанд Кобургский навеки покрыл себя несмываемым позором. <...>

24 сентября

В виде справки прилагаю этот документ**. Интерес не столько в его содержании, а в том, что он подписан 23 августа.

Дело в том, как это передал д<ядя> Павел⁶⁸ мамá, Ники говорил д<яде> Павлу, что он разрешил Ник<олаю> Ник<олаевичу> заехать к себе в имение «Першино» Тульской губ. на 5 дней для отдыха. Ник<олай> Ник<олаевич> был уволен от должности Верховн<ого> главнокомандующего 23 августа с. г.*** Уехал на следующий день и вместо 5 дней пробыл в имении более 3-х недель⁶⁹. По этому поводу Ники выразился в разговоре с д<ядей> Павлом, что терпеть дольше нельзя было. Последний раз, что он был в Ставке, Ники охарактеризовал: «Была большая мерзость». Долгое пребывание Ник<олая> Ник<олаевича> в деревне его тоже раздражало, как говорил д<ядя> Павел, ужасно. Аликс же говорила д<яде> Павлу, что Ставка хотела

* Вклеена вырезка из газеты с текстом официального сообщения «Разрыв России с Болгарией. Нота Российского правительства».

** Далее переписаны приказы о смене верховных главнокомандующих (от 23 августа 1915 г.). Затем идет текст приказа о вступлении великого князя Николая Николаевича в должность кавказского наместника. Датирован этот приказ: Тифлис. 23 сентября 1915 г.

*** Далее наклеен вырезанный из газеты приказ великого князя Николая Николаевича при вступлении в должность Кавказского наместника; приказ датирован: Тифлис. 23 сентября 1915 г.

разлучить ее с Ники⁷⁰. Эти слова подтверждают отчасти то, что написано на стр. 114 из разговора мамá с Аликс*. Можно пока лишь строить догадки о том, что Ники стали известны какие-то сведения относительно Николая Николаевича и эти сведения побудили его сменить Николая Николаевича и выражаться крайне резко про Ставку. Но, в чем дело, мы не знаем. Можно сделать одно заключение. Ники всегда очень сдержан, никогда резко про кого бы то ни было не говорит и в принятии коренных мер всегда нерешителен. Ежели теперь он принял такие серьезные меры, как это было 23 авг<уста>, и выражается так откровенно про Николая Николаевича, можно с уверенностью сказать, что причины должны быть серьезны, и его долготерпению пришел конец. <...>

27 сентября

В газетах опубликовано об увольнении мин<истра> вн<утренних> дел кн<язя> Щербатова и обер-прокурора Св<ятейшего> Синода Самарина⁷¹. Мин<истром> вн<утренних> дел назначен Хвостов, чл<ен> Гос<ударственной> Думы. Вторая должность не замещена. Об этих переменах уже давно говорили, как о первом предвестнике ответственного перед палатами министерства. Хотя оба министра, и в особенности Самарин, были облечены доверием народа, но что-то случилось. Самарину не повезло в деле еп<ископа> Варнавы. Вероятно, Гришка заступился за Варнаву и выжил Самарина**. <...>

Здесь уместно привести один разговор, который произошел однажды между мамá и Фердинандом. Последний жаловался на русское правительство, которое, по его мнению, третирует его. В заключение Фердинанд сказал: «Ma vengeance sera terrible»***. Мамá мне неоднократно об этом говорила до последних событий, и мы не сомневались со дня начала войны, что он ищет удобный момент отомстить России за все те неприятности, которые он лично испытал. Несомненно, что последние события ничего общего с интересами Болгарии не имеют; все это личная политика Фердинанда, политика мести мелкого авантюриста.

Я мог бы очень много написать про Фердинанда. Судьба меня сталкивала с ним очень часто, что дало мне возможность хорошо изучить его, его характер, взгляды и приемы. Два раза я был в Болгарии. Первый раз с отцом в 1907 г. на открытии памятника Александру II и [затем] в 1911 г. — на праздновании совершеннолетия Бориса⁷², его старшего сына и крестника нашего Государя. Лично Фердинанд относился ко мне всегда очень хорошо; был приветлив, ласков, и мы были с ним на «ты». Это в силу родственных отношений его к мамá. Он приезжал на похороны папá в 1909 г., как раз после объявления себя царем. Он воспользовался этим случаем, чтобы Россия признала за ним этот титул. Ему были оказаны царские почести, чем он остался очень доволен и польщен. Характерная черта его характера — это болезненная щепетильность. Ему все кажется, что все недостаточно с ним вежливо, проявляют к нему некоторое пренебрежение, подчеркивая, что он «ничего». Хотя ничего подобного я не видел, но он зачастую об этом жаловался мамá и мне лично. Всякую мелочь он всегда истолковывал именно в этом смысле. Как пример, приведу следующий факт. Во время пребывания папá в Софии, папá, отвечая на речи, говорил, обращаясь к Фердинанду, «ваше высочество». По этому поводу он спросил, что папá имеет против него, именуя его «ваше высочество» вместо «ваше королевское величество». Мамá с трудом его разубедила, что папá вовсе не хотел умалить его достоинство, а просто не обратил на это внимания. Папá говорил всегда без подготовки и не обратил внимание на пропуск «королевского». Когда мамá сказала об этом папá, то он ответил: «Si ça peut lui faire plaisir — avec joie»****.

Инцидент был исчерпан. Подобных инцидентов был целый ряд. В то же время, когда я был с папá, при мне состояло дежурство из двух офицеров. Фердинанд просил, чтобы я без одного из них не выезжал из дворца. Однажды утром я решил прогуляться с Кубе по улицам Софии. По дороге встретили Фердинанда, который пришел в негодование, что я гуляю по улицам один, хотел посадить мое дежурство под арест и имел по этому поводу крупное объяснение с мамá, жалуясь, что я не подчиняюсь его требованиям и т. д. Мамá мне, конечно, сейчас же об этом передала. Папá от души смеялся. И вот я задумал, как бы отомстить Фердинанду. Надо помнить,

* На этой странице рукописи произведена запись (6 сент.) о разговоре Аликс и великой княгини Марии Павловны относительно великого князя Николая Николаевича.

** Далее следуют переписанный автором текст «ответной ноты Болгарии» и правительственный к ней комментарий (тоже из газеты).

*** Моя месть будет ужасна (франц.).

**** Если это может ему доставить удовольствие, я готов с радостью (франц.).

что в то время он был лишь князем болгарским, вассалом турецкого султана. Фердинанд очень не любил, когда ему об этом напоминали. И вот я решил одеть турецкую звезду к парадному обеду. Фердинанд заметил это, но ограничился лишь следующим замечанием: «Je suis heureux de voir, que mon suzerin t'a si amplement décoré»*.

Придворные чины в отчаянии бросились ко мне, умоляя снять турецкую звезду; на это я им заметил, что удивляюсь им, так как нахожусь в турецкой провинции, и что это даже с моей стороны известное внимание верховному покровителю Болгарии, турецкому султану. На следующий день Фердинанд излил целые потоки упреков мамá по поводу моего скандального поведения. На это мамá ему очень разумно ответила, что он сам виноват тем, что наговорил про меня много нехорошего, и я имел полное право обидеться. Папá был в восторге от всего этого инцидента и от души хохотал. Через несколько дней Фердинанд спросил мамá, приму ли я от него в знак примирения перстень. Ввиду положительного ответа он мне подарил платиновое кольцо с тремя разноцветными камнями, цветами Болгарии. <...>

29 сентября. Петроград

Сегодня мне пришлось беседовать с кн<язем> В. Волконским⁷³, товар<ищем> мин<истра> вн<утренних> дел и бывшим товарищем председателя Госуд<арственной> Думы. <...>

— Вы только что говорили про значение общественного мнения: нельзя ли было бы для этой цели лучше использовать печать? В умелых руках хорошо руководимая печать может оказать огромные услуги правительству.

— Конечно, печать — это дивный орган для правительства. Будь я во главе ведомства, я бы все новые мероприятия изучал печатью. Пускал бы статьи, слушал возражения, оспаривал бы их, подготовлял бы общественное мнение и тогда всякое мое мероприятие встретило бы сочувствие большинства, что уже создает известное доверие к данному мероприятию. У меня на днях побывали редакторы газет и все заявили, если я их по телефону попрошу о том или другом не писать, то и не напишут; но когда им приказывают, как Катенин⁷⁴ это делает, то они будут писать. Они сами сознавались, что врут, но публика требует новостей; а их, редакторов, никуда на порог даже не пускают. Где же собрать сведения, с кем поговорить, обсудить вопрос? При таком отношении к печати их только озлобляют, а услугами их не пользуются.

— Ну почему же Горемыкин не улучшает все эти вопросы?

— Да где ему! Он старого поколения, ему невозможно приспособиться к новому времени. Даже в нашумевшем деле (Варнавы) он не видит серьезных последствий. Ему, конечно, следовало бы вместе с председателями Госуд<арственного> Совета и Думы сделать доклад, но он на это не способен.

— Когда ожидается открытие Государственной Думы?

— Этот вопрос не решен. Насколько я был противником роспуска Госуд<арственной> Думы и сторонником ее скорейшего созыва, настолько теперь я нахожу невозможным созыв. Дума не может не предъявить правительству запросы по «этим вопросам» — что же может оно ответить? Дебаты в Думе при нынешнем настроении прямо опасны. Необходимо сперва успокоить общественное мнение. Горемыкину даже говорить не дадут — засвищут. Ему и вообще в Думу лучше не ходить.

— А есть ли подходящий кандидат?

— Я не знаю, но это безразлично; кто бы то ни был — будет лучше. Горемыкину необходимо уйти. Ему совершенно невозможно оставаться на этом посту.

— Правда ли, что многие министры подали прошение об отставке?

— Нет, это совершенно неверно.

На этом наш разговор кончился. <...>

5 октября. Петроград.

Митя (Д. А. Бенкендорф) на днях был в Москве и рассказал нам о тамошнем настроении. Он беседовал с извозчиками, которые ему довольно откровенно говорили, что вся Россия знает, что генералы изменники, а то бы русские войска давным-давно были бы в Берлине. До конца войны они все будут сидеть смиренно, но после придется рассчитаться со всеми изменниками и предателями отечества. Кроме того, из этих разговоров с извозчиками Митя вынес впечатление, что все вопросы, которые волновали Петроград, не менее волнуют и народ, хорошо осведомленный обо всем, что происходит. Все это подтверждает слова кн<язя> Волконского, что народ волнуется. <...>

Многим, может быть, кажется, что народ далек от всего этого, но нет — ему

* Я счастлив видеть, что мой повелитель тебя так украсил (франц.).

все известно. Его интересует судьба России и все, что клонит не к ее величию, его оскорбляет и возмущает. Будущее, конечно, покажет, что из всего этого может произойти.

10 октября. Петроград.

Днем я заехал к тете Елизавете⁷⁵, которую, в сущности, с детства мы зовем тетей Маврой. В первый раз после смерти дяди⁷⁶ я вновь был в Мраморном дворце, где все так живо напоминает покойного. Обстановка его комнат не имеет стиля, но все предметы по своему подбору так ясно говорят о настроении этого выдающегося человека, что сразу вдыхаешь ту атмосферу, в которой он всю жизнь прожил. Тетя приняла меня в его комнате, где она разбирала оставленный им обильный архив. По завещанию все его дневники переходят Академии наук и могут быть вскрыты только через 99 лет. Дядя часто при жизни дразнил тетю, что она не будет читать дневников, на что она ему шутя отвечала, что, вероятно, он ее критикует в своих дневниках, почему и не желает, чтобы она их читала. Кроме дневников, дядя хранил свою обильную переписку, которая согласно его воле должна быть возвращена писавшим. Весь архив хранится в образцовом порядке. В Академию наук он завещал еще кольцо Пушкина. Относительно смерти дяди тетя мне говорила, что главная причина была смерть Олега: «Он редко высказывался и больше таил в себе переживания, скрывал под внешним спокойствием душевные тревоги. Когда после похорон Олега в Осташеве мы раз гуляли в лесу, он сказал мне, что не следует предаваться отчаянию о смерти Олега, это недостойно его памяти. Олега он очень любил и считал, что он будет продолжать его работу как талантливый поэт с чуткой и нежной душой. Со смертью Олега рухнула эта надежда, которая и ускорила его болезнь. Когда мы были в Египте, один из его адъютантов раз спросил его, кто из сыновей души больше на него похож. Он ответил — Иоанчик⁷⁷, а как поэт — Олег. С детьми он почти не говорил, и они этим часто печаловались. Я его уговаривала говорить с ними, он так хорошо говорил с кадетами, но он всегда отговаривался, что не может говорить со своими детьми, как он откровенно говорил: «Я не умею высказаться». И это отчасти верно. Говорить с ним было трудно. Он редко мог высказать, что думал. Это как-то мало вяжется с его поэтическим талантом, но это было так. И это ужасно жалко. Какое он мог бы иметь влияние на детей! Они для меня большое утешение. Больше всего сердечности выказал за это время горя Гаврилушка⁷⁸. Одно, о чем я сожалею, что никто из них не на войне. Это нехорошо. Хотя мне и тяжело сознание, что они воюют против моих же родственников, но я стою на принципе, что Константиновичи должны быть на своих местах, как бы это ни было тяжело для меня лично. Тебе, может быть, это покажется странным, что мать так говорит, но, поверь, что это их личный долг, а долг на войне превыше всего. Они, слава Богу, отлично служат, но, боюсь, что измайловцы балуют Костю⁷⁹. Видишь, есть разница во взглядах в полках. Гусары считают, что мои дети должны почитать за честь служить у них, а измайловцы считают, что для них честь, что Костя у них служит, и этот последний взгляд я считаю неправильным. Я не знаю, как выполнить волю моего бедного Олега. Перед отъездом на войну он просил меня вернуть Надежде Петровне⁸⁰ обручальное кольцо. Я написала Милице, что сама хочу вернуть эти вещи, на что получила ответ, что Костя может завезти. Мне это было ужасно больно. Но что было еще тяжелее — это письмо Надежды, она мне написала, как самое малое дитя. Я только потом узнала, что мать ей диктовала это письмо и запретила плакать об усопшем. Они нежно любили друг друга, это была чистая любовь. Хотя Надежда была и молода, ей всего 16 лет, но Олег решил ждать сколько угодно. Мы их благословили и свадьбу отложили после войны. Мне говорили, что Милица так круто поступила, не желая, чтобы Надежда начала свою жизнь «у гроба!» Но мне она могла бы более сердечно писать и отнестись к воле покойного хоть немного сердечнее. Нет, это было ужасно для меня. Бессердечная Милица. Бог с ней. Теперь они все на Кавказе и, говорят, не хотят возвращаться и даже думают распродать свои дома в Петрограде.

Милая Ольга⁸¹ — это прямо ангел небесный. Она так сердечно ко мне относится. Вся ласку и любовь после смерти Кости перенесла на меня. Она его ужасно любила. Это все, что у нее было хорошего в России. С Митей⁸² у нее не было таких сердечных отношений, как с Костей».

Потом тетя рассказала последние минуты Олега. Они приехали в Вильно часа три спустя после моего отъезда. «Было совсем темно, когда мы приехали. Мотор, который должен был показывать путь, шел очень быстро, и мы потеряли его из виду. Довольно долго путались по улицам, это было ужасно тяжело, когда каждая минута так дорога. Потом эта бесконечная лестница в госпитале. Казалось, никогда не доберусь до верха. У постели Олега все стояли на коленях. Ждали кончины с мину-

ты на минуту. Он был в полном сознании и крепко, крепко меня обнял и так радостно говорил: «Наконец! Наконец!» Дядя Костя дал ему Георгиевский крест его дедушки, что его очень обрадовало: «Дедушкин крест! Дедушкин крест!» — все повторял Олег. Потом он отрывистым голосом передал, как был ранен: «Была атака... лошадь занесла... я был ранен... упал...» Потом он как будто заснул, снова открыл глаза и изумленно спросил, зачем кругом него стоят. Доктор объяснил, что родители давно его не видели и хотят побыть около него, и стал уговаривать заснуть. Он закрыл глаза и пролежал спокойно несколько минут. Потом приподнялся в постели и, устремив взор в даль, стал нервно говорить: «Смотрите, вон лошадь... скачет, смотрите — вон она, вон здесь, там... скачет...» Потом выпрямился, потянулся и свалился на подушки, заснув вечным сном. Всего мы пробыли у него, — продолжала тетя, — не более получаса. Памяти покойного издана книжка. Содержание взято из его дневника. Там есть чудные рассказы, в особенности последние. Я сама не знала, что он писал, и многое я узнала из этого дневника. Он, как и отец, мало говорил, а все больше доверял своему дневнику, их вечному спутнику».

Простился с тетей и уехал домой. Тяжело было на душе. Вся жизнь ее была в дяде Косте, он был все для нее. Теперь у нее ничего нет. Дети, хотя и тепло к ней относятся, но это уже не то. Кроме того, чувствуется, что многое осталось у них недоговоренного. Есть вопросы, на которые он ей при жизни ответа не давал. И это ее мучает больше всего. Что думал он тогда? В дневниках, вероятно, нашлись бы ответы на эти мучительные вопросы, но их откроют через 99 лет. История лишь узнает, а ей придется окончить жизненный путь без ответа. Бедная тетя. Жаль ее бесконечно. Такая чистая душа, столько благородства. Все в жизни, с внешней стороны, ей улыбалось, а на душе так бесконечно пусто, уныло.

14 октября.

Тетя Елизавета передала мне, что в продажу поступила книга под названием «Князь Олег». В ней помещено жизнеописание Олега и выдержки из его дневников. Я купил эту книгу. Издана она отлично, но не в том дело. Интересно содержание. Составлено заботливой рукой, говорят, одним из его воспитателей. Тут много воспоминаний лиц, окружавших его с первых дней детства. Тут и его рисунки, и рассказы, и воспоминания. Много интересного. В конце книги есть описание смерти Олега в Вильне 29 сентября 1914 г., составленное по данным разных лиц. Многое из этого я видел сам. Сожалею, что мои показания не были тоже помещены в этой книге. Герою умирал юный мученик*. <...>

Одновременно с этим я послал в Ставку по ее требованию полк<овника> Энгельгардта⁵³ с подробным докладом. 10 июля из Ставки была получена телеграмма, чтоб я сдал корпус старшему и могу ехать в деревню. Но не успел я еще уехать, как из Ставки вернулся полк<овник> Энгельгардт и сообщил мне, что ген<ерал> Леш и ген<ерал> Алексеев подали в Ставку рапорты, из коих вытекало, что хотя я и подчинился приказу Леша о ночной атаке, но шепнул своим подчиненным, чтобы они не лезли вперед. Это меня окончательно взорвало, и тут я совершил большую ошибку. Я телеграфировал Алексееву, что с грустью покидаю доблестный гвардейский корпус, но рад выйти из подчинения **бездарных начальников**. Когда я писал, то думал лишь о Леше, а не о нем и Алексееве вместе, и по описке вместо «бездарного», то есть, в единственном числе, написал в множественном — «бездарных». Конечно, это задело Алексеева, который и донес в Ставку рапорт Леша.

Когда я был у Ник<олая> Ник<олаевича>, он меня внимательно выслушал и попросил переговорить с ген<ералом> Даниловым. Но я отказался с ним говорить и уехал в деревню. По окончании отпуска я вернулся в Ставку; Государь уже вступил в командование. Однажды ко мне в комнату зашел ген<ерал> Олохов, мой заместитель, и долго говорил. Я ясно видел, что он вертит кругом, но не говорит то, что он хочет. Мне это показалось странным, и я стал внимательно следить, что он делал в Ставке. Однажды по случайной фразе Государя я наконец догадался о цели приезда ген<ерала> Олохова. Оказывается, что возник проект о назначении в<еликого> кн<язя> Михаила Александровича⁵⁴ командиром гв<ардейского> корпуса, а ген<ерал> Олохов должен был быть его помощником. Одновременно с этим я также узнал, что меня отчислили по обвинению в неповиновении начальству. Так как это задело мою честь, то я решил представить в свое оправдание все документы по Красновостанской операции⁵⁵ и просить о назначении расследования. Я был у Алексеева, передал ему все документы, мою просьбу о расследовании и доложил подробно

* После этого вклеена вырезка из газеты (телеграмма о посещении Николаем II армии) и далее две страницы текста вырваны. Затем следует рассказ генерала Безобразова.

всю Красноставскую операцию. Из этого разговора я убедился, в чем и Алексеев мне сознался, что он был введен в заблуждение рапортом Леша и очень сожалеет о случившемся. Мой доклад был передан Государю, который вскоре принял меня в своем кабинете и сказал: «В ответ на вашу просьбу о назначении расследования я назначаю вас начальником гвардейского отряда, куда будут собраны все гвардейские части». Я заметил Государю, что этот проект встретит большое несочувствие в штабах. На это Государь хлопнул кулаком по столу и сказал: «**Это моя воля!**» После этого мы перешли к примерной разработке проекта гвард<ейского> отряда, и я намекнул Государю, что возможно ли будет назначить в <великого> кн<язя> Павла Алекс<андровича> командиром 1-го гв<ардейского> корпуса. По моему мнению, гвардией могут командовать или люди одной с ними среды, или выше, но не ниже, как это было с Лечицким⁸⁶ и другими. Гвардия страдает от таких назначений. На это Государь мне ответил: «Я и сам об этом думал». Я обещал найти для в<еликого> кн<язя> Павла Алекс<андровича> хорошего начальника штаба, и [тогда] можно быть спокойным. <...>

Как неизвестно штаб теперь. Прежде были нервность, известный страх. Теперь все успокоилось. И ежели была бы паника, то Государь одним своим присутствием вносит такое спокойствие, столько уверенности, что паники быть уже не может. Он со всеми говорит, всех обласкает; для каждого у него есть доброе слово. Подбодрились все и уверовали в конечный успех больше прежнего.

На этом мы попрощались, и я уехал к себе в вагон. <...>

Примечания

¹ Жданко Александр Ефимович — генерал-лейтенант по армейской пехоте (октябрь 1914), командующий 64-й пехотной дивизией (ноябрь 1914).

² Пороховщиков Александр Сергеевич (1865—?) окончил Московский университет, Николаевскую академию Генерального штаба; службу начал в лейб-гвардии Семеновском полку; занимал должности командира роты, начальника штаба Отдельного корпуса пограничной стражи (1902—1905), командира 145-го пехотного Новочеркасского полка (1912), 335-го Анапского пехотного полка; с 1916 г. в распоряжении начальника Генерального штаба.

³ Радкевич Евгений Александрович — генерал от инфантерии, с начала первой мировой войны командир 3-го Сибирского армейского корпуса и группы войск, в 1915 г. — командующий 10-й армией.

⁴ Бржозовский Николай Александрович (1857—?) — генерал-лейтенант (август 1915), с 8 апреля 1915 г. комендант Осовецкой крепости; с 10 июня 1916 г. — командир 44-го армейского корпуса.

⁵ Трофимов Владимир Онуфриевич — генерал-лейтенант (1914), командир 3-го Сибирского армейского корпуса (1915—1916).

⁶ Булгаков Павел Ильич — генерал от артиллерии (декабрь 1914); командир 20-го артиллерийского армейского корпуса, отчислен от должности 12 марта 1915 г. за нахождение в плену.

⁷ Флуг Василий Егорович — генерал от инфантерии (1914), командир 2-го армейского корпуса (1915—1916).

⁸ Шокоров Владимир Николаевич (1868—?) — полковник (1908), начальник штаба 12-й пехотной дивизии. Окончил Николаевскую академию Генерального штаба; занимал должности командира роты, батальона, штаб-офицера для поручений при штабе 16-го армейского корпуса. Участник русско-японской войны.

⁹ Имеется в виду Байов Константин Константинович — генерал-лейтенант (август 1915), командир 6-й пехотной дивизии (декабрь 1915).

¹⁰ Александр Петрович (Алек, 1844—1932) — герцог Ольденбургский, второй сын принца Петра Георгиевича Ольденбургского и принцессы Терезии Нассауской; генерал-адъютант свиты императора, генерал от инфантерии по гвардейской пехоте, сенатор, член Государственного совета (с 1896). В годы первой мировой войны — главноначальствующий санитарной и эвакуационной частью (1914—1916). С 1918 г. в эмиграции.

¹¹ Драгомиров Михаил Иванович (1830—1905) — русский военный теоретик, генерал от инфантерии; в русско-турецкую войну (1877—1878) командовал дивизией; затем — начальник Николаевской академии Генерального штаба (1878—1879),

командующий войсками Киевского военного округа; являлся последователем А. В. Суворова в вопросах обучения и воспитания войск; в области военной педагогики и тактики придерживался прогрессивных взглядов, хотя несколько недооценивал новейшую военную технику.

¹² Жоффр (Joffre) Жозеф Жак (1852—1931) — маршал Франции; в 1911—1914 гг. — начальник Генерального штаба; в первой мировой войне был главнокомандующим французской армией (1914—1916), добился победы в Марнском сражении (1914).

¹³ Лангла, Ипполит (1839—1912) — французский генерал, артиллерист, военный писатель; участник франко-прусской войны (1870—1871); принадлежал к числу выдающихся теоретиков скоростной артиллерии. Широкую известность получил его труд «Полевая артиллерия в связи с другими родами войск» (1892). В своих трудах выступал против создания полевой тяжелой артиллерии, выдвигал необходимость массированного артиллерийского огня во время наступления.

¹⁴ Кокцов Владимир Николаевич (1853—1943) — граф, окончил Александровский лицей, служил в Министерстве юстиции; был товарищем министра С. Ю. Витте, министром финансов (1904—1914); после убийства П. А. Столыпина с сентября 1911 г. по январь 1914 г. — председатель Совета министров, сторонник столыпинского курса; во время первой мировой войны — крупный банковский деятель; с ноября 1918 г. жил во Франции.

¹⁵ Плеве Павел Адамович (1850—1916) — генерал от кавалерии, окончил Николаевскую академию Генерального штаба, командовал войсками Московского военного округа; во время первой мировой войны — командующий 5-й и 12-й армиями, затем с декабря 1915 г. — командующий Северо-Западным фронтом; вскоре был уволен с назначением в феврале 1916 г. членом Государственного совета.

¹⁶ Мясоедов Сергей Николаевич (1865—1915) окончил Московский кадетский корпус, служил в армии, затем решил поменять карьеру; с 1901 г. — начальник Вержболовского отделения Варшавского жандармского управления, жандармский полковник; в 1909—1912 гг. — в распоряжении военного министра; в 1915 г. обвинен в шпионаже и казнен.

¹⁷ Романовский Александр Георгиевич, герцог Лейхтенбергский (1881—?) — полковник (1915), флигель-адъютант, командир 4-го Донского казачьего Г. Платова полка (1916); с начала первой мировой войны находился в действующей армии.

¹⁸ Бобринский Георгий Александрович (1862—?) — граф, генерал-адъютант, генерал-лейтенант (1910), до войны состоял в распоряжении военного министра, при первом занятии Галиции был назначен галицийским генерал-губернатором, затем был причислен к штабу главнокомандующего Юго-Западным фронтом.

¹⁹ Гучков Александр Иванович (1862—1936) — русский промышленник, лидер октябристов; депутат и с 1910 г. председатель Государственной Думы III созыва; в 1915—1917 гг. — председатель Центрального военно-промышленного комитета; в 1917 г. — военный и морской министр Временного правительства; после Октябрьской революции в эмиграции.

²⁰ Столыпин Петр Аркадьевич (1862—1911) — русский государственный деятель, министр внутренних дел и председатель Совета министров (1906—1911), статс-секретарь, гофмейстер, член Государственного совета, известный реформатор; проводимый им курс реформ был направлен на скорейшее развитие капитализма в России; был убит во время террористического акта в Киеве в сентябре 1911 г.

²¹ Сергей Михайлович (*Сергей*, 1869—1918) — великий князь, пятый сын великого князя Михаила Николаевича и великой княгини Ольги Федоровны, внук императора Николая I и двоюродный дядя Николая II. Окончил Михайловское артиллерийское училище (1889). Генерал от артиллерии (1914) по гвардейскому корпусу, генерал-адъютант свиты императора Николая II. С 1904 г. — инспектор, а с 1905 г. — генерал-инспектор артиллерии. В 1915—1917 гг. — полевой генерал-инспектор артиллерии при Верховном главнокомандующем. После прихода к власти большевиков был выслан из Петрограда в ссылку. Убит чекистами в ночь с 17 на 18 июля 1918 г. под Алапаевском (на Урале) вместе с другими князьями Романовыми и великой княгиней Елизаветой Федоровной. Похоронен при Свято-Серафимовском храме в Пекине на русском кладбище.

²² Т. е. Сергей Михайлович.

²³ Саландра (Salandra) Антонио (1853—1931) — премьер-министр Италии (1914—1916); в 1914 г. правительство Саландры провозгласило нейтралитет Италии в первой мировой войне, в 1915 г. после дипломатического торга с воевавшими державами втянуло Италию в войну на стороне Антанты.

²⁴ Палицын Федор Федорович — до 1914 г.— начальник Генерального штаба; с начала войны находился на Юго-Западном фронте при генерале Иванове; после перевода великого князя Николая Николаевича на Кавказ состоял заведующим укреплениями Кавказского фронта. В ставке у Николая Николаевича и генерала Алексеева пользовался большим авторитетом.

²⁵ Говорится про великого князя Николая Николаевича.

²⁶ Мольтке (*старший*) Хельмут Карл (1800—1891) — граф (1870), германский фельдмаршал и военный теоретик; в 1858—1888 гг.— начальник Генерального штаба, фактически командующий в войнах с Данией, Австрией и Францией; проводил идеи неизбежности войны, внезапного нападения и молниеносного разгрома противника путем окружения; один из идеологов германского милитаризма.

²⁷ Под названием Лодзинской операции имеются в виду бои с германскими войсками с 12—13 ноября до 5 декабря 1914 г. (у Влоцлавска), закончившиеся взятием немцами Лодзи. Операция эта обнаружила крайнюю бесталанность русского командования (командующего 1-й армией генерала Ренненкампафа и главнокомандующего Северо-Западным фронтом генерала Рузского). Совершенное непонимание ими боевой обстановки привело к тому, что армия Макензена, будучи окружена превосходящими силами русских и, по собственным признаниям немцев, находившаяся в критическом положении, не только смогла дважды выйти из окружившего ее русского «железного кольца», уводя всех своих раненых и артиллерию, но и забрала десятки тысяч пленных, сотни орудий и пулеметов.

²⁸ Автор говорит о времени балканских войн и о действиях русской дипломатии, связанных с образованием Балканского союза (1912—1913 гг.).

²⁹ Т. е. флота.

³⁰ Маклаков Николай Алексеевич (1871—1918) — действительный статский советник, камергер, в 1900-х годах — черниговский губернатор, министр внутренних дел (1912—1915), член Государственного совета (1915—1917).

³¹ Кривошеин Александр Васильевич (1857—1921) — начальник Переселенческого управления МВД (1902), товарищ главноуправляющего землеустройством и земледелием (1905—1906), товарищ министра финансов, заведующий Дворянским и Крестьянским земельными банками (1906—1908), главноуправляющий земледелием и землеустройством (1908—1915), статс-секретарь, гофмейстер Двора е. и. в., член Государственного совета (с 1906); после Октябрьской революции — один из организаторов белого движения; в 1920 г.— глава Правительства Юга России; эмигрировал из России.

³² Мережковский Дмитрий Сергеевич (1866—1941) — русский писатель; его романы проникнуты религиозно-мистическими идеями (трилогия «Христос и Антихрист» и др.), известный поэт и критик; в 1920 г. эмигрировал, выступал с антисоветских позиций.

³³ Сазонов Сергей Дмитриевич (1860—1927) — член Государственного совета (1913), помощник министра иностранных дел (с 1883 г.); в 1907 г.— посланник в Вашингтоне, с 1909 г.— товарищ министра иностранных дел и министр иностранных дел (1910—1916); с января 1917 г.— посол в Лондоне. В 1914—1916 гг. вел переговоры с Англией и Францией о сотрудничестве и условиях будущего мира. Сторонник захвата черноморских проливов: был в числе министров, считавших, что царское правительство должно опираться на Государственную Думу, высказывался за автономию Польши и против смены великого князя Николая Николаевича на посту Верховного главнокомандующего. После Февральской революции — один из членов Временного правительства в Лондоне. В 1918—1919 гг.— член белогвардейских правительств Деникина и Колчака, был их представителем во Франции: участник «Русского политического совещания» в Париже. Продолжал антисоветскую деятельность и после

окончания гражданской войны. Похоронен на русском кладбище в Ницце. Автор воспоминаний (Париж—Берлин, 1927).

³⁴ Ирманов Владимир Александрович — генерал-лейтенант, участник первой мировой войны; выдвигался главнокомандующим А. Н. Куропаткиным в марте 1916 г. на командование 6-й армией Северного фронта, но его кандидатура была отклонена Николаем II.

³⁵ Георгий Михайлович (*Георгий*, 1863—1919) — великий князь, внук императора Николая I, третий сын великого князя Михаила Николаевича и великой княгини Ольги Федоровны, двоюродный дядя императора Николая II; генерал-адъютант (1909) свиты императора Николая II, генерал от инфантерии, генерал-лейтенант, состоял при Ставке Верховного главнокомандующего, ездил с особой миссией в Японию (1915—1916); управляющий Русским музеем императора Александра III, нумизмат; почетный член Императорского географического общества. Расстрелян 27 января 1919 г. в Петропавловской крепости.

³⁶ Барк Петр Львович (1869—1937) занимал пост управляющего с 30 января и министра финансов с 6 мая 1914 г. по март 1917 г.; одновременно — главноначальник над отдельным корпусом пограничной стражи; отличался умением по ведению переговоров с союзными правительствами на предмет получения займов для нужд войны. Был противником смещения великого князя Николая Николаевича с поста Верховного главнокомандующего. После революции в эмиграции; был финансовым экспертом в Великобритании.

³⁷ Ностиц Магдалена Павловна, урожденная Ботон (американка по рождению) — супруга графа Григория Ивановича Ностица, генерал-майора свиты императора Николая II; была заподозрена ставкой в «шпионаже».

³⁸ Эверт Алексей Ермолаевич (1857—?) окончил Александровское военное училище, Николаевскую академию Генерального штаба; с назначением генерала М. В. Алексева начальником штаба Верховного главнокомандующего в августе 1915 г. назначен командующим армиями Западного фронта и оставался на этом посту до Февральской революции, когда был смещен; имел звания генерал-майор (1900), генерал-лейтенант (1905), генерал (1911); награжден орденами Св. Анны, Св. Станислава, Золотого Орла, Св. Владимира.

³⁹ Вероятно, С. Д. Сазонов.

⁴⁰ Юзефович Яков Давидович (1872—?) — генерал-майор, штаб-офицер для поручений при штабе Варшавского военного округа, начальник отдела по устройству и службе войск Главного управления Генерального штаба (1905—1915). В августе 1915 г. — начальник штаба у главнокомандующего Западным фронтом генерала А. Е. Эверта, затем, начальник штаба Дикой дивизии и 2-го кавалерийского корпуса под командованием великого князя Михаила Александровича на Юго-Западном фронте. В 1917 г. — генерал-квартирмейстер штаба Верховного главнокомандующего.

⁴¹ Джунковский Владимир Федорович (1865—1938) — генерал-майор свиты е. и. в., московский губернатор в 1905—1913 гг., товарищ министра внутренних дел и командир корпуса жандармов, был уволен от должности вследствие доклада о Распутине, сделанного им Николаю. Увольнению Джунковского предшествовала энергичная кампания, ведшаяся против него Распутиным через императрицу Александру Федоровну; с 1915 г. командовал бригадой 8-й Сибирской стрелковой дивизии, а затем дивизией. После Октябрьской революции перешел на сторону советской власти, работал в различных советских органах, в частности в ОГПУ; участвовал в разработке паспортной системы в СССР. Репрессирован органами НКВД.

⁴² Имеется в виду немецкий погром, прошедший в Москве с 26 по 29 мая 1915 г. «Неблаговидные поступки» Распутина, о которых пишет далее автор, заключались в том, что Распутин в московском ресторане «Яр» в мае 1915 г. устроил пьяный дебош, высказывая в адрес властей угрозы, сопровождаемые нецензурными выражениями и иными действиями, оскорбляющими общественную нравственность.

⁴³ Елизавета Федоровна (*Элла*, 1864—1918) — великая княгиня, с 1884 г. супруга великого князя Сергея Александровича, урожденная принцесса Елизавета-Александра-Луиза Гессен-Дармштадтская, дочь великого герцога Людвига IV; в 1891 г. приняла

православие. Старшая сестра императрицы Александры Федоровны. Отличалась глубокой религиозностью, была учредителем и попечителем благотворительных организаций и комитетов сначала в Санкт-Петербурге, а затем в Москве, куда в 1891 г. был направлен ее муж. Во время русско-японской войны 1904—1905 гг. на свои средства оборудовала несколько санитарных поездов, ежедневно посещала госпитали, заботилась о вдовах и сиротах погибших в боях воинов. Основательница и настоятельница Марфо-Марьяинской обители милосердия в Москве (1908), включавшей больницу, амбулаторию, аптеку, приют для девочек, библиотеку, домовый храм. Отрицательно относилась к Г. Е. Распутину, что вносило некоторую холодность во взаимоотношения ее с младшей сестрой — императрицей Александрой Федоровной. В апреле 1918 г. по распоряжению ВЧК была арестована и выслана сначала в Пермь, а затем в Екатеринбург. В ночь с 17 на 18 июля (через сутки после расстрела царской семьи) она вместе с великим князем Сергеем Михайловичем, князьями Иоанном, Константином и Игорем Константиновичами Романовыми, князем В. П. Полей и их приближенными была сброшена чекистами в шахту под Алапаевском и погибла мученической смертью. Канонизирована Архиерейским Собором Русской Православной церкви в апреле 1992 г. Ее мощи находятся в храме равноапостольной Марии Магдалины у подножия Елеонской горы в Иерусалиме. 17 августа 1990 г. на территории Марфо-Марьяинской обители в Москве был установлен памятник (скульптор В. М. Клыков) великой княгине Елизавете Федоровне.

⁴⁴ Имеется в виду Аликс (императрица Александра Федоровна).

⁴⁵ Имеется в виду Ники (Николай II).

⁴⁶ Ксения Александровна (1875—1960) — великая княгиня, дочь императора Александра III, сестра императора Николая II; с 1894 г. супруга великого князя Александра Михайловича. После Февральской революции со своей семьей и матерью на положении ссыльных проживала в имении Ай-Тодор в Крыму. Поддерживала переписку с царской семьей. 11 апреля 1919 г. на борту английского броненосца «Мальборо» эмигрировала из России. Некоторое время жила вместе с матерью, вдовствующей императрицей Марией Федоровной, в Копенгагене (Дания), а затем с семьей переехала во Францию и окончательно обосновалась в пригородном домике под Лондоном, который был предоставлен им королевской семьей. Она поддерживала связь с матерью и сестрой Ольгой Александровной, изредка приезжая в Данию. Умерла в Лондоне.

⁴⁷ Имеется в виду дворцовый комендант В. Н. Воейков, занимавшийся изготовлением и продажей минеральной воды, носившей такое название.

⁴⁸ Павел I (1754—1801) — российский император с 1796 г., сын Петра III и Екатерины II; ввел в государстве полицейский режим, в армии — прусские порядки; ограничил дворянские привилегии; выступал против революционной Франции, но в 1800 г. заключил союз с Бонапартом. Убит заговорщиками из ближайшего окружения.

⁴⁹ Пфуль Карл-Людвиг-Август (Pfuell, 1757—1826) — генерал, служил в прусском генеральном штабе, после сражения при Йене перешел на службу в Россию, где ему присвоен чин генерал-майора; обладая теоретическими познаниями, приобрел доверие императора Александра I, поручившего ему составить план военных действий в 1812 г. Впоследствии, когда основная идея Пфуля «действовать на сообщения Наполеона» способствовала благоприятному окончанию войны, Александр I произвел Пфуля в генерал-лейтенанты и назначил посланником в Гаагу.

⁵⁰ Адлерберг Александр Владимирович (1818—1888) — русский государственный деятель; в 1870—1881 гг. — министр императорского двора и уделов; личный друг императора Александра II.

⁵¹ Мария Александровна (1824—1880) — императрица, великая княгиня; с 1841 г. — супруга императора Александра II, урожденная принцесса Максимилиана-Вингельмина-Августа-София-Мария Гессен-Дармштадтская, дочь великого герцога Людвиг II Гессен-Дармштадтского, бабка императора Николая II. В браке с Александром II родила восьмерых детей. Принимала большое участие в организации женского образования, содействовала открытию женских учебных заведений (гимназий). По ее инициативе были организованы женские епархиальные училища, общество Красного Креста и ряд благотворительных обществ.

⁵² Речь идет о смене Верховного главнокомандующего великого князя Николая Николаевича и вступлении в эту должность императора Николая II.

⁵³ «Черногорки» — это великие княгини Анастасия и Милица Николаевны; первая — жена великого князя Николая Николаевича, вторая — его брата, великого князя Петра Николаевича; «черногорок» Александра Федоровна подозревала во всех кознях против нее самой и Николая II.

⁵⁴ Горемыкин Иван Логгинович (1839—1917) — ученый-правовед, действительный тайный советник, статс-секретарь, сенатор, член Государственного совета (1899), министр внутренних дел (1895—1899), после длительной отставки — председатель Совета министров (апрель—июль 1906; январь 1914 — январь 1916), инициатор роспуска I Государственной Думы; противник IV Государственной Думы и «Прогрессивного блока»; после Февральской революции был арестован Временным правительством; после освобождения летом 1917 г. уехал в свое имение под Сочи, где и был убит при его разгроме в декабре 1917 г.

⁵⁵ Бьюкенен Джордж Уильям (1854—1924) — английский дипломат, посол в России в 1910—1918 гг. В годы первой мировой войны был связан с кадетами и октябристами, поддерживал Временное правительство, один из организаторов антисоветских заговоров.

⁵⁶ Грей Эдвард — английский статс-секретарь по иностранным делам с 1905 по 1916 г.

⁵⁷ Николай Георгиевич — королевич греческий, сын греческого короля Георга I и великой княгини Ольги Константиновны; был женат на великой княжне Елене Владимировне, сестре автора дневника.

⁵⁸ Пален фон-дер Константин Константинович (1862—?) — граф, гофмейстер, сенатор (1906), лишен придворного звания в 1916 г.

⁵⁹ Фердинанд I Кобургский (1861—1948) — с 1887 г. — князь, в 1908—1918 гг. — царь Болгарии, из немецкого княжеского рода; основатель династии Кобургов; он усилил германское влияние в Болгарии, вовлек Болгарию в первую мировую войну; в обстановке революционного подъема в стране вынужден был отречься от престола.

⁶⁰ Андраши (Andrássy) Дьюла Старший (1823—1890) — граф, участник революции 1848—1849 гг. в Венгрии, председатель Совета министров Венгрии (1867—1871); содействовал заключению австро-германского договора 1879 г.

⁶¹ Хвостов Алексей Николаевич (1872—1918) назначен министром внутренних дел 27 сентября 1915 г. по рекомендации авантюриста князя Андронникова и с согласия Распутина; пробыл на этом посту до 1916 г.; представитель фракции правых в IV Государственной Думе; после Октябрьской революции осужден органами ВЧК.

⁶² Имеется в виду Г. Е. Распутин.

⁶³ Варнава (в миру Василий Александрович Накропин, 1861—1921) — архиепископ Тобольский и Сибирский; родом из крестьян Олонецкой губернии; в 1897 г. в Клименецком монастыре постригся в монахи; с 1911 г. — епископ Каргопольский; сблизился с великим князем Константином Константиновичем и его семьей; 10 июня 1915 г. самовольно, без определения Синода, но с ведома Николая II прославил мощи Иоанна Тобольского. Обер-прокурор Синода А. Д. Самарин настаивал на увольнении Варнавы, но последний был оставлен по настоянию Распутина в Тобольске и 5 октября 1916 г. возведен в сан архиепископа.

⁶⁴ Владимир (в миру Василий Никанорович Богоявленский, 1848—1918) — митрополит; сын священника, духовный писатель и проповедник; с 23 ноября 1912 г. — митрополит Петербургский и Ладожский, первенствующий член Синода; с 23 ноября 1915 г. — митрополит Киевский; убежденный противник Распутина.

⁶⁵ Самарин Александр Дмитриевич (1869—?) — богородский уездный предводитель дворянства (1899—1908), московский губернский предводитель дворянства (1909—1912), егермейстер двора е. и. в., член Государственного совета, обер-прокурор Св. Синода (5 июля — 26 сент. 1915 г.).

⁶⁶ Осмоловский Алексей Викторович — чиновник особых поручений Министерства земледелия.

⁶⁷ Витте Сергей Юльевич (1849—1915) — граф, министр путей сообщения, министр финансов (1902—1903), председатель Комитета министров, Совета министров

(1903—1906); автор Манифеста 17 октября 1905 г.; проводил политику привлечения буржуазии к сотрудничеству с царским правительством.

⁶⁸ Павел Александрович (*дядя Павел*, 1860—1919) — великий князь, младший, шестой сын императора Александра II, дядя Николая II. Командовал лейб-гвардии гусарским полком, а затем лейб-гвардии конным полком (1890—1896), командир гвардейского корпуса (1898—1902), генерал-адъютант свиты императора Николая II (1897), генерал от кавалерии (1913). Являлся почетным председателем Русского общества охраны народного здоровья и покровителем коннозаводских учреждений в России. В связи с самовольным морганатическим браком с О. В. Пистолькорс вынужден был жить за границей. Он был уволен со всех должностей, лишен званий, над его детьми от первого брака взята опека императором. Однако перед первой мировой войной с разрешения царя вернулся с семьей в Россию, находился на фронте. 28 мая 1916 г. был назначен командиром 1-го гвардейского корпуса, позже — генерал-инспектором гвардейских частей. За боевые заслуги в 1916 г. отмечен орденом Св. Георгия 4-й ст. После революции вел частную жизнь. Летом 1918 г. Павел Александрович и другие великие князья были посажены в казематы Петропавловской крепости в Петрограде, где 14/27 января 1919 г. расстреляны. Его сын князь В. П. Полей (унаследовавший фамилию и титул матери) был убит чекистами с другими членами семьи Романовых в ночь с 17 на 18 июля 1919 г. под Алапаевском на Урале.

⁶⁹ Автор немного ошибается в сроке: великому князю Николаю Николаевичу было предоставлено на отдых и сборы в Першине не 5, а 10 дней, но пробыл он там действительно больше трех недель. Эта медлительность чрезвычайно раздражала Николая II, а в особенности императрицу.

⁷⁰ 10 сентября 1915 г. Александра Федоровна в письме к мужу жаловалась: «М[илица] и С[тана] распространяют в Киеве всякие ужасы про меня, что меня собираются запереть в монастырь».

⁷¹ Самарин и Поливанов были назначены накануне созыва Государственной Думы в июле 1915 г. в качестве уступки «общественному мнению». Александра Федоровна и Распутин с самого начала отнеслись к этим назначениям, сделанным без их ведома, резко отрицательно и в результате настояли на том, что оба эти лица были вскоре уволены.

⁷² Борис III (1894—1943) — болгарский царь (1918—1943), содействовал фашистскому перевороту в Болгарии в 1923 г.; проводил прогерманскую внешнюю политику.

⁷³ Волконский Владимир Михайлович (*Володя*) — князь, действительный статский советник в должности егермейстера высочайшего двора, товарищ министра внутренних дел (при министрах А. Н. Хвостове, Б. В. Штюмере и А. Д. Протопопове), товарищ председателя III Государственной Думы, депутат IV Государственной Думы от Тамбовской губернии.

⁷⁴ Катенин Александр Андреевич состоял в звании камергера, начальник Главного управления по делам печати, член совета Государственного дворянского земельного банка.

⁷⁵ Елизавета Маврикиевна (*Мавра*, 1865—1927) — великая княгиня, урожденная принцесса Элизабета-Августа Саксен-Альтенбургская, герцогиня Саксонская. С 15 апреля 1884 г. — жена великого князя Константина Константиновича, в православие не перешла. В 1918 г. вместе с внуками покинула Россию. В эмиграции проживала в Швеции, Бельгии; скончалась в Германии и похоронена в Альтенбурге.

⁷⁶ Константин Константинович (1858—1915) — великий князь, внук императора Николая I, генерал-адъютант, генерал от инфантерии, генерал-инспектор военно-учебных заведений; почетный президент Академии наук (1899), литератор (поэт К. Р.).

⁷⁷ Иоанн Константинович (*Иоанчик*, 1886—1918) — князь императорской крови, старший сын великого князя Константина Константиновича и великой княгини Елизаветы Маврикиевны, правнук императора Николая I. Флигель-адъютант свиты императора Николая II, штабс-ротмистр лейб-гвардии конного полка. После Февральской революции в отставке; в начале 1918 г. выслан в ссылку на Урал. Убит чекистами в ночь с 17 на 18 июля 1918 г. под Алапаевском на Урале.

⁷⁸ Гавриил Константинович (1887—1955) — князь императорской крови. Второй сын великого князя Константина Константиновича и великой княгини Елизаветы Маврикиевны, правнук императора Николая I. Окончил Николаевское кавалерийское училище (1907) и Императорский Александровский лицей (1913), служил в Гвардейской кавалерийской дивизии, затем указом императора был назначен корнетом в лейб-гвардии гусарский полк. Участник первой мировой войны, получил несколько наград за храбрость. Флигель-адъютант свиты императора, полковник. Временным правительством отправлен в отставку. После Октябрьской революции с лета 1918 г. находился в тюремном заключении в Петропавловской крепости, благодаря вмешательству писателя Максима Горького освобожден по состоянию здоровья и эмигрировал. В 1939 г. великим князем Владимиром Кирилловичем возведен в великокняжеское достоинство. Скончался 28 февраля 1955 г. в Париже.

⁷⁹ Константин Константинович (*Костя*) — князь императорской крови, сын великого князя Константина Константиновича; флигель-адъютант, штабс-капитан лейб-гвардии Измайловского полка.

⁸⁰ Надежда Петровна (1898—1988) — княжна императорской крови, вторая дочь великого князя Петра Николаевича и великой княгини Милицы Николаевны, правнучка императора Николая I. Невеста князя Олега Константиновича, который в 1914 г. погиб на фронте. 10 апреля 1917 г. вышла замуж в Крыму за князя Николая Владимировича Орлова и через год родила дочь Ирину (1918—1988); позднее родилась дочь Ксения (1921—1963). В 1940 г. брак распался. В эмиграции жила во Франции.

⁸¹ Ольга Константиновна (*тетя Ольга*, 1851—1926) — королева эллинов, урожденная великая княжна, внучка императора Николая I, старшая дочь великого князя Константина Николаевича и великой княгини Александры Иосифовны, двоюродная тетя императора Николая II, старшая сестра великого князя Константина Константиновича. С 1867 г. замужем за греческим королем Георгом I Глюксбургом, братом императрицы Марии Федоровны. Занималась благотворительностью, во время первой мировой войны на свои средства устроила и опекала лазарет в Павловске.

⁸² Великий князь Дмитрий Константинович, брат великой княгини Ольги Константиновны и великого князя Константина Константиновича.

⁸³ Вероятно, речь идет о Владимире Михайловиче Энгельгарте, полковнике (1908), до первой мировой войны состоявшем в военно-учебном ведомстве, который был направлен генералом В. М. Безобразовым в Ставку с докладом.

⁸⁴ Михаил Александрович (*Миша*, 1876—1918) — великий князь, младший сын императора Александра III, брат Николая II; в 1899—1904 гг. — цесаревич, наследник престола. Окончил Михайловское артиллерийское училище. Генерал-майор, генерал-лейтенант, генерал-адъютант свиты императора, член Государственного Совета. Против воли императора 15 октября 1911 г. заключил в Вене мorganaticкий брак с Н. С. Вульферт (урожденная Шереметевская, в первом браке за С. И. Мамонтовым, во втором — за В. В. Вульферт), которой позднее, в 1916 г., был дарован титул графини Брасовой (1880—1952), от первого брака имевшей дочь Наталью. Некоторое время вынужден был с семьей проживать за границей, так как Николай II запретил ему въезд в Россию, уволил с занимаемых должностей и подписал указ о передаче в опеку его имущества. Благодаря вмешательству матери, вдовствующей императрицы Марии Федоровны, братья помирились. С началом первой мировой войны ему дозволено было вернуться в Россию. Командовал в Галиции Кавказской кавалерийской («дикий») туземной дивизией, позднее 2-м кавалерийским корпусом, награжден в 1915 г. за храбрость на фронте орденом Св. Георгия 4-й ст.; назначен генерал-инспектором кавалерии. Подвергался аресту Временного правительства в дни корниловского мятежа, а также во время Октябрьской революции. Проживал в Гатчине как частное лицо, не принимая участия в политике. В конце 1917 г. ходатайствовал перед Совнаркомом о сложении титула и принятии фамилии своей жены, но эта просьба так и не была исполнена. По постановлению Совнаркома в марте 1918 г. был выслан в Пермь. В ночь с 12 на 13 июня 1918 г. был похищен чекистами и тайно убит под Пермью.

⁸⁵ Под названием «Красноставской операции» имеются в виду бои 3-й армии с 6-го по 17 июля 1915 г., закончившиеся отходом по направлению к Бресту. Командир гвардейского корпуса, входившего в состав 3-й армии, генерал-адъютант Безобразов

был против отхода гвардии с красноставских позиций,— они понесли большие потери, и на этой почве у него произошли крупные недоразумения с генералом Лешем, командующим армией, который настаивал на отходе, согласно директивам, данным ему главнокомандующим фронтом генералом Алексеевым. В результате гвардия жестоко пострадала, а генерал Безобразов по требованию Алексеева был отстранен от командования корпусом.

⁸⁶ Лечицкий Платон Алексеевич (1856—1920) — генерал от инфантерии; командир полка во время русско-японской войны (1904—1905); командующий войсками Приамурского военного округа, войсковой наказной атаман Амурского и Уссурийского казачьих войск. В начале первой мировой войны командовал группой войск, направленных на помощь 4-й армии у Красника. Затем командующий 9-й армией. Во время наступления генерала А. А. Брусилова летом 1916 г. армия Лечицкого одержала победу, разбив австро-венгерскую армию и оттеснив ее до Карпатских перевалов. После Февральской революции в связи с демократизацией армии он вышел в отставку. После Октябрьской революции служил в Красной Армии в Петроградском военном округе. Арестован и умер в тюрьме.

*Подготовка текста, публикация и примечания
кандидата исторических наук В. М. ХРУСТАЛЕВА
и В. М. ОСИНА*



Владислав ОТРОШЕНКО

Сумасшествие Мировой Воли

ОТ ДРЕЗДЕНСКОГО ПЕРИОДА
К ДРЕЗДЕНСКОМУ ПЕРИОДУ

Не существует свидетельств о том, что Артур Шопенгауэр испытывал острую потребность в посещении сумасшедших домов. Известно только, что он их посещал. Известно также, что особую притягательность дома скорби обрели для философа в тот период его жизни, который принято называть дрезденским, то есть в тот самый период — с 1814-го по 1818 год,— когда Мировая Воля, пользуясь услугами одного из Своих носителей, совершала до крайности странное, не вполне здоровое и, пожалуй, даже совершенно безумное действие — рассказывала Себе о Самой Себе.

Разумеется, Она делала это не впервые. «Упанишады», «Мадхьямика-сутры», «Бхагаватгита», «Изумрудная скрижаль» — это первые проявления Ее возвышенного недуга и первые же страницы в истории Ее загадочной душевной болезни.

Болезнь развивалась стремительно. Более того. Если принять во внимание один ошеломляющий факт, который некогда был установлен Самой же Волей и который Она затем неустанно описывала от первого или от третьего лица, в тех или иных вдохновенных словах, сводившихся к следующему: земные тысячелетия равны для Меня неощутимому мгновению, ибо существование Мое безначально и бесконечно, если принять во внимание этот факт (в сущности, недоступный никакому вниманию, кроме внимания Самой Воли), то можно смело утверждать, что болезнь развивалась молниеносно.

Во всяком случае, уже к весне 1814 года, когда молодой, двадцати шести лет от роду, человек по имени Артур Шопенгауэр, чрезвычайно раздражавший окружающих и в особенности свою родительницу, Иоганну Генриетту Шопенгауэр, «мрачным выражением лица и странными оценками, изрекаемыми тоном не терпящего возражений оракула», стал подумывать о переселении в Дрезден, болезнь Мировой Воли достигла катастрофического обострения. Такого обострения, которого не смогла бы пережить ни одна отдельно взятая, пронизанная и порожденная Волей индивидуальность. Не случайно с этого времени в наиболее резких и откровенных речениях Воли о природе индивидуальности отчетливо слышатся ноты предостережения: *«Индивидуальность — это своего рода ошибка, недосмотр, нечто такое, чему бы лучше не быть»*. Она не говорит: Моя ошибка и Мой недосмотр. Это излишне, ибо в мире, по Ее наблюдению, нет другого существа, которое могло бы ошибиться и недосмотреть. *«В этом мире явлений, — было открыто Ею, — существует исключительно воля: она — вещь в себе, она — источник всех явлений. Ее самопознание и опирающееся на него самоутверждение или самоотрицание — вот единственное событие в себе»*. За четыре тысячи лет до этого Она, называя себя Атманом, говорила то же самое: *«Нет другого, кто видит, кроме него; нет другого, кто слышит, кроме него; нет другого, кто познает, кроме него»*.

И все же некое существо, возникшее в мире по недосмотру или, быть может, напротив, по сокровенному умыслу Воли,— существо, носившее имя Артур Шопенгауэр и обитавшее в одном доме с Иоганной Генриеттой Шопенгауэр, известной в Германии сочинительницей, приняло в мае 1814 года знаменательное решение уехать в Дрезден, чтобы уединиться там для назревающего труда, величие которого уже отчетливо им осознавалось.

Биографы Шопенгауэра, конечно же, не склонны усматривать в этом отъезде из Веймара, положившем начало знаменитому дрезденскому периоду в жизни философа, факт биографии Мировой Воли, как, впрочем, и биографы Мировой Воли, если бы таковые существовали, были бы не склонны усматривать в данном событии факт биографии Шопенгауэра.

Сам Шопенгауэр как таковой (надо сразу это произнести, чтобы дух трескучей теориейки беспардонного доктора Ломброзо не искал здесь себе союзников) находился в абсолютном и нерушимом здравии рассудка и до, и во время, и после названного периода. Он был лишь крайне обижен накануне своего отбытия из Веймара, крайне зол на писательницу Иоганну Генриетту Шопенгауэр. Собственно говоря, и причиной — видимой, явной причиной — его бегства из веймарского дома была озлобленность, вставшая глухой стеной между ним и «этой госпожой», как он с намеренной отстраненностью, чтобы избежать выражений чересчур уж жестоких и пылких, называл свою мать.

Озлобленность возникла еще осенью 1813 года, когда Артур Шопенгауэр, счастливый и окрыленный, явился из Рудольштадта к матери в Веймар. В Рудольштадте вышло в свет отдельной брошюрой его первое философское сочинение «О четвероюгом корне закона достаточного основания». Он получил за него докторский диплом от философского факультета в Йене. Двух этих оснований — брошюры и диплома — было достаточно для того, чтобы юный доктор пребывал в состоянии того необыкновенного воодушевления, которое его заставило торжественно преподнести матери (сразу же по приезде в ее дом) свой ученый труд. Мать взяла брошюру, повертела ее вялой рукой, утомленно взглянула на заглавие и так же утомленно поинтересовалась:

— Это, вероятно, пригодно аптекарям?

«Выходка», как называют биографы ответный поступок Шопенгауэра, последовала незамедлительно. Артур быстрым движением вырвал из руки Иоганны дарственный экземпляр «Четвероюмого корня» и, побледнев, объявил ей, что даже тогда, когда в затхлых подвалах книгопродавцев истлеют, сгниют никому не нужные сочинения Иоганны Шопенгауэр, когда в кладовке самого скаредного собирателя макулатуры нельзя будет отыскать ни единого листка из ее писаний, когда нигде не останется ни малейшего следа ее жизни, когда не останется даже смутного воспоминания о самом ее имени, мир будет читать *Артура Шопенгауэра*.

— Ну, конечно! — насмешливо возразила Иоганна. — Твои творения и в ту пору будут еще нетронутыми.

Так началась беспощадная война самолюбий в веймарском доме Иоганны.

Два господина — Фридрих фон Герстенбергк, чрезвычайно малозначительный немецкий писатель, публиковавшийся под псевдонимом Мюллер, и полунищий юноша Иозеф Ганс — ускорили течение этой войны.

Для враждующих сторон каждый из этих господ служил неиссякаемым источником раздражения. Артур, к примеру, готов был стерпеть все — и расточительство Иоганны, пускавшей деньги по ветру — на пышные приемы друзей-литератов, и ее пустую салонную болтовню, и ее непомерное самомнение, — но вот этого надутого писателя Мюллера, ее любовника, открыто жившего в доме и оскорблявшего тем самым память покойного отца, Генриха Флориса Шопенгауэра, Артур стерпеть не мог. Иоганна, в свою очередь, тоже готова была снести многое — и мрачную серьезность сына, и его «огорчительные дискуссии», которыми он смущал ее жизнерадостно утонченных гостей, и его «ламентации по поводу глупости мира и человеческого убожества», вызывавшие у нее дурные сновидения, — но вот этого ехидного юношу Ганса, университетского товарища, которого Артур поселил в доме, предложив ему даровое жильё, стол и денежную помощь, Иоганна уже не в силах была выносить. Она не в силах была смотреть на то, как молодые люди, объединившись в какой-то злобно-задорный союз, неумоимо издеваются над бедным Мюллером, над его патриотическими взглядами, над его политической благонаравностью, над его образом жизни (писатель постоянно и важно работал, «занимался», требовал почтения и тишины).

В апреле 1814 года Иоганна объявила, что «на будущее время» она отказывается в столовании и Артуру, и его несносному товарищу. Объявила — письменно, ибо всякое изустное сообщение между матерью и сыном к тому времени уже прекратилось: по дому гуляли — с одной его половины на другую — длинные письма, полные укоров и изощренных колкостей. Артур в ответ на это выдвинул свой ультиматум. Он потребовал, чтобы мать назначила повышенную плату за стол с него и с Ганса, а заодно решила, с кем ей в «будущем времени» жить — с сыном или с господином Мюллером. Вместо решения мать бросилась защищать Мюллера в нескончаемом

послании. Артур поставил на этом послании свою резолюцию, прибегнув к словам Горация: «*Turpe putant parere minoribus*»*.

На этом война была закончена. Артур сообщил матери, что решение принимает он — он разрывает с ней все отношения и уезжает в Дрезден.

Невидимая, неясная и, в сущности, главная причина отъезда не имела, конечно же, ничего общего с этими сугубо человеческими событиями. Она была связана с тем, что замыслила в порыве нечеловеческого вдохновения Воля помимо воли одного из Ее носителей. Носителю оставалось лишь наблюдать за величественным процессом рождения этого замысла и изумляться. И он наблюдал. И искренне изумлялся в своих дневниковых записях веймарского периода:

«...В уме моем зарождается сочинение...

...Сочинение растет медленно и зреет постепенно, как младенец в утробе матери: я сам не знаю, что возникло раньше, а что — позднее; в моей голове отчетливо вырисовывается сначала один, потом другой из элементов, входящих в состав сочинения...

...Я, здесь сидящий и будто бы известный моим приятелям, и сам-то отчета себе не отдаю в построении моего сочинения, подобно тому как матери непонятно зарождение младенца в ее утробе. Я только всматриваюсь в свое творение и, как мать, могу сказать: «Я благословлен плодом»».

Зреющий плод — и это тоже было отмечено наблюдательным существом по имени Артур Шопенгауэр — вдруг взялся производить изменения в душевном строе самого существа.

Как бы готова философа к дрезденскому периоду, таинственный плод освобождал его от *principium individuationis*** , которым жива всякая отдельная тварь, будь то жираф или муха. Это было необходимо. Потому что для рождения плода существо должно было превратиться в нечто абсолютно объективное, по крайней мере в своих мыслях и речениях. Оно должно было превратиться в саму Волю, в говорящую Волю, в бессмертную Волю, которой чужды отдельные смертные мухи и жирафы, так же как и отдельные смертные гансы, мюллеры, иоганны, артуры... Артур Шопенгауэр за несколько месяцев до начала дрезденского периода уже ясно ощущал в себе эту ошеломляющую отчужденность. «Я уразумел, что людей вокруг меня объединяет *однородность* и, наоборот, меня от них отталкивает *несродность* им», — покорно отметил он в веймарской записной книжке.

Покорность (внутренняя, не имевшая отношения к внешним событиям) была свойственна ему в это время. Голосу же, наставлявшему его, сопровождавшему процесс превращения его в объективное существо, была свойственна в это время интонация ласковой терпеливости: «*Заруби себе нижеследующее на память, добрая душа... — да, именно так, с теплотой, с приветливой строгостью стала обращаться с некоторых пор к Артуру Шопенгауэру, называя его то «доброй душой», то «любезным другом», благоволящая к нему Воля, — заруби себе раз и навсегда и подумай: люди отнюдь не объективны, а напротив, субъективны насковоз... Чтобы из этого правила бывали исключения, т. е. исключения полные, я не допускаю; изредка, однако же, случается, что на людей находят объективные минуты; более высокого совершенства не встречается».*

В Дрездене на Артура Шопенгауэра нашли не то что объективные минуты, на него нашли объективные часы, месяцы, годы. Мировая Воля в его разуме и душе обрела язык. И с мая 1814 года в Дрездене Она заговорила так, как Она не говорила никогда и нигде — ни в гимнах риши, ни в сочинениях брахманов, ни в темных писаниях гностиков. Именно с этого времени Воля начала формулировать Свои суждения о Себе с беспримерной обстоятельностью и поистине оракульской категоричностью, явленной уже в самом названии затейного Ею трактата: «*Мир как воля и представление*».

Конечно, можно легко согласиться с тем мнением, что обстоятельность — это просто свойство нации, на языке которой взялась выражаться Воля, и что, стало быть, нет ничего сверхобычного и уж тем более подозрительного в Ее речевом поведении. Но справедливости ради надо все же заметить, что на немецком языке Ей случалось высказываться и раньше, однако высказывалась Она при этом так же, как и всегда; так же, как и на всех других языках, на которых Она пыталась изъяснить Своё учение о Себе. Как именно? В Дрездене Она сказала об этом прямо, без всяких недомолвок, с поразительной самокритичностью: «*Намеки на мое учение можно, пожалуй, проследить во всех древних и новейших философских системах,*

* За постыдное почитают повиноваться младшему (лат.).

** принцип индивидуации (лат.).

не говоря уже, в частности, о Ведах, Платоне, Канте, о живущей матери Бруно, Глиссона и Спинозы и о дремлющих монадах Лейбница. Учение, предлагаемое мною, однако же, там встречается всегда настолько закутаным в разнообразное одеяния, настолько сплетенным с бьющими в глаза нелепостями и настолько облеченным в причудливые формы, что открыть и узнать его можно лишь путем тщательных изысканий и настойчивых догадок».

Что ж, время намеков и причудливых форм для Нее навсегда закончилось. Настало время выговориться в полную силу. И Она выговаривалась; Она говорила; Она вдохновенно проповедовала Свое учение — внушала его Самой Себе, ибо других собеседников, объявила Она в пятьдесят третьем параграфе четвертой книги трактата «Мир как воля и представление», где этот мир Она назвала всецело Своим миром, у Нее нет — нет Бога, нет дьявола, нет никаких отдельных существ, нет рождения, нет смерти, нет начала и конца — есть только Она, горящая наедине с Собой с предельной ясностью... Гете был, кажется, первым, кто обратил внимание на эту завораживающую ясность изложения. Сестре Шопенгауэра, Адели, Гете об этой ясности только и твердил. И Адель, дружившая с падчерицей Гете Оттилией фон Погвиш и пользовавшаяся неизменной симпатией самого поэта, часто бывавшая у него в доме, с радостью сообщала брату, что Гете не выпускает из рук трактат «Мир как воля и представление», зачитывается им и все повторяет: какая ясность изложения! какое построение сочинения! какая манера писать!.. Но говорит ли о смысле написанного? Нет, не говорит. Потому что смысл того, о чем на протяжении тысячелетий высказывалась Воля, представлялся, быть может, поэтам более ясным тогда, когда он был «закутан в разнообразные одеяния» и «облечен в причудливые формы». Более естественной, более здоровой представлялась, быть может, Ее прежняя манера истезнения, вполне соответствующая форме внутреннего монолога, которой чужды ясность и обстоятельность, способные выступать самыми верными и самыми неувимыми признаками безумия в том случае, если в ясности и обстоятельности никто, кроме говорящего, не нуждается.

Да, что-то неувовимо ненормальное происходило в те четыре года, когда в Дрездене Мировая Воля проясняла Свое учение о Мировой Воле. И это чувствовали не только поэты. По-своему это чувствовали и люди иного, более практического, склада ума. Правда, ненормальность происшедшего была для них вполне уловимой, поскольку улавливали они ее там, где улавливать ее им было сподручнее. Доктор Зейдлиц, если уж речь здесь зашла о первенстве, был первым, кто заговорил в связи с трактатом «Мир как воля и представление» об «обострившемся патологическом процессе мысли». Чьей мысли? Разумеется, Шопенгауэра. Исключительно о Шопенгауэре толковал, увы, доктор Зейдлиц в своей книге «Artur Schopenhauer von medicinischen Standpunkte aus betrachtet»*, опубликованной в Дерпте в 1872 году, — исключительно личность философа подразумевал он, утверждая, что возникновением трактата мы обязаны душевной болезни — мании величия, — которая, по наблюдениям Зейдлица, достигла во время дрезденского периода *stadium incrementi*** . Достигла, все так. Но только к Шопенгауэру это не имело ни малейшего отношения. И если он все ж таки заставил рассматривать «von medicinischen Standpunkte» именно собственную личность, отведя тем самым подозрительные взгляды от своей Госпожи, которой он верно служил четыре года, пропуская через себя процесс Ее мысли, то это свидетельствует лишь об одном — о проявлении высшего благородства философа по отношению к своей больной Госпоже.

Впрочем, на старости лет Шопенгауэр уже не желал проявлять этого благородства. Словно предчувствуя, что после его смерти доктора медицины слишком уж рьяно возьмутся отыскивать «истинные» причины возникновения дрезденского трактата и в этих узко специальных поисках, направленных на его личность, распоясаются не на шутку, — словно предвидя, какие диагнозы («анормальная иннервация», «ненормальное функционирование психики», «мания величия», «липемания» и т. д. и т. п.) будут свалены на его голову и доктором Зейдлицем, и доктором Мёбиусом, и совсем уж глумливым доктором Ломброзо, Шопенгауэр старался свою личность от медицинских взглядов спрятать. Он настойчиво повторял, что «Мир как воля и представление» писался помимо *его* воли и без участия *его* сознания. То есть он старался говорить правду. В старости, утверждают его первые, наиболее осведомленные биографы, он действительно смотрел на эту книгу с недоумением — как на чужое произведение.

* «Артур Шопенгауэр, с медицинской точки зрения рассмотренный» (нем.).

** стадия обострения (лат.).

Но, как бы то ни было, на протяжении дрезденского периода Шопенгауэр оставался верным слугой своей Госпожи. Тогда Она была ему далеко не чужой. Тогда он даже не отделял (не в состоянии был отделять) себя от Нее. Он был не то чтобы не в себе — он целиком был в Ней. И все, что происходило с Шопенгауэром в Дрездене, происходило на самом деле с Ней. Это Она посещала сумасшедшие дома. Она вглядывалась в глаза какого-то душевнобольного мальчика, чтобы получше понять, в чем состоит сущность *человеческого* безумия, а мальчик тем временем рассматривал висевшее на шее у человеческого существа по имени Артур Шопенгауэр «стеклышко-очко, в котором отражались комнатные окна и вершины поднимающихся за ними деревьев: это зрелище приводило его каждый раз в большое удивление и восторг, и он не уставал изумляться ему, — *он не понимал непосредственной причинности отражения*», — делала Свои выводы Воля. И называла это детское непонимание «*величайшим примером глупости*» тоже Она. И конечно же, Ей и только Ей принадлежали знаменитые своей странностью слова, которые прозвучали однажды из уст Шопенгауэра в королевских оранжереях Дрездена.

Это было в самом начале дрезденского периода. Шопенгауэр прогуливался в оранжереях... Он прогуливался там среди диковинных растений. Вдруг остановился и стал очень резко и выразительно жестикулировать — так, как будто бы он сопровождал жестами какой-то чрезвычайно бурный, но беззвучный разговор, неожиданно завязавшийся между ним и... Бог его знает кем — рядом с ним никого не было. Где-то поодаль стоял только смотритель королевских оранжерей и с изумлением наблюдал эту необъяснимую сцену. Когда же смотритель, подойдя к жестикулирующему человеку, поинтересовался у него, кто он такой, ответом ему и были эти слова: «*Если бы вы мне могли сказать, кто — я, то я бы счел себя за это весьма вам обязанным*».

К концу дрезденского периода, когда Мировая Воля выяснила, кто Она такая, когда Она достигла, говоря Ее словами, «*полного самосознания, ясного и исчерпывающего знания своей собственной сущности*», доведя в трактате «Мир как воля и представление» до высшего совершенства, до абсолютной внятности Свою речь, обращенную к Самой Себе, человек, при помощи которого осуществилось это «*единственное событие в себе*» — этот акт «*познания, направленного волей на самое себя*», был освобожден от того драматического состояния объективности, в котором он невольно пребывал четыре года, был возвращен самому себе.

Прежняя, человеческая, здоровая субъективность мало-помалу обрела в нем силу. И все же нечто объективное, нечто унаследованное им от своей Госпожи навсегда осталось в Шопенгауэре.

Всем, кому доводилось встречаться с ним во Франкфурте-на-Майне, где он в полном одиночестве провел, предаваясь чтению книг, играя на флейте, гуляя с пуделем да изредка появляясь в ресторации отеля «Английский двор», три последние десятилетия своей жизни, бросалась в глаза его странная склонность разговаривать с самим собою, вести с самим собою обстоятельную беседу, сопровождаемую выразительными жестами. Но даже тогда, когда Шопенгауэру случалось говорить с людьми, его не покидало чувство, что он разговаривает наедине с собою. «Подчас я говорю с людьми, точно дитя с куклой: ребенок хотя и знает, что кукла его не понимает, тем не менее путем приятного, заведомого самообмана доставляет себе удовольствие болтовни», — замечал Шопенгауэр.

До конца своих дней — до 21 сентября 1860 года — он продолжал испытывать то, что приучила его испытывать в Дрездене Мировая Воля, говорящая, но не имеющая никаких собеседников в Своем мире, где Она обречена вечно царствовать и вечно обращаться к Себе с ясными речами в безмерном и безбожном одиночестве. Однако и после 21 сентября 1860 года для Шопенгауэра немного изменилось. Просто перестало быть «нечто такое, чему не следует быть», исчезло нечто такое, что имеет предрасположенность быть «субъективным насквозь». Иными словами, самовольное «существование в качестве я» для Шопенгауэра с этого дня вновь прекратилось — с этого дня вновь для него начался дрезденский период.

Время окончания периода неизвестно.



Вячеслав КУРИЦЫН

С В О И К Н И Г И

Я сейчас нахожусь по ту сторону рыхлой бумаги. Без будды: вы читаете это, а я в полушаге — в потрохах целлюлозы — прижался к подобью стекла, плющу губы и нос, а расплющить мешает скула, чей почти монголоидный вывих топорщит страницу, вы погладите ее, чтоб проверить мою небылицу. Если раньше вы слышали мой заштрихованный голос, то теперь различите и лоб, и секущийся волос.

Такими строчками начинал Виталий Кальпиди в 1993 году свою книгу «Стихотворения». Поэтическая убедительность фрагмента вступала в некоторое противоречие с указанной на последней странице цифрой — тираж 1000 экз. То есть поэт может, конечно, втиснуться в потроха целлюлозы, особенно если он настоящий поэт, но как быть с тиражом? Может ли он присутствовать одновременно в тысяче экземпляров? Правда, вряд ли вся тысяча находилась хотя бы один краткий миг в одновременном чтении. Если бы существовали методики подсчетов — какая часть тиража ластится сию секунду к читательским глазам (существуют ведь такие подсчеты на телевидении, сколько процентов зрителей смотрит в данный момент данный канал), — обнаружилось бы скорее всего, что 18 марта 1998-го в 16 часов 18 минут по московскому времени года эта книга открыта на столе только у меня одного. Но вот я ее закрыл, и душа поэта, то есть не душа, а сам поэт с монголоидной щекой и секущимся волосом или, может, клон — какая-то из этих сущностей метнулась в город Петропавловск-Камчатский, где бледный юноша как раз протянул руку к обложке «Стихотворений»...

Такого рода вопросы Карлсон задавал о фрекен Бок: как же такая большая те-тя может влезть в такой маленький телевизор?

Когда книга переписывалась от руки в холодном скриптории, когда экземпляр труда был равен экземпляру продукта — конечно, в ней сидел автор. Эту священную психосматику можно воспроизводить и ныне: мне рассказывали про одного венгерского писателя, который переписал от руки роман другого венгерского писателя. В этом души даже и больше: когда акт технологически избыточен. Души или искусства — известно, насколько популярен художественный самиздат. Любовно выпиливая страницы книги прямо из дерева или отливая их из стекла, закатывая ее в хрустальный или металлический переплет, автор взывает к мертвым богам аутентичности.

И все-таки дух дышит и в тираже.

Предсказание, что распространение компьютеров вообще и Интернета в частности (или Интернет уже «вообще», а «в частности» — компьютер?) убьет книжную культуру, пока не сбывается. Да, удобно, когда на маленькой дискете умещается столько же букв, сколько в хорошем книжном шкафу. Удобно, когда вся энциклопедия влазит в строку запроса простой интернетовской искалки, набрал «Виндзор» или «Рыба-пила» — и получишь килограмм соответствующих килобайт. Приятно, что любой текст можно получить, не выходя из дома.

Но остается драгоценная пластика, возможность перемещаться с книгой с дивана на диван, шелестеть страницами, рисовать на полях карандашного чертика и ставить на обложку сквородку с горячей картошкой. Физиология, которая закачанна в нас, как кровь.

Юлия ТАРАНТУЛ

ЧУЖИЕ КНИГИ

А можно еще и так: все люди делятся на тех, кто покупает книги в букинистических магазинах, и тех, кто что-то имеет против этого (вообще не покупающие книг естественным образом из нашего расклада исключаются). Причем предубеждения бывают порой любопытные, например: это и само по себе неприлично, некое подобие нищенства, а уж дарить такие — тем более грибок там может какой-нибудь оказаться или плесень и заразить «родные» домашние книги, и т. д.

Кажется, что придавать при этом значение надписям на их титульных листах — все равно что обращать внимание на подписи под газетными статьями... даже не так — под фотографиями. Ибо участь фотографов подобна участи операторов: все видят их работу, но никто не знает их имен.

Сейчас почти вышла из обихода экслибрисная практика и редко надписываются книги, которые дарятся. Имеется в виду — просто людьми, не авторами, авторыто — дело иное: им по определению положено. Возможно, это связано со все расширяющейся политикой передаривания подарков, особенно книжных... А что еще делать, когда тебе вручают то, что у тебя уже есть или что ты ни в жисть не прочтешь? Да и надписанные открытки стали реже прилагать (посылать еще туда-сюда... нет, а вот чтобы в качестве «добавки»!) к основному презенту. Открытки продаются с уже готовыми посланиями и даже к какому хочешь числу: действительно, а что напрягаться? Теперь свою индивидуальность легко обозначить лишь самим фактом выбора. И это, должно быть, — тоже следствие тотального «упрощения» быта в мелочах наряду с бумажными носовыми платками и супами в пенопластовых ведерках.

Но вот в букинистических магазинах книги с надписями еще сохранились, причем сам характер «маркировки» (как содержание, так и манера написания даты) порой передает дух того времени, когда она сделана.

У меня собралась мини-коллекция надписей, случайно, незаконно мне доставшихся вместе с поддержанными магазинными либо подобранными где-то книжками. Их можно расклассифицировать... ну хотя бы следующим образом:

а) Автографы авторов.

Книги с ними попадают к тебе разными путями. Ты находишь их забытыми на подоконниках публичных помещений, мест общего пользования и в других подобных отчужденных точках. Так собаку увозят в лес и привязывают к дереву. Или «забывают» на осенней даче: «Нашей родной подружке Ирине с любовью и преданностью. Твой Г. Зубков. 30 авг. 79» («Дом на бульваре Ланн» Георгия Зубкова). Конечно, как правило, это автографы не кого-то великого, а не очень известных авторов. Но здесь важно, видишь ли надпись сразу и по большей части из-за нее покупаешь книгу, потому что срабатывает личный момент, либо выбираешь книгу как книгу, лишь впоследствии обнаруживая ее принадлежность. Однажды мне вот так, зным числом, попался автограф детского писателя со знакомым именем («Дорогая Анна Лазаревна! Очень хочу, чтобы у такой изумительной женщины, как Вы, была моя книга. С большой симпатией к Вам, Ю. Ермолаев. 30/XI—81 г.»), причем на книжке, сатиражной библиотечной копией которой я некогда зачитывалась, мечтая ее иметь, — «Капля дегтя и полмешка радости».

б) Экслибрисы.

Это могут быть или лаконичные чернильные штампики, как «Из книг Ю. Катина-Ярцева» на томике Иштвана Рат-Вега «Комедия книги» (в салоне «Летний сад», где я ее купила, сказали, что вдова живет рядом и вынуждена распродавать библиотеку), или — реже — приближенные к настоящим экслибрисам «рамочки с картинками». Как трогательный фамильный экслибрис «Светиков» на книге Яна Кросса «Императорский безумец». Или ручные надписи похожего (экслибрисного) характера — фамилия или инициалы владельца либо порядковый номер в личной библиотеке. Но сразу несколько книг с одинаковой меткой, стоящие на букинистической полке одна за другой (если все они, скажем, о кино), похожи на детдомовцев-родственников, вместе туда попавших. И когда покупаешь лишь одну из них, то испытываешь чувство, почти сходное с виной в чем-то жестоком разлучении.

в) Подарочные надписи.

Когда-то поводами для того, чтобы подарить ребенку надписанную книгу (и не только книгу, а и другие предметы, на которых можно сделать надпись, — например, чашку с гравировкой), служили годовщина Октября, принятие в октябрята, пи-

онеры и даже в комсомол: «Наташеньке в день 41-й годовщины Великого Октября от мамы и папы. 7.XI.58 г.» (на книге Энн Хогарт «Мафин и его веселые друзья»). Теперь остаются в основном нейтральные праздники, дни рождения да разные биографически-социальные этапы вроде окончания средней школы или поступления в институт. Бывают начертательные казусы, когда новорожденному дарят, к примеру, Большой энциклопедический словарь и адресуют его «нашему племяннику», пока еще безмянному. Причем некую трогательную значимость в надписях подобного рода приобретают даже грамматические ошибки, ведь так они фиксируются надолго. Иногда случайная надпись вклинивается в жизнь, и начинаешь искать, откуда эти строчки, смутно знакомые, — почему-то кажется необычайно важным это узнать: «Ирине от Марины в день рождения. III/V—85 г. «Жизнь моя кинематограф // Черно-белое кино» (на книге Жоржа Садуля «Всемирная история кино» (причем почему-то на втором — а не хотя бы на первом — полутоме четвертого тома). Так было у меня с предыдущими строчками, оказавшимися левитановскими. Хотя сам факт узнавания обычно ничего в твоей жизни не меняет, но то недолгое время, что уходит на поиск, можно тешить себя иллюзией преддверия.

То, что и в них, этих надписях, история, и так понятно. Частная история в надписях на титульных листах книг... как множество иных «историй в...». Но тут еще и вот что. У меня почти нет книг, оставшихся от «третьего» поколения, если считать себя «первым». Не до книг им было: семьи военных, послевоенная, переезды. И покупали мало, и оставляли, и сжигали — не тащить же с собой на другой конец страны. И, покупая старые книги в «Букинистах», я представляю себе, что это, чем черт не шутит, книги моих родных, каким-то неведомым образом добравшиеся из скажем, Магадана до Москвы. Не то чтобы мне были известны конкретные названия когда-то бывших в семье книг, и я бы их специально подбирала. Нет, это книги, нужные лично мне, какие скорее всего моим родным и не пришлось бы в голову читать, а уж тем более купить. Но мне кажется, что в каждой домашней библиотеке должен быть этот пласт наследственных книг, как старые фотографии в чемодане. Иначе будут современные глянцевые «кодаковские» альбомы-визитницы, полки с новенькими книжками-переизданиями: жизнь ниоткуда. И если его, этого пласта, нет, если он естественным образом не остался, не осел, то стоит рискнуть обмануть судьбу и «сложить» его самому. Это как... «дети из пробирки».

Дарственная надпись на продающейся книге — как ошейник на потерявшейся собаке. Без нее (него) можно обманываться, что она ничья, хотя так не бывает, но с ней (ним) она — законно чья-то, и чувствуешь, что твой долг — найти хозяина.

Я специально столь педантично привела здесь тексты, может быть, и вовсе незначительных книжных надписей. Да и ни к чему им быть значительными... как и роддомовским клеенчатым биркам, как бытовым запискам о том, что цветы политы, а суп под подушкой, чтобы не остыл, как и...

Эти свидетельства чьих-то существований и намерений все время кажутся мне буквально взывающими, подобно спискам под газетно-журнальной шапкой вроде «Иньюколлегия разыскивает». Как будто бывшие их владельцы прочтут, узнают (вспомнят) и найдут своих книжных питомцев, словно потерявшихся во время войны близких. Я привыкла к ним, но уверена — «дома» им было бы лучше.



История как роман

Сравнение с прошлым — чрезвычайно опасная штука! Например, меня всегда поражало, с каким легкомысленным лукавством наши «прогрессисты» в случае необходимости ради защиты собственных интересов прибегали и прибегают к простейшему приему: подтверждению законности настоящих событий примерами из прошлого.

Схема этого коварного приема такова. Вы говорите, что жизнь в стране развивается неправильно, что современное ее положение ужасно? Но Боже мой! Посмотрите, как было сто (двести, пятьсот) лет тому назад! Все то же самое! Следовательно, и ныне происходящее — вполне нормально и незачем нас этим пугать.

Нормально... Это почти колдовское словечко в устах всякого «прогрессиста». На улицах городов льется кровь? Это нормально, потому что так было сто (двести, пятьсот) лет назад и закончилось всеобщим миром и благоденствием. Народ деморализован? Это нормально, потому что он был деморализован и сто (двести, пятьсот) лет назад, но потом, как говорится, оклемался. Культура в упадке? Это нормально, потому что в этом же положении она пребывала не раз и всякий раз кто-то ее спасал.

Вот логика исторических рассуждений «прогрессиста», который никогда не догадается о том, что история не бессмысленный динамический процесс, одинаковый в своих отрезках, как дорога в никуда, но произведение, о котором когда-то замечательно сказал Н. М. Карамзин: «Бог — великий музыкант, вселенная — превосходный клавесин, мы лишь смиренные клавиши. Ангелы коротают вечность, восхищаясь этим божественным концертом, который именуется случай, неизбежность, слепая судьба». Но еще восхитительнее, на мой вкус, воспринимал историю Н. Н. Страхов. По свидетельству биографа, Б. В. Никольского, Страхов в детстве прочитал Апокалипсис и испытал при этом... необыкновенно радостное чувство! Именно описание конца света со всеми его подробностями, от которых картина крушения мира становилась достоверней и как бы реалистичней, позволило будущему философу представить человеческую историю в виде некоего законченного Романа. Да-да, романа! С интригой и кульминацией, с развязкой и тем необходимым элементом всякого трагического литературного искусства, который и называется катарсисом и который навсегда прилепляет прочитанное к твоей душе и даже не просто прилепляет, но как бы растворяет в ней, делая его самостоятельным душевным элементом.

Если роман имеет столь вдохновенный художественный финал, который потрясает всякое воображение, значит, он получился! Значит, пребывание в нем в качестве одного из персонажей (пусть и самого второстепенного) есть величайшее счастье, Божественный подарок!

Поразительно, но даже смерть представлялась Страхову в отличие от Н. Ф. Федорова не проклятием рода человеческого, но счастливой неизбежностью! Он считал ее «одним из совершенств организмов, одним из преимуществ их над мертвою природою». Ведь смерть — это «финал оперы, последняя сцена драмы; как художественное произведение не может тянуться без конца... так жизнь организмов имеет пределы» («Мир как целое»).

Но подобный «романный» взгляд на историю таит в себе и громадное несчастье для человека. Страхова называли консерватором, нередко посмеивались над его пониманием «мира как целого», которое, по выражению Б. В. Никольского, «представлялось нашему (то есть уже 19-му! — П. Б.) столетию какой-то безусловной нелепостью, ничего решительно не выражающей фразой».

Страхов был блестящий ученый, критик, переводчик, пропагандист новейших достижений европейской философской мысли (в частности, Шопенгауэра, которого

и в самой Европе еще не перестали считать безумцем). И весь век просидел в «архивах»! Отчего так? Не оттого ли, что «романный» взгляд на историю (и современность как ее часть) не позволял ему восхищаться либеральным хулиганством, лишенным прежде всего эстетического чутья? Не в том ли и основная причина раздвоения политической личности Карамзина, республиканца и консерватора одновременно; раздвоения, которое, впрочем, самого великого историкографа нимало не смущало. Он сам не видел в том противоречия. Его нелюбовь к «либералистам» диктовалась, на мой взгляд, не столько политическими соображениями, сколько отменно поставленным слухом. «Либералисты» как-то не так нажимали на «клавиши», портили «божественный концерт», заставляя ангелов, блаженно коротающих вечность, страдальчески морщиться.

Все это, впрочем, лишь мои догадки. Сам-то Карамзин был человеком трезво мыслящим, «ясным». «Темная область таинственных гаданий была не по его вкусу: по своей природе он любил больше всего ясность и наглядность», — писал Михаил Погодин в связи с разрывом Карамзина с масонами. Он вряд ли позволил бы своей метафоре с ангелами развиться столь опасно далеко.

Но вот несомненный факт. До конца своих дней Карамзин не желал высказываться о покойном Александре I. «Нам лучше безмолвствовать красноречиво. От русской фабрики (т. е. статей в русской прессе. — П. Б.) меня тошнит. Я не напишу ни слова: разве скажу что-нибудь в конце XII тома (недописанной «Истории государства российского». — П. Б.) или в обозрении нашей новейшей Истории — через год или два, если буду жив. Иначе поговорю с самим Александром в полях Елисейских. Мы многого не договорили с ним в здешнем свете...»

Это, безусловно, «романный» взгляд на историю (да и просто на жизнь) человека, который во всякой жизненной мелочи видит деталь некоего произведения. И он не может позволить разной «сволочи» (выражаясь нынешним языком) вписать в это произведение неряшливые слова и строчки! Лучше помолчать до поры, до *послесмерти*, и обсудить их «роман» с Александром в полях Елисейских. Например, совершенно незначительный вроде бы сюжет о том, как в отсутствие царя некий вельможа вытеснил историкографа с его царскосельской дачи, положенной ему на лето по его должности. Как тот ничего не сообщил о том царю, даже после его возвращения. Как изумился Александр, решивший навестить семейство Карамзина в его домике и обнаруживший там совсем иное семейство. Как распорядился в 24 часа «очистить помещение» и проч. На первый взгляд ничего не значащий сюжет. Но чуткое ухо расслышши в нем полный и исчерпывающий ответ на «проклятый» вопрос о взаимоотношении Власти и Художника. Ответ не Бог весть какой замысловатый, но — нет лучшего.

Несколько раз в своей жизни Карамзин намеревался написать роман, но так и не довел это дело до конца. Романы писали Эмин, Львов, Чулков, Нарезный — все люди более или менее достойные и талантливые, но, конечно, не сопоставимые с гением Карамзина. Затем явился Фаддей Венедиктович, пленивший русского читателя своим более или менее русским «Выжигиным», заинтриговавший более или менее историческими «Мазепой» и «Самозванцем». Но недаром все же С. Т. Аксаков, которого сложно заподозрить в излишнем высокомерии и аристократизме, считал, что место романа Ф. Булгарина — «в передней».

Отношение к романам русской публики было соответствующим. Это нечто несерьезное, даже предосудительное, хотя более или менее позволительное. Так, московская цензура в 1797 году запретила роман некоей девицы Демидовой из Калуги. Дело пошло на утверждение в специально учрежденный Цензурный совет, который, подтвердив запрещение, постановил о романе, что «если он подлинно сочинен девицею, то занималась она делами, совсем до нее не касающимися». Ю. М. Лотман писал об отношении к романам в XVIII веке: «В 1770-е годы А. Е. Лабзина (тогда еще по первому мужу Карамышева), хотя и очень юная, но уже замужняя женщина, жена европейски известного ученого-геолога и воспитанница писателя Хераскова, еще не знала, что такое роман. Когда заходил литературный разговор о романах в доме Херасковых, ее высылали из комнаты, чтобы молодая женщина не развратилась. «Случилось, раз начали говорить о вышедших вновь книгах и помянули роман, и я уже несколько раз слышала. Наконец, спросила у Елизаветы Васильевны (Херасковой — одной из первых женщин-писательниц в России. — Ю. Л.), о каком она все говорит Романе, а его никогда не вижу. Тут мне уж было сказано, что не о человеке говорили, а о книгах, которые так называются; «но тебе их читать рано и не хорошо». Характерно поучение, которое ей сделал Херасков, считавшийся тогда «старостой русской литературы»: «Опасайся читать романы: они тебе не принесут пользу, а вред могут сделать» («Сотворение Карамзина»).

Карамзин относился к романам несколько иначе. В заметке «О книжной торговле и любви ко чтению в России» («Вестник Европы», 1802, № 9) он писал об этом: «Любопытный пожелает, может быть, знать, какого роду книги у нас более всего расходятся? Я спрашивал о том у многих книгопродавцев, и все, не задумавшись, отвечали: «Романы!» Немудрено: сей род сочинений, без сомнения, пленителен для большей части публики, занимая сердце и воображение, представляя картину света и подобных нам людей в любопытных положениях, изображая сильнейшую и притом самую обыкновенную страсть в ее разнообразных действиях. Не всякий может философствовать или ставить себя на месте героев истории; но всякий любит, любил или хотел любить и находит в романтическом герое самого себя. Читателю кажется, что автор говорит ему языком собственного его сердца; в одном роман питает надежду, в другом — воспоминание... Не знаю, как другие, а я радуюсь, лишь бы только читали! И романы самые посредственные, даже без всякого таланта писанные, способствуют некоторым образом просвещению...»

В начале 1798 года Карамзин сообщил И. И. Дмитриеву: «Месяца через два пошло извлечение из нового Русского Романа (sic! — П. Б.), который может быть никогда не выдет (sic! — П. Б.) на Русском языке... хочешь знать титул? Картина жизни; но эта картина известна только самому живописцу или маляру; и не глазам его, а воображению». «Замысел этот, — считал Ю. Лотман, — не был реализован. Гибель архива Карамзина (во время пожара Москвы 1812 г. — П. Б.) не позволяет судить даже о том, дошло ли дело до каких-либо набросков текста. Между тем указание на то, что роман не сможет появиться по-русски, интригует...»

Но лично меня гораздо более интригует тот возможный факт, что рукопись первого Русского Романа сгорела во время пожара Москвы 1812 года.

Во-первых, это означало бы, что история Русского Романа как бы изначально была связана с темой огня, сгоревшей рукописи. Ау, Гоголь и Булгаков! То есть истинно великий, гениальный Русский Роман обречен на сгорание — а как же иначе!

Любопытно, что задолго до Гоголя Карамзин собственноручно сжег начало какого-то другого своего романа, о чем сообщил публике в «Письмах русского путешественника» гораздо ранее приведенного письма к Дмитриеву. Если верить словам «русского путешественника», то в начале июня 1789 года он остановился на ночлег в некой курляндской корчме и был внезапно поражен сходству ее обстановки и каких-то своих ранних литературных замыслов. «Некогда начал было я писать роман и хотел в воображении объездить точно те земли, в которые теперь еду. В мысленном путешествии, выехав из России, остановился я ночевать в корчме: и в действительном то же случилось. Но в романе писал я, что вечер был самый ненастный, что дождь не оставил на мне сухой нитки и что в корчме надлежало мне сушиться перед камином; а на деле вечер выдался самый тихий и ясный. Сей первый ночлег был несчастлив для романа; боясь, чтобы ненастное время не продолжилось и не обеспокоило меня в моем путешествии, сжег я его в печи, в благословенном моем жилище на Чистых Прудах...»

Во-вторых, возможная гибель Русского Романа в историческом пожаре Москвы намекает на то, что сама История словно не желала появления первого Русского Романа. Почему? Неужели неясно? Да потому, что она сама желала стать этим Романом, что и было исполнено Карамзиным со всем блеском художественной гениальности! Первым Русским Романом стала «История государства российского». На второй Русский Роман не хватило бы сил никакого человека, даже и Карамзина.

Все прочее — бесконечная череда более или менее великолепных поражений...

Как? — спросите вы. «Отцы и дети» — поражение? «Война и мир» — поражение? «Братья Карамазовы» — поражение? Да, поражение! Если вспомнить о том, что ни первый, ни второй, ни третий не могут считаться Первыми. Но самое главное — не могут считаться и Вторыми. Потому что Первого — просто нет.

В последнее время это приобрело какой-то комический характер. Каждый год жюри русского Букера объявляет о первом романе года. И каждый раз публика остается не просто недовольной, но прямо-таки раздраженной, не понимающей, о чем идет речь.

А речь всего лишь о том, что нельзя безнаказанно играть в слова. История Русского Романа не нами написана. И ей очень много лет!



СОФИЯ ПАРНОК. СОБРАНИЕ СТИХОТВОРЕНИЙ. Спб., «Инапресс», 1998. Тир. 2 000 экз.

Бескрайняя вступительная статья С. Поляковой, ею же выполненные примечания, а также фотографии, воспроизведенные в книге, знакомят с поэтом, чьи стихи, не будь дополнительных истолкований, непросто было бы интерпретировать из самих себя. Умелые и значительные, они находятся на грани профессиональной литературы и частной альбомной поэзии. Ничего не знающий о поэте может прочитать их как поэзию макабрическую, исполненную черной иронии. Но кто знает о личности С. Парнок и ее жизни, увидит в этих строках возвышенную любовную лирику, куда ближе к трагической.

Моя любовь! Мой демон шалый!
Ты так костлява, что, пожалуй,
Позавтракав тобой в обед,
Сломал бы зубы людоед.

Но я не той породы грубой
(К тому ж я несколько беззуба),
А потому, не теребя,
Губами буду есть тебя!

РОЛАН БАРТ. CAMERA LUCIDA. [Б. м.], «Ad Marginem», [б. г.]. Тираж не указан.

Очередная попытка узурпации духовного пространства, на этот раз при истолковании феномена фотографии, закончившаяся очередной неудачей. О своем намерении автор пишет с откровенностью, уже миновавшей цинизм: «...у меня всегда было стремление аргументировать свои настроения; аргументировать не с целью их оправдания, еще меньше для того, чтобы заполнить своей индивидуальностью сцену текста, но, напротив, чтобы растянуть эту индивидуальность до науки о субъекте, название которой не имеет значения при условии, что она (пока не произошло ничего похожего) достигнет уровня всеобщности, не редуцирующего, не превращающего в ничто меня самого. Так что нужно было браться за дело». Растягивание собственной индивидуальности до размеров науки — занятие трудоемкое и бесперспективное, с чем согласится всякий, пролиставший книгу.

ЙОХАН ХЕЙЗИНГА. НОМО LUDENS. Статьи по истории культуры. М., «Прогресс — Традиция», 1997. Тир. 5 000 экз.

Монография о человеке играющем известна читателям. Но второй — теперь нумерованный — том из многотомника избранных произведений нидерландского ученого интересен тем, что в него включен новый перевод этой монографии, а необыкновенно подробные комментарии хотя и учитывают примечания, выполненные для предыдущего издания, и полнее, и сложнее их. Существование нескольких переводов дает возможность выбирать, возможность, которой и держится культура.

МИХАИЛ АРМАЛИНСКИЙ. ЖИЗНЕОПИСАНИЕ МГНОВЕНЬЯ. Стихотворения 1994—1997. [Б. м.], М. I. P., [б. г.]. Тираж не указан.

Когда поэт начинает разговаривать чужим голосом, поэтическое безумие его покидает и он становится похожим на чревоуещателя.

Мы мгновение остановим,
будем вкушать и не сменим новым,

так, чтобы длилось, не истекало,
чтобы тикало, но не тикало.

Отлично переданная безапелляционность Б. Слуцкого, продуманность всех вопросов от мала до велика выводит это четверостишие за рамки аттракциона и помещает в область пародии.

АЛЕКСАНДР БЕНУА. ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПИСЬМА. 1930—1936. М., «Галарт», 1997. Тир. 5 000 экз.

Чуть старомодная обстоятельность рассуждений уравнивается парадоксальностью мысли. Вот что пишет автор в заметке, посвященной «выставке наивностей», как он ее называет: «Тому, кто чудом остался ребенком на всю жизнь, тому за это честь и слава, но кто только желал бы быть ребенком, хотя он давным-давно вышел из ребяческого возраста, тому остается подражать детской неумелости и культивировать свою беспомощность. Надо при этом признать, что как и труды японских садоводов, добивающихся создания микроскопической природы, вознаграждаются замечательными успехами, так точно и это своеобразное насилие над собой людей, старательно впадающих в детство, дает подчас прямо-таки пленительные результаты». Общность тона вне зависимости от того, обращается критик к живописи Пикассо или гравюрам Калло, делает статьи из парижской газеты «Последние новости», собранные вместе, главами единой истории искусств.

ВЛАДИМИР ПЯСТ. СТИХОТВОРЕНИЯ. ВОСПОМИНАНИЯ. Томск, «Водолей», 1997. Тир. 1 000 экз.

Чтобы занять место в истории, вовремя должно появиться не только литературное произведение, вовремя должно появиться и его переиздание. С оригинальными книгами В. Пяста произошло иначе. Стихи его потерялись рядом со стихами более крупных поэтов, а мемуарная книга «Встречи» увидела свет в 1929 году, когда вспоминать об эпохе русского символизма было совсем не ко времени. Несвоевременным оказался и нынешний том — первоклассно подготовленная книга пястовских мемуаров вышла в издательстве «Новое литературное обозрение».

Н. И. ХАРДЖИЕВ. СТАТЬИ ОБ АВАНГАРДЕ В ДВУХ ТОМАХ. М., «РА», 1997. Тираж не указан.

После того как харджиевский архив был вывезен за границу, а недавно стал и распродаваться, вероятно, иначе надо оценить и личность владельца архива. Ни в бescорыстие, ни в прозорливость его больше не верится. По крайней мере одно в данном случае противоречит другому. Иначе воспринимаются и работы исследователя. И если статьи о творчестве М. Матюшина, Эль Лисицкого, А. Родченко, Елены Гуро и прочих деятелей русского авангарда представляют интерес, то многочисленные статьи о новаторстве В. Маяковского явно спекулируют на высокой официальной оценке творчества поэта, значение которого, несомненно, преувеличено.

Б. АКУНИН. АЗАЗЕЛЬ. [Б. м.], «Захаров», 1998. Тир. 10 000 экз.

«Почему из греков? — обиделся Эраст Петрович, в памяти которого еще были живы издевательства шалопаев-одноклассников над его древней фамилией (гимназическая кличка Эраста Петровича была «Фундук»). — Наш род, граф, такой же русский, как и ваш. Фандорины еще Алексею Михайловичу служили». Мало-мальски просвещенный читатель, обнаружив этот пассаж, улыбнется, ибо ему известно, что фамилия знаменитого сыщика иного происхождения. Знает о том и автор, скрывшийся за просвечивающим псевдонимом. Более того, пародийность и умелая стилизация входили в авторское намерение, ведь он собирается создать серию детективов, и сюжетно, и стилистически противостоящих современным поделкам. Пусть результаты умеренные, но само желание похвально.

АНГЕЛЫ В ИСКУССТВЕ. ЕВРОПЕЙСКИЕ ХУДОЖНИКИ. [Б. м.], «КРОН-ПРЕСС», [Б. г.]. Тир. 10 000 экз.

Убогий, почти юридический текст и многочисленные, противоречащие словам репродукции. Например, фигура архангела Михаила, обязательная для сюжета «Страшный Суд». Оставим в стороне вопрос, не решаемый нашей логикой, почему души праведников на его весах легче, чем души грешников (ведь куда последовательней мысль, что более ценное тяжелей, исходя из его значения). Но иной вопрос не дает покоя: души на весах взвешиваются по двое. Значит, их вес не абсолютен, а относительный, определяется по тому, кто на противоположной чаше весов. Получается, человек ответствен не сам, он зависит от чужих прегрешений. Что это за круговая порука, не упоминаемая автором текста, а может, и неведомая ему?

Б. ФИЛЕВСКИЙ

Одно из старейших изданий в России.
Основано в феврале 1921 года.
Распространяется во всех регионах России и странах СНГ.

Ежедневная

ГАЗЕТА №1

по числу читателей.

ТРУД

По данным социологов, каждый номер прочитывают в среднем 4 человека.

ИМЕЕТ САМЫЙ МНОГОЧИСЛЕННЫЙ СРЕДИ РОССИЙСКИХ ИЗДАНИИ КОРПУС СОБСТВЕННЫХ КОРРЕСПОНДЕНТОВ В СТРАНЕ И ЗА РУБЕЖОМ

ГАЗЕТА СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА,
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ,
ГРАЖДАНСКОГО СОГЛАСИЯ,
СВОБОДНАЯ ОТ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРИСТРАСТИЙ

Трибуна
политической элиты,
ведущих экономистов,
бизнесменов,
деятелей культуры,
ученых

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ ГАЗЕТЫ: для жителей Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области:
32428 (ежедневный выпуск, включая пятничный),
32465 (только пятничный выпуск);
для подписчиков остальных регионов:
50130 (ежедневный выпуск, включая пятничный),
32068 (только пятничный выпуск).

РОССИЯ, 103792, ГСП, МОСКВА,
НАСТАСЬИНСКИЙ ПЕРЕУЛОК, 4.

Наш адрес:
Москва, К-6,
Телефоны:
для справок - 299-3906,
отдел рекламы - 200-0338,
факс:
200-0124,
299-4740.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
*До конца года «Октябрь»
предполагает опубликовать:*

Анатолий АНАНЬЕВ. **Призвание Рюриковичей, или Тысячелетняя загадка России.** Книга вторая.

Ролан БЫКОВ. **Дочь болотного царя.** Современная сказка.

Алексей ВАРЛАМОВ. **Роман.**

Даниил ГРАНИН. **Повесть.**

Вяч. Вс. ИВАНОВ. **Воспоминания. Бродский. Пастернак.**

Владимир КАНТОР. **Соседи.** Повесть.

Бахыт КЕНЖЕЕВ. **Письма к Господу Богу.** Роман.

Юнна МОРИЦ. **Рассказы о чудесном.** Стихи.

Нонна МОРДЮКОВА. **Записки актрисы.**

Анатолий НАЙМАН. **Проза.** Стихи.

Владислав ОТРОШЕНКО. **Приложение к фотоальбому.** Роман.

Олег ПАВЛОВ. **Повесть.**

Цикл очерков **«Из нелитературной коллекции».**

Людмила ПЕТРУШЕВСКАЯ. **Рассказы и сказки.**

Валерий ПИСИГИН. **Эхо пушкинской строки.**

Михаил РОЩИН. **Рассказы.**

Павел САНАЕВ. **Детский мир.** Роман.

Борис ХАЗАНОВ. **Далекое зрелище лесов.** Роман.

Алексей ЦВЕТКОВ. **Просто голос.** Поэма. Продолжение.

Геннадий ШПАЛИКОВ. **Дневники.** Стихи.

Переписка Вадима СИДУРА и Карла АЙМЕРМАХЕРА. 60—70-е гг.

А также **новые произведения** Юрия БУЙДЫ, Фридриха ГОРЕНШТЕЙНА, Юрия ДАВЫДОВА, Владимира МАКАНИНА, Александра МЕЛИХОВА, Григория ПЕТРОВА, Игоря ПОМЕРАНЦЕВА, Валерия ПОПОВА, Евгения ПОПОВА, Вячеслава ПЬЕЦУХА, Генриха САПГИРА, Натальи СУХАНОВОЙ, Людмилы УЛИЦКОЙ, Марины УРУСОВОЙ, Маргариты ШАРАПОВОЙ, Асара ЭППЕЛЯ и др.